ЗОТ ТОБОЛКИН

ПРИПАДИ К ЗЕМЛЕ



ЗОТ ТОБОЛКИН

ПРИПАДИ К ЗЕМЛЕ

РОМАН

Свердловск
Средне-Уральское
книжное
издательство
1979

Р2
Т50

Печатается по изданию:
«Современник», Москва, 1976.

Т $\frac{70302-074}{М158(03)-79}$

Глава 1

— Только вожжей не распускай,— надевая поверх борчатки дубленый тулуп, крепким звучным голосом наказывал Камчук.— Дорога, брат, такая, что чуть зазевался — и шею свернешь...

«Вот прорвало! — нахмурился Науменко, уловив искоса недовольный взгляд жены, убиравшей со стола остатки позднего ужина.— Переливает из пустого в порожнее!»

— Колхоз, как новорожденный телок, на ноги становится,— чуть приглушив голос, продолжал Камчук.— Да теперь легче. И норова в людях поубавилось: уж не так бирючатся. Это и есть самое главное. Остальное приложится.— Камчук на мгновение примолк, дернул себя за хрящеватый, загнутый книзу нос, к которому от челки спускался приметный розовый шрам.

— Жалеешь? — набычившись спросил Науменко. Был он бледен, твердоскул, сжат. Как будто ждал удара и весь изготовился к нему. Тяжелый кольчатый чуб от этого провис при напряженном наклоне головы, отделившись от чистого узкого лба.

— Жалею,— еще не уловив мимолетной горькой иронии, согласно кивнул Камчук.

— А ты не отдавай вожжей, если жалеешь. Сам выводи колхоз в люди! Может, опять прогремишь...

— Гриша! — с упреком сказала жена, нарочно уронив эмалированную чашку.— Подними...

Он поднял посудину и со звоном швырнул ее на стол.

— Зачем так?

«И верно: зачем?» — отпустив досиня вспухшие желваки, расслабился Науменко.

— Не отдал бы, да велят,— по-прежнему звучно заговорил Камчук, и круглые холодные глаза с крохотными врачками вцепились в собеседника.— Стало быть, им видней,— он указал левой, еще не просунутой в рукав ладо-

нью за окно и резко втиснулся в тулуп.— А отказываться я не приучен. Мы солдаты партии. Об этом помнить надо!

— А я и не забываю...

— Ты чего? Недоволен, что в председатели определили? — Камчук улыбнулся тугими лаково красными губами, чуть приоткрыв тесный ряд зубов.

То ли от губ, в улыбке раздвинутых, то ли от голоса, в котором проглянула нежданная оттепель, цепкость зрачков ослабла. Зато пальцы из рукава пятью змейками впились в плечо Науменко. Он поежился, поднял голову.

— Брось, друже! — на него смотрели все те же беспокойные, цепкие, но теперь веселые глаза; в них плескалось столько доброго участия, что Науменко не устоял, сквозь хмурь усмехнулся и повел плечом, с которого нехотя сползла чужая ладонь.— Знаю, что не легко тебе придется,— продолжал Камчук.— А кому легко? Кабы ты знал, сколько во мне страху! О-о! Да ведь если припечет — партия не оставит, я так полагаю. И ты в добром слове не откажешь, а? Ну, говори, хлопче! Говори, а то калган отвинчу! — он шутливо схватил Науменко за голову и стал гнуть на себя.

— Район оседлал, теперь меня норовишь? — улыбнулся Науменко, выпрямляясь.

— Тебя оседлаешь! Напоследок одно скажу: груз ты взвалил немалый, а везти надо. Ноги загудят — подмоги проси. Это всего верней. Помнишь, как в атаки хаживали,— плечом к плечу? Вроде бы и страшно, а...

Дверь с грохотом растворилась, и через порог шагнул парень, румяный с мороза, в нагольном тулупе.

— Скоро вы тут распрощаетесь? — грубовато спросил он.

— Скоро кошки любятся, Ефим. Разве не знаешь? Прими-ка во здравие рабы божьей Марии,— предложил Камчук, подмигнув хозяйке.— А ну, Маша!

— Не пью,— отказался парень.

— Один раз можно. Мы вот тоже не пьем, а ради такого случая согрешили. Иль ты за мой отъезд с отцом выпил? Он, поди, рад, что Камчук уезжает, а?

— Об этом его спрашивай,— буркнул Ефим и, сдвинув на затылок шапку, из-под которой выскользнула бронзовая прядь, без лишних слов опрокинул посошок.

— Ну, с богом! Спасибо за хлеб за соль, хозяюшка,— дружески обнял хозяйку гость.— Повезло тебе, дьявол

кудлатый! Такую жену отхватил. Вот если схвачу ее и — в тайгу, а? Что скажешь?

— А райком на кого? — скрывая зевок, усмехнулась Мария.

— Григорий заменит,— подталкивая Ефима к порогу, рассмеялся Камчук.

Сняв с гвоздя под полатями кубанку, Науменко привычно кинул ее на непослушные кудри и последовал за ними.

Землю подсинила ночь. На все село один огонек запоздалый, да и тот скоро Мария потушит. Трескучая, насупленная ночь! Такие бывают перед зимним Николой.

— Час поздний, ночевал бы,— не очень настойчиво предлагал Науменко.— Утром с народом простишься, уедешь по-людски.

— Прощаться не стану. Бузинка не на краю света. Поехали, Ефим! Да чтоб не цоб-цобе, а с ветерком!

Жеребец, екая селезенкой, рванул с места.

«Вот и все»,— облегченно вздохнул Камчук и оглянулся: куда-то за спину торопливо уплывали серыми утицами дома.

— Наддай! — давясь морозным воздухом, крикнул он.— Гррабят! — Воронко, приученный к этому крику прежним хозяином, прянул в сторону, едва не выскочив из оглобель, и понесся остервенелым черным ветром. Дома-утицы не отплывали теперь — испуганно шарахались. А деревня спала.

«Спячка одолела!» — усмехнулся Камчук.

Вспомнилось, как в двадцать девятом въехал сюда уверенный в себе, в своей правоте, чтобы сломить глухое молчание деревни, оживить ее, очеловечить, вытряхнуть из нее дремучую окаменевшую душу и вдохнуть новую, раскрытую, доверчивую. Как влажное горящее зерно, перелопачивал человеческие судьбы. Перелопачено немало.

Колхоз сперва было пошатнул и его несокрушимое душевное здоровье и незыблемую уверенность в себе, заставил многое пересмотреть. Пришлось одолевать не только заскорузлую косность мужика, но и свои сомнения.

«Теперь уж все»,— стараясь слушать гулкий дробящий топот коня, думал Камчук, дыша раскованней. Его утомил длинный разговор с Науменко, которому отныне придется тянуть лямку председателя. По плечу ли она Григорию? Рубакой он был лихим. Камчук это помнит.

Но пора кавалерийских набегов миновала. Уяснит ли это Науменко? Трудно сказать, однако время для внушений пока есть.

Едва успел шевельнуть мозгами, а Воронко уже полдеревни позади оставил. Вот и время так же. Оно не для тугодумов. Воронка остановить можно. Время не остановишь, дикое оно, необоримое: заглядишься — раздавит. До сих пор Камчук ладил со временем. Жизнь его была правильной, руки чистыми. А замараться несложно. Нужно лишь слегка уступить своим слабостям, и станешь притчей во языцех. Но он не уступал, не сдавался. В двадцать первом кулаки затянули на его шее петлю, другой конец привязав к оседланному жеребцу. Было страшно, но Камчук не кричал, не взывал к черной вражьей совести, кровавыми слезами плача в душе по уходящей молодой жизни. Солнце в морозном кольце еще никогда не казалось таким привлекательным. И вдруг все опрокинулось, завертелось, скрылось в цветном тумане: один из кулаков вскочил в седло и, пришпорив коня, на полном скаку поволок пленника по улице. Камчук не помнит, как между веревкой и шеей оказалась правая рука...

— Стой! Стой, варнак! — спугнул его мысли чей-то громкий окрик, когда Воронко грохотал по мостику над яром. Кричали из конюховки.

— Спала бы ты, тетка Афанасея! — проворчал Ефим, с трудом удерживая жеребца.— Базлаешь среди ночи!

— Ты где вырос? — вырывая у него вожжи, низким грудным голосом заговорила женщина.

— Что случилось? — недовольно спросил Камчук, узнав в подошедшей конюха Афанасею Гилеву.

— Коня некованым запрягли, вот что! Ему это простительно, в деревне без году неделя, а тебе-то стыдно! — она ткнула Ефима в спину, приказав: «Заворачивай на конный!»

— Мы торопимся! — не очень твердо проговорил Камчук. Он побаивался этой мужиковатой дерзкой бабы.

— Перепрягу и поезжайте! Скатертью дорога! — ведя жеребца под уздцы, невозмутимо отвечала Афанасея.— Тебе кто дозволил брать Воронка?

— Кто как не Пермин!

— Он токо это и умеет. Фатеев живо научил бы вас, как с животной обращаться. Колхознички! Свое берегчи умели!.. У-у, глаза бы на вас не глядели!

— Да мне-то откуда знать, что он не кован? — оправдывался Ефим, заводя в оглобли другую лошадь.

— Про свое все знаешь. Этот чужой.

Пока они переругивались, Камчук вылез из кошевки и прошелся по знакомой ограде. Тускло отсвечивали окна на втором этаже. Внизу, в конюховке, двусмысленно мигал фонарь, словно намекал на что. Огонь этот был неприятен Камчуку своей развязностью.

И дом, и двор, и огонь, лижущий фонарное стекло, напоминали о Фатееве, бывшем хозяине этой усадьбы, и оттого было не по себе. Камчук не часто вспоминал Фатеева, но и совсем выкинуть его из памяти не мог. Слишком многое было связано с этим человеком. Даже воскресение из мертвых.

С небольшой группой красноармейцев Фатеев отбил полуживого Камчука у кулаков и доставил его к своему знакомцу Лавру Печорину. В экстренных случаях ветеринар нередко пользовал людей, и удачно. Кости, аккуратно вправленные старым костоправом, срослись прочно. Остался лишь шрам. И Камчуку было лестно, когда на губернской конференции делегаты указывали на этот шрам и перешептывались. К тому времени о Камчуке уже писали газеты.

С Фатеевым встретились в Заярье. По всем статьям он подлежал раскулачиванию. Увидав в списке знакомую фамилию, Камчук удивился:

— А этот как сюда попал?

— Самый злостный,— угрюмо выдохнул Сидор Пермин, руководивший группой активистов.

— Пришлите его ко мне! — велел Камчук.

Но Фатеев не пришел. А утром его увезли в полузабытьи. Проезжая мимо Камчука, он поднял с коленей жены в скатавшихся волосах голову и, поведя побелевшими от боли глазами, глухо хрипнул:

— Ты? Выходит, зря я тогда веревку-то... Зря... Вернусь! Не я буду.

Камчук, не любивший оставлять за другими последнее слово, смолчал и, зайдя в Совет, долго и незряче глядел на разрисованную стену напротив.

Накануне вечером он допоздна ждал, что Фатеев придет, напомнит о прошлом. И Камчук попросит оставить его в колхозе под свою ответственность. Если будут противиться — настоит, переборет.

Когда за дверью кто-то кашлянул, потом нерешительно скребнул ногтем, Камчук встрепенулся, радуясь этому позднему появлению.

— Это я, Алеха,— гундосо произнес чей-то голос, и в дверь бочком протиснулся хитроглазый мужик с перебитым носом.— Дугин я, значит.

— Из этих? — Камчук кивнул на список, лежавший на столе.

— Опять же как на ето дело поглядеть, Алеха...

— Я не Алеха,— нахмурился Камчук.

— Извиняюсь, гражданин-товарищ. Присказка у меня такая. Дак я и говорю, как ведь на ето дело посмотришь. С виду-то я кулак, не спорю. А ты мне в нутро заглядывал? То-то. Может, я самого Ситьки Пермина политичней. Тогда за какие такие грехи меня на выселки-то? Ты сперва тут спытай. Эдак вот и выйдет по правде. Я на всякий случай гумагу заготовил, Алеха. Самолично подаю в голхоз.

— Колхоз, гражданин,— поправил Камчук, остро вглядываясь в гундосого.

— Нонешние слова, Алеха, шибко трудные. Ежели примете в колхоз, может, и образуюсь, хоть и поздно в мои года переучиваться. Нас с малолетства чему учили? Хлебопашеству да молитвам. Тут я без передыху все скажу, как по книге. С детства дак...

— Значит, в колхоз надумали? — царапая его своим пронзительным взглядом, спросил Камчук.

— Туда,— вздохнул Дугин.— В самое это... В гумаге чисто все прописано.

— Я передам ваше заявление общему собранию. Если сочтут нужным — возражать не стану.

— Как поди не сочтут! — чуть заметно ухмыльнулся Дугин в огнистую бороду.— Всю живность обчеству отдаю... от сердца отрываю,— ухмылку сдуло, голос скрипнул неподдельной жалью.

— Айда! — позвал Ефим.

Камчук с поспешной готовностью перекинул ногу через бортик кошевки и, кое-как усевшись, прикрыл глаза.

— Коня не запарь! — строго наказывала Афанасея.— Дорога неблизкая.

«Неблизкая!» — эхом отдалось в Камчуке, и, забивая этим словом все свои мысли, он попытался уснуть.

Любо в дороге, чудно! Если поверх борчатки к тому

же еще тулупище на тебе — едешь как на праздник. Все вокруг движется. А ты с высоты человечьей взглядом создателя смотришь на земную коловерть. И сладко и счастливо тебе. Бесконечно ехал бы! Конь хорош, кучер недокучлив, молчалив. Лишь предстоящие заботы чуть-чуть напоминают о себе сбоями в сердце. И самая длинная дорога стремительно укорачивается от этого. Хочется остановить время, чтобы ехать еще день, два, год.

Пусть мчится рысак, разрывая мохнатой грудью морозный воздух! Пусть шмыгают, пересекая тракт, шалопутные зайцы!

Чудно в дороге, чудно!

Спутник задумчив, так и не вымолвил ни слова. Вот-вот уж и Бузинка покажется.

— Ты чего молчишь? — мягко спрашивает Камчук. Голос из воротника глух, добр.

Ефим молча оглядывается и, шевельнув губами, цокает. Рыжко прибавляет рыси.

— Рассказал бы хоть что,— не успокаивается Камчук.— Все веселей... С отцом-то как живешь? — тыкаются в затылок неотвязные вопросы и застревают в откинутом воротнике.

— Живу помаленьку.

— Разговорчивый! — улыбнулся Камчук.— Я потому спросил, что ты-то комсомолец, а он без бога никуда, по старинке живет.

— Руку ему не привяжешь,— буркнул Ефим.

— Понятно. Не бранит он тебя за комсомол?

— Ему дай волю, дак сам туда запросится. Да я не приму.

— Значит, нет между вами мира?

— Но, Рыжко! Заснул, что ли? Ишь ты!..

— Помню, он у меня в колхоз просился. Вот задачку задал! Я до утра гадал: брать или не брать.

— Хоть и до утра, а решил с ошибками...

— Как так? — придвинулся к нему Камчук.

— А вот так.

— Да ты поясни, любопытно. Выходит, ошибся я?

— Выходит.

— У тебя язык-то прилип, что ли? Говори по-людски! — рассердился Камчук. Ему стало жарко.— Он что, против колхоза?

— Не против.

— Не-ет, раз уж начал, то давай, напрямки! Я теперь с тобой как секретарь райкома говорю.

— А мне все едино.

— Обиделся? Чудак ты, право, чудак! — рассмеялся Камчук, поняв, что так из Ефима много не вытянешь.— Отец у тебя мужик толковый, дельный. Землю больше себя любит...

— Этого не отнимешь,— согласился Ефим. Помедлив, продолжал: — Как-то захворал он и наказывает: «Ты, Симко, когда под образа меня положат, принеси горстку земли с верхней пашни. Помру с ей...» А землю ту он у Мити Прошихина чуть не задарма оттяпал.

— Ну-ну, продолжай!

— Что, ну-ну?

— Дальше-то как было?

— Обыгался. Через месяц на ноги встал и сразу за соху. Это, говорит, мне земля помогла. Дух в ей здоровый такой...

— Так ведь это хорошо, что он так беззаветно в землю верит!

— А боле ни во что. Вот я и говорю, что задачку худо решил. Начнись смута какая — плюнет он на колхоз и опять в свою нору кротом уткнется. А то и похуже...

— В том и фокус, парень, чтобы колхоз для крестьянина дорогим сделать. Знаю, что Михей Матвеич сбоку пристроился. Вроде как охранник своей земли при колхозе. Думает, обманул Камчука и Советскую власть. Тут, брат, подумать надо: обманул или обманулся. Любит, говоришь? Ну и пусть любит! Ты ему не препятствуй. Земля-то колхозная! Стало быть, он против своей воли колхоз любит...— Камчук коротко хохотнул и опять уткнулся носом в воротник.

Ефим нахохлился, ушел в себя. «Больно прытко рассудил!» — проворчал он. Камчук окликнул его, но ответа не дождался.

Скоро выдвинулась из-за поворота Бузинка.

Ночь была на исходе.

Глава 2

— Парнем бы родиться тебе! — вздыхала мать, разглядывая в бане тугое дочернино тело.

— Я и девкой нехудо вышла,— отшучивалась Афана-

сея.— Видно, тятя на совесть старался. Поди, за труды праведные в раю теперь...

— Бесстыдница! — старуха сердито шлепнула дочь по крутому заду, проворчала: — Хватит парить-то? Весь дух из меня выпаришь.

Вытянув на полке старые немощные члены, положила под голову влажный березовый веник, слабо вздохнула:

— Шла бы ты замуж. Шибко охота деток твоих понянькать!

— Тебя-то кто нянькать будет? Мужики и дети ухода требуют,— устраиваясь рядом с ней, невесело усмехнулась Афанасея.

После смерти отца мать сразу занемогла. Ноги, которые за свой век столько исходили, вдруг отказались служить.

Ухаживать за ней пришлось недолго. Однажды под утро она позвала ясным тихим голосом:

— Спишь, Афанаска? Я помирать надумала. Подойди — благословлю...

Рука, крестившая Афанасею, была еще в воздухе, а сердце остановилось.

Афанасея отдала покойнице поясной поклон, прикрыла остекленевшие глаза, поплакала и на четвертый день схоронила ее рядом с отцом.

Одиноко в избе, пусто, пустынно. А мыслям в голове тесно, натыкаются друг на друга, бабий сон гонят.

Четвертый десяток разменяла, а замуж так и не вышла. Никто еще не касался литых Афанасеиных полушарий со смуглыми сосками, никто не лежал на ее круглой белой руке. Среди бобыльей ночи соскочит Афанасея с постели, закружит волчицей по горнице, трогая сильными руками упругое тело. Слышно, как томится оно, радости ждет, тоскует. Не валяется по дорогам радость — подобрала бы, вымыла, вычистила и на божницу поставила бы. Сколько же маяться еще, сколько ждать ее? Может, пречистую деву спросить?

Падет женщина на колени, лбом о пол ударится. Пока глаза к долу, о богородице со святостью думает. А как на икону, на руки Мариины неживые, с неживым младенцем глянет, зло заливает душу: «Разве поймет она меня, сухота дерванная! Хоть лоб разбей! Сама-то с богом миловалась...»

Разогнется — вроде бы легче, отпустило. Да надолго

ли? Живая чуткая плоть на всякую грешную мысль дрожью отзывается.

«Кликну первого встречного! Любой кинется, как собака на кость. Вон я какая!» — с яростным удивлением мнет выпуклый твердый живот, которому по всем статьям только детей вынашивать.

Встречным оказался Федяня Дугин, девятнадцатилетний молокосос. Кабы лет десять назад, может, и приняла бы такого. А тут увидела юношеский пушок над верхней губой, хотимчики на подбородке — предвестники возмужания — и хрипло, через силу расcмеялась:

— Тоскливо мне, Федя. Посиди со мной, чайку попей...— И стала раздувать самовар.

Парень бледнел, краснел, рта раскрыть не смея. Встретив ее сочувственно-насмешливый взгляд, неловко опрокинул стакан с кипятком и опрометью вылетел вон.

«Вот и почаевали...» — усмехнулась Афанасея, ветошкой смахивая с клеенки коричневую лужицу.

Кабы не доля ее горькая, жила бы, не тужила. Знать, на роду написано матерью не быть, любви не ведать. Мужики, как жеребцы. Отъяровали — и дальше. Мало ли их с речами сладкими подкатывалось! И когда девкой на выданье была, и после, когда постарше стала.

Ей бы такого, чтоб гордей гордого был. Каждое слово его ловила бы как манну небесную. Ноги бы мыла соколу.

Нету таких, нет.

Был Петруха Фатеев, да и тот достался не ей, а ведь Наталья-то — пустоцвет. Только тем и взяла, что сундуки от приданого ломились. Но Петро иначе рассудил. На богачестве женился. А ведь это наживное.

Перед их свадьбой встретила Афанасея счастливую невесту в переулке и, прижав ее к плетню, зыркнула аспидными глазищами: «Отступись, Христом-богом молю!» А в голосе не мольба — угроза. Дрогнула Наталья, кожа на лице гусиными пупырьями взялась. Молча потупилась, боясь утонуть в бездонной черноте Афанасеиных глаз.

— Жить без него не могу! — исступленно шептала Афанасея.— Всю бы кровушку по капельке отдала! Отступись, ежели душа в тебе есть! Сердцем ты легкая, другого полюбишь. А мне на других-то за версту смотреть муторно! Добром прошу, Наталья! — встряхнула соперницу так, что из старого плетня труха посыпалась.

— Пусти,— оробело блеяла Наталья.

— Иди, да помни, Наташка! Мой он, мой!

Ушла Наталья, стуча от страха зубами. Сердце токало редко, словно голос подать боялось. Афанасея долго еще стояла у плетня, держась за колья.

— Огород караулишь? — выйдя на крыльцо, усмешливо спросил Евтропий Коркин.— Я тебя вроде не нанимал.

— Найми, а то проворонишь,— едва разжала отерпшие кровяные губы Афанасея и, оттолкнувшись от плетня, шагнула прочь.

«Как же ты, Петя? Променял орлицу на курицу...» — пошатываясь, брела по Заярью, припоминая, где и когда бывала вместе с другом сердечным, изменщиком проклятым.

Отсюда вот забирались в огуречник к Панфилу Тарасову, напугав его до полусмерти. Лежал старик промеж гряд, сторожа их от пакостливых ребятишек, и задремал. Вытащив из-под него ружье, Петьша пальнул над самым ухом старика. С тех пор у Панфила шея подергиваться стала.

Сидору Пермину подвесили на ворота пожарный колокол и звонили до тех пор, пока хозяин стрелять не начал.

Много чего вытворяли в молодости, все не упомнишь. Но одно в память крепко врезалось.

Сидели они вечером на лавочке, прокричав перед тем на всю деревню: «Пожар! Пожар!» Мимо них, встревоженный криками, проковылял одноногий дед Семен, браня себя за недогляд; побежали и другие, кто с ведрами, кто с баграми. Смеющаяся во всю глотку Афанасея не сразу поняла, что произошло... Губы Петрухины прильнули к ее губам, смех задушив. Дурманом голову обдало, все поплыло перед глазами. Руки сами взлетели к крутой шее парня.

То ли во сне это было, то ли наяву?

...Афанасея облизывает языком пересохшие десны, воспоминания давят еще сильнее, муторно все, мысли в голове тузят друг друга.

Где сейчас Петруха, окаянный мучитель? Жив ли, нет ли? Лучше бы сгинул. Выжечь его из памяти и пепел по ветру развеять! За все муки, которые перенесла из-за него, за ночи душные, бессонные, это самая легкая кара...

Нажаловалась на нее Наталья.

Фатеев ворвался ночью, стукнувшись о притолоку,

выругался: пьяный. После смерти матери Афанасея подолгу засиживалась у лампы то с вязаньем, то с пряжей.

Увидев его, обомлела от радости, с лавки встать не смогла: ноги не держали. Так и сидела с прялкой в руках, прислонясь в сладком изнеможении к стене.

— Петенька! Жданный мой!.. Думала я, что ты впрямь жениться собрался на этой корчаге... Разве стоит она тебя? — начиная чувствовать под собой ноги, заговорила Афанасея.—Не пара вы... Чужой ты ей, и она чужая. А я на тебя ветру дунуть не дам, соринке упасть не дозволю. Залюблю, зацелую.

Подлетела птицей к нему, пересилив томление, как в ту ночь, руки на плечи кинула. Оказались рядом — оба вровень, сильные, красивые.

— Побаловались... и будет! — встряхиваясь, прохрипел Фатеев.— Теперь врозь...

— Ой ли? — отступила Афанасея.— Не можно, Петя! Как врозь, ежели ты у меня к сердцу приболел? Да и меня не выплюнешь — не зуб выпавший.

— Ты Наталью не тронь,— вяло пробормотал Фатеев и коротко, боязливо ткнул ее кулаком в грудь.

— Меня? — Афанасея удивленно присела, схватилась за сердце. Оно колотилось раненой белкой.— За то, что души в тебе не чаяла, думами изводила себя деньденьской? О-ох! — кротко улыбнувшись, припала к его коленям, замолкла. Две тяжелые слезины ртутными горошинами ударились о фатеевские сапоги.— Это ты не меня, любовь нашу ударил, Петенька... В самую душу. Изобидел ты ее, а она и так горькая... Горше бабьей доли...

Фатеев осторожно переступил, поднял горевший кулак и, разжав его, погладил Афанасею по волосам.

— Затмение у меня, Афанаска! — пробормотал он.— Все перепуталось... В голове помутилось... Тошно!

— Иди домой, Петя. Остынешь — разберешься. Может, и правда присох к Наталье, тогда мешать не стану, справлюсь с собой.

— Пойду,— покорился он. У порога обернулся.— Ты пожар-то помнишь?

— Иди! — с яростью выкрикнула Афанасея, разгибаясь, как ствол молодой, из рук выпущенный.

— Помнишь,— опустошенно кивнул Фатеев.

«Я-то помню,— прислушиваясь к звуку его шагов, думала Афанасея,— а вот ты запамятовал...»

...Нету Петра. И вестей от него нет. Хоть бы словечко написал: жив, мол. Только и осталось на помин, что кони да усадьба. Дом весь табачищем продымили. Коней заездили. Один Воронко не тронут. И то потому, что Афанасея, как дитенка, оберегает его. Сам Петруха не поверил бы, что коня секретарю райкома не дала, сказала: не кован. Кто ж на зиму жеребцов нековаными оставляет? Не ради Петра сделала это, прошлого ради. Этим и живет.

...Нету Петра. Другим его не заменишь. А годы уходят. Светелка по-прежнему тиха, чиста, пустынна. Поту бы в нее мужицкого, окурков, ругани...

Где ты, Петро?

Глава 3

Дойка кончилась. Александра вытерла о подол фартука покрасневшие, распухшие от костолома руки, крикнув напарнице:

— Ты скоро, Катерина?

— Додаиваю,— отозвалась девушка, отирая одрябшее коровье вымя.— За тобой не угонишься.

— А ты не торопись, не на пожар. Хорошенько продаивай.

— Да я и так.

— Митьша где-то застрял. Надо на молоканку, а его нет. Вечно копается, копуша!

— Опять, поди, в карты режется! Я сбегаю за ним,— разминая отерпшие пальцы, сказала Катя.

— Вот он, легок на помине...

В пригон, прикрикивая на лошадь, медленно въезжал мелкорослый щуплый мужичонка. Шапка ухом вперед, над бровью нарост оладьей прилип.

— Грузите! — приказал Митя, доставая из кармана кисет.

— А ты? — сердито спросила Катя.— Ну-ка, берись!

— Мне Науменко воспретил тяжелое поднимать. Мы, говорит, тебе руководящую должность подыщем, так что береги себя,— прикуривая от кресала, говорил Митя.

— Полно языком-то чесать! Помогай!

— Да ну его,— отмахнулась Александра.— Сами составим.

Ухватившись за полную флягу, вскинула ее в сани. Взялась за другую и, ойкнув, присела.

— Больно? Где? — подскочила к ней Катя.

— Тут,— Александра схватилась за низ живота, все больше клонясь к земле.

— Сбрасывай фляги, недотепа! — гневно закричала на сторожа Катя и, бережно уложив женщину в розвальни, повезла домой.

У Яминых, вытянувшись на нижнем голбце, старший сын Прокопий читал сестренке сказку про Никиту Кожемяку. Смешливая веснушчатая девчурка нетерпеливо спрашивала:

— Проня, а Кожемяка победит?

— Не-е,— слукавил Прокопий.

— Тогда не читай.

— Почто?

— Он как с тяти списан. Надо, чтоб победил.

— Победит, победит... Слушай.

В горнице, наглухо затворившись, молился Гордей, еще недавно усердно посещавший все двоеданские службы, происходившие в доме Дугина. Дети да и сама Александра рвением к богу не отличались. Гордей и не понуждал: как душа велит. А если в судный день за безверие детей отвечать придется — примет Гордей на себя все их прегрешения, вольные и невольные. Грешник уж на этом свете жизнью самой подготовлен к мукам, которые примет на том. В последние месяцы Гордея стали раздирать сомнения. Чтобы не показать их единоверцам, начал молиться в одиночку.

Невнятной скороговоркой шепчет он слова молитвы: «...яко многие ради благости и долготерпения. Не прогневайся на мя грешного и ленивого раба твоего».

Шепчет, а на язык липнут иные, кощунственные слова: «Грешен, во многом грешен! А лености не знавал! Прости меня, господи, за мысли непотребные!.. А не погуби еси мене со беззаконии моими. А ныне, владыка, пресвятый боже, просвети очи сердца моего и отверзи устами поучатися словесем твоим и разумети заповеди твоя, творити волю твою и пети тя во исповедании сердечном...»

— Не сердцем молюсь, разумом! — ударяя лестовкой по широкой, как заступ, ладони, рассеянно бормочет Гордей, но уж ничего с собой поделать не может.— Просвети мя, господи, и пути укажи...

Страшно в душе, взбаламученно. Не приходит успо-

коение. Наверно, молитва смутная уха божьего не достигла. Осеняя себя крестом двоеданским, падает Гордей на колени, в цветной подрушник поклоны бьет. Много отбил, а конца им нет. Сколько ни молись — не слышит господь, суровится: молитва-то не от души. Оттого и просветления в мыслях нет.

Услыхав шум, Гордей встаёт и, оставив на полу подрушник, выходит в избу.

— Сана! — голос стеклом о камень звенит. Этой вот боли, страсти и ярости не доставало его молитвам.— Бедная моя! — Осторожно берет жену на свои узловатые руки, что-то невнятно наговаривает ей, укладывая в кровать за занавесями.

— Мученица моя! До больницы дотерпишь?

— Не впервой.

— Оттуда воротишься — будешь дома сидеть. Хватит уж! А пока лежи. К Пермину пойду за подводой.

— Не глумись над собой, Гордюша! Не даст он.

— Есть, поди, и в ем сердце,— с треском напяливая продымленный армяк, отвечал Гордей. Шапки и рукавиц в самую трескучую стынь не нашивал.

Шел к бригадиру, как бык на бойню. Знал, что отказ получит, но беда гнала.

Жили с Перминым дружно. Вражда началась из-за ничего. Фатеев и Сидор оба за Натальей Тарасовой ухлестывали. Сидор собрался уж сватов засылать, но Фатеев, не будь промах, из-под самого носа увел невесту. Смертельно обиженный Сидор навалился с дружками своими на жениха. Гордей выручил Фатеева. Из-за того и ненависть возникла.

Фатеев не стал дожидаться, когда заживут следы кулачных побоев, подстерег обидчика в темном переулке, сбил его и оставил чуть тепленького. Сидор полгода кровью харкал, но все-таки выкарабкался. Срослись перебитые кости, только левая рука сохнуть стала. Дорогую цену взял за эти увечья Пермин. Где-то на приисках мыкает свое горе Фатеев. А что довелось испытать Гордею, это он один знает.

С некоторых пор и Пермин затосковал, в глазах желтая грусть разлилась. Щурил их, от людей пряча. В иные вечера так подпирало, что хоть волком вой. И уж те, кого ненавидел, в другом свете казаться стали. Они, должно быть, тоже устали от ненависти и недоверия.

Пермин и рад бы помириться с ними, да не поверят. Наглухо заперты души мужиков; может, и есть где узкая щелка, но попробуй, отыщи ее.

— Я с просьбой к тебе, Сидор,— остановил его у конного двора Ямин. Огладив кудрявую бороду, несмело шагнул ближе, словно боялся, что земля под ним проломится. Сидор против него птенец.

— Ну? — в голосе обычная властная хмурь, из души усмешка рвется при виде Гордеевой робости. Природа не пожалела Ямину ни статности, ни силы. Накроет кузнец сверху корчажистым кулаком — мокрого места не останется. Зная о силе своей, Гордей остерегался применять ее. В драках только мирил, и то с оглядкой. Как-то, неосторожно разнимая, кинул наземь Фильшу Лапина, оторвав его от дерущихся, едва-едва откачали мужика, чахнуть стал: видно, что-то оборвалось внутри.

— Лошаденку бы мне,— нерешительно молвил Гордей.

— Ты уж сразу тройку проси,— дивясь своему упрямству, усмехнулся Пермин. Знал ведь, что Ямин зря не попросит, не тот человек.

— Я на тройках-то не привычен...

— Ну так и на своих двоих прогуляешься.

Гордей стукнул кулаком о кулак и, стиснув зубы, молчком зашагал домой.

Его ждали. Катя сидела рядом с постелью Саны, гладя ее в сухих трещинках руку.

— На себе повезу, Сана,— виновато потупился Гордей.

— Дома-то я скорей оклемаюсь,— сама себе не веря, с трудом разлепила побелевшие губы Александра.

— Ты помоги ей собраться, Катя, я тем часом санки приспособлю.

— Вместе повезем, тятя,— тихо сказал Прокопий.

— А домовничать кто останется?

— Я подомовничаю, дядя Гордей,— предложила Катя.

— Невелика тяжесть, один управлюсь. Ты, Прокопий, за коровой гляди. Вот-вот отелится. Мотри, теленка не приморозь!

Привязав к санкам пестерек, бросил в него поверх сена кошму и осторожно усадил укутанную Александру.

— Тронемся со Христом! — крякнув, легонько дернул за бечевку, перекинутую под мышки, и повез дорогой свой груз, оглядываясь на раскатах.

Кабы можно было свернуть, пошел бы огородами, но

тракт, проторенный обозами и кандальниками, шел из конца в конец по всему Заярью.

Встречая людей, нарочито бодрым голосом здоровался с ними. Они спешили пройти мимо. А Евтропий Коркин, за которым была сестра Гордея, увидав свояка, юркнул в переулок и, таясь за углом, переждал, когда минует его этот печальный возок.

Сидор одумался. Увидав Ямина, везущего санки, сам запряг лошадь и кинулся вдогон.

Медленно, понуро шагал Гордей. Александра притворялась спящей, чтобы не бередить его своими стонами. Негромко поскрипывали узкие кованые полозья, оставляя четкий розоватый от яркого солнца след. На слепящем снегу темная фигура Гордея казалась скорбной и потерянной. Будто заблудился в пути человек, отчаявшись выйти к человеческому жилью, на огонек.

Пермин догонял ходко. Но в полуверсте остановил коня и, с минуту постояв, повернул обратно. Ехал шагом, опираясь на кнутовище. Стыд и горечь язвили душу, красили лихорадочным румянцем щеки.

Догнать бы! Но теперь Ямин сам откажется от запоздалых услуг. Сидор знал его непокорный тихий нрав.

Потому и вернулся.

Глава 4

Из Бузинки Гордей возвращался метельной ночью. Дорогу пересуметило. Ветер глумливо швырял взашей колючим снегом, задирая ветхую мужичью лопоть. Бусое небо тужилось бураном. Звезды словно сдуло. А без них одиноко в такую погоду!

По времени где-то рядом должен быть Волчий буерак. Каждую зиму находят в нем оглоданные человечьи кости. Но сейчас и зверь едва ли отважится выйти на свет божий. На всю непогожую ночь, наверно, один Гордей в пути, и то нужда заставляет в предбуранье спешить домой: как бы коровенка до срока не распросталась.

Александру положили на операцию. Доктор обозвал Гордея извергом. А за что? Выходит так, что мужик кругом виноват.

Не первый уж год мается женщина с грыжей, а выжить из себя не может. Едва подлечится — облепят гнусом бесчисленные бабьи хлопоты... Глаза на них не за-

кроешь: дети пить-есть просят, дом обиходить надо. Первее ж всего нелегкая крестьянская работушка.

Чуть ли не с первого дня в колхозе тянет Александра коровьи титьки, копенными навильниками ворочает сено вперемеж с соломой, гребет пестерями скотские глызы. Нехитро для деревенской бабы носить подойники с молоком, греметь шестиведерными флягами, а после больницы сказывается: чуть поднатужится — швы разойдутся. Не раз слыхивал Гордей, как напарница Александры, Катюнька Сундарева, выговаривала ей: «Ты бы полегче, тетя Сана! За все-то не берись, не сдюжаешь!» Да разве ее уговоришь? Синью зайдется от натуги, а может, от боли и обиды за немощь свою, но не попросит помощи. А чуть повзъемистее поднимет — грыжа выкатывается.

Надо бы поклониться бригадиру — Сидору Пермину, чтоб куда полегче определил, но Александра не из тех, кто просит. В четвертый раз отвез ее Гордей в больницу. Волок на бечеве свою сердечную поклажу все двадцать заснеженных верст, глотая с горькой слюной удушливую ненависть. Стылыми шариками висли на ресницах скупые впересол слезы. Сиверок, бузуя, шевелил в душе тягучие черные мысли.

— И бог от меня отступился! — с хрипом выдохнул Гордей.— Ропщу, однако... А как не роптать! Дерево рубят — и то слезьми обливается... А тут — душа, живое мясо. Э-эх! — завязнув в сугробе, яростно дернул санки, свалил немудреный скарб — мешок с двумя кирпичами казенного хлеба, купленного в районной лавке в гостинец. Подобрав поклажу, привязал ее и медленно зашагал по убродистой дороге.

Из темноты высверкнули четыре зеленые точки. «Вот холеры! — сплюнул Гордей.— И в непогодь им не спится!» Волки крупно отмахивали навстречу, перескакивая сугробы, отчего глаза их метались блуждающими светляками: вверх-вниз, вверх-вниз.

Встречи не миновать. А раздумывать некогда. Пока свернешь с дороги да взберешься на дерево... С мешком не успеть. И оставить жалко.

А между тем звери уже остановились рядом и, разбрызгивая слюну, лязгали клыками. Гордей поднял санки и, закрывшись полозьями от себя, негромко сказал: — Токо вас и не хватало!

Звери метнулись вперед. Гордей пнул одного, угодив

ему под глотку и, загораживаясь санками от другого, закружил вокруг упавшего. Стоило лишь оступиться, как волк цепко прирос зубами чуть выше левого локтя. Бросив санки, Гордей упал на него, жамкнул звериную шею, сунул в смрадную клыкастую пасть рукавицу. Волчина хоркнул и обреченно вытянулся. Поднявшись с колен, Гордей пнул его по лобастой башке, потом стал пинать в брюхо, в пах, в грудь... Бил, пока не умаялся. Будто это был не зверь, а судьбина проклятая.

Опомнившись, снял опояску и накрепко привязал добычу. Идти стало вдвое тяжелей. Но теперь он почти не замечал этого и лишь крякал, минуя заносы.

Деревня притаилась в глухом бору за яром... Видать, отсюда и названье пошло — Заярье. На ближней стороне яра темнела кузница. Мельком взглянув на нее, Гордей перешел мост, свернул влево и зашагал в тот переулок, который обрывался у пруда. Из переулка, чуя звериный дух, вылетела собачья свора. Впереди несся волкодав Пермина.

«Пропасти на вас нет! — проворчал Гордей, выворачивая кол из огорода Евтропия Коркина. Огрев наседавшего кобеля, прикрикнул на собак: «Цыть, падины!» Свора приумолкла и стала разбегаться, оставив на дороге подбитого пса, с визгом волочившего задние лапы.

«Жалко, что не хозяина!» — мстительно усмехнулся Гордей и, отдышавшись, произнес вслух: — И от бабушки ушел, и от дедушка ушел.

В доме Евтропия засветились окна. Встревоженный шумом, хозяин выскочил на крыльцо, на ходу заряжая ружье.

— В кого метишь, золовец? — окликнул Гордей: спросонья хватит, что с него возьмешь.— Не узнал?

— Ты, что ли, Максимыч? Не разгляжу впотьмах. Шумишь больно. Всею деревню перепужал.

— Тебя испужаешь! — усмехнулся Гордей.— Не отзовись — хлопнул бы...

— Собачню-то чем всполошил?

— По дороге серых взял.

— Ишь ты! Ну, заходи, почаюем. Агнея уж все одно не уснет теперь.

— Домой надо. Да и руку крепко порвали...

— Тогда беги к Варваре. Проводить, может?

— Спи уж. Сам дойду.

Коркин покачал в темноте головой и выждал, пока Ямин не скрылся за углом. «Зверь и тот ополчился на мужика!» — сочувственно подумал, запираясь на засов.

— Что там? — полусонно спросила Агнея, крестя растянувшийся в зевке рот.

— Братан твой нашумел.

— Александра-то как?

— Не спрашивал. Руку ему волки порвали.

— Оюшки! — ахнула Агнея и засобиралась.

— Куда?

— Попроведать пойду. Может, худо ему...

— Терпит. К Варваре Тепляковой пошел. Спи давай.

На голбце мурлыкала кошка. Изредка строчил в стене сверчок. Евтропий задул лампу и, тихонько щипнув взвизгнувшую Агнею, лег с краю.

— Идол! — гулькнула она, подкладывая ему под голову пухлую, как подушка, руку. Потом вздохнула, заговорила о брате: — Почто же это беды на его без роздыху валятся, Тропушко?

— Такая уж планида,— задумчиво ответил Евтропий, глядя на посветлевшее за занавеской окно.— А он крепок, золовец-то!

Как-то шутейно на Агнеиных именинах мужики решили звать друг друга золовцами, так с тех пор и нет другого имени: золовец да золовец.

Миновав второй переулок, Гордей стукнул в окошко Тепляковых. Здесь никогда не спрашивали, кто и зачем. Пришел, значит, болен.

Отворила Варвара.

— Заходи,— не признавая состани, пригласила она. Логин тем временем вздул начищенную до блеска лампу.

— А, Гордей Максимыч! Редкий гость! — приветливо кивнула хозяйка. При свете странно блеснул в середине аспидно-черных волос приметный ремень седины.

— Редкий и не ко время,— замялся Ямин.

— Боль не спрашивает,— сказала Варвара, проводя его в горницу, увешанную пучками трав. Логин, смущенно запахнув зипун, надетый поверх нательного белья, подвесил лампу к потолку.

— Угадывай, Лога! — велела Варвара, коротко взглянув на мужа.

— Рука,— отводя в сторону большие зеленые глазищи, сказал Логин.

В деревне их звали колдунами. Логина — за его уменье не спрашивая угадывать болезнь, Варвару — за то, что пользовала эту болезнь не по-больничному. И хоть колдовства этого некоторые побаивались, а все же шли сюда.

— Батюшки-светы! Кровишши-то сколь вытекло! — всплеснула руками Варвара, оглядывая рваную рану Гордея.— Где тебя так?

— Коло Волчьего буерака.

— Заговори кровь, голубь! — сказала знахарка мужу.— Да живей, живей! Чтоб не утекла... Крови человеческой цены нет...

Логин торопливым шепотом читал заговор. Варвара хлопотала в избе. Обмыв рану теплой водой, потерла ее первачом и, плеснув в стакан, поднесла Гордею.— Испей, полегчает!

— Душа не принимает.

— Все одно выпить надо. Бог не осудит.

— У бога своих делов много, не до нас ему,— брезгливо морщясь, сказал Гордей: он не употреблял.

Тем временем Варвара готовила зелье, подливая в него из разных кринок, стоявших в углу под божницей. Оно пахло загадочно и пряно. Пропитав в снадобье кусок холстины, туго перевязала рану.

— Дюж ты, Христос с тобой! Не изурочить бы.— Щеки Гордея начали розоветь.— Не будет тебе износу вовеки.— И заторопилась, собирая на стол.— Теперь покушать надо. Кровушку потерянную обновить.

— Спасибо за лечение, Варвара Ивишна, полегчало вроде.

— На то и лечу, чтоб полегчало.

Логин молчал, нерешительно поглядывая на Ямина, что-то мучительно пытался сказать. Видя, что Гордей вышел из-за стола, заволновался, раздавил в тонких немужичьих пальцах коробок спичек. А перед уходом гостя, перемогая себя, все-таки спросил:

— Ежели попрошу о чем, не рассердишься, Гордей Максимыч?

— Какой спрос! Говори давай!

— Опять руки свербят? — покачала головой Варвара.

— Разве я виноват, Варя.

— Да ты не робей, Лога, сказывай, что надо,— подбодрил Гордей.

— Рисовать тебя хочет,— пояснила Варвара.— Охота есть, а смелости бог не дал...

— Меня рисовать? — опешил Гордей и дернул себя за курчавую бороду.— Вроде иконы, что ли?

— Ага,— простодушно подтвердил Логин.

— А для чего? Все одно на меня молиться не станут,— пошутил Гордей, но, тотчас посерьезнев, сказал:

— Баловство это! Ты на иконах бога рисуй, а я — грешный человек.

— Почто баловство? Душа требует — спасу нет,— расстроился Логин.

Ямин помолчал и, подумав, согласился:

— Ну, ежели спасу нет, тогда рисуй. Ишо раз бог спасет, хозяева!

На улице теперь вился спокойный теплый снежок. Медленная кроткая ночь неслышно плыла над землей. Вокруг рассыпалась чистая непуганая тишина. Шагая через пруд к своему одиноко стоявшему дому — отчего и прозвали Одиной,— Гордей растроганно думал о Тепляковых. В груди оттаивало. Забылась боль в руке.

На стук калитки из конуры выполз одноглазый Китай, пес приблудный. Он никогда не лаял. Прокопий подобрал его на улице, привязав на цепь от собак. Пес не возражал: когда стар — свободу ценишь меньше.

Бросив волчьи тушки в амбар, Гордей дернул за веревочку от крюка, открыл дверь и неслышно вошел в дом. Раздевшись, лег в скрипучую деревянную кровать. Сокрушительная усталость смежила веки. Кровать качнулась маятником, рванулась вниз и стремительно завертелась. Спустился сон. Тревожный сон в декабре тридцать третьего года.

Глава 5

Хмурясь из-под дремучих бровей, Гордей искоса наблюдал, как дети уплетают казенный хлеб, запивая его молоком. Старший кусал крупно, по-мужицки; младшая, как мышонок, отщипывала кусочками.

Они были похожи друг на друга, только у брата лицо длиннее; у сестры — круглое, в веснушках.

— Тятя, а Проню трактористом посылают,— выпалила Фешка, бурля неистребимой детской радостью.

— Болтушка! — нахмурился брат.— Не спрашивают — не сплясывай!

— В кузнице разонравилось? — строго взглянул на сына Гордей.

— Науменко вызывал вечор... Давай, говорит, учись трактор водить. Весной, должно, получим.

— А я думал, меня в кузнице сменишь...

— Как велишь, так сделаю.

— К чему душа лежит, то и выбирай. Давно примечаю, нос воротишь от молота. Выбрал, стало быть.

— Да что ты, тятя! — покраснел парень.— Седня же откажусь!

— Посылают — иди. Дело стоящее. Я не против. Но чтоб без баловства у меня! Машина дорогая. Ей с умом руководить надо.

— Это тебе не мерином править,— назидательно подняла палец Фешка, но, не выдержав, прыснула смехом.

Гордей улыбнулся:

— А ты, хохотушка, в классы ходила?

— Не-е,— протянула девочка,— пимы у меня дыроватые.

— Починю. Эту зиму придется поносить старые. Зато шубу тебе боярскую сработаем. Я пару волчишек споймал.

— Ну-у! — Фешка округлила глаза и набосо выскочила в ограду.

— Вот шалая! Простынет ишо! — и, будто вернуть сестренку, Прокопий вышел за ней следом.

— Ты где их изловил, тятя? — ведя сестру за толстую соломенную косу, не скоро вернулся он.

— У Волчьего буерака,— наваривая дратву, бросил Гордей.— Вечером освежуем. Шуба добрая выйдет.

— Как ты их, а?

— Так. Ты бы у коровы в стайке почистил. Накопил тут без меня, хозяин!

Починив дочери пимы, Гордей отправился в кузницу. Рядом, стараясь попадать в ногу, шагал сын. Бросив школу, он давно уже помогал в кузнице. Пока Гордей выбирал заготовки, Прокопий смахнул с потолка куржак и, вздув горно, подкачал мехами.

На приветливый огонек горна тянулись выкурить по цигарке мужики... Раньше всех заглянул Панфило Тарасов, ширококостый сутулый старик с цыганистой бородой, прозванный Вороном.

— Бог в помощь! — истово перекрестился он; красная морщинистая щека при этом дернулась.

— Сами справимся! — сухо отозвался Гордей, не оборачиваясь. Сдвинув уголь, вынул раскаленную добела заготовку, казавшуюся в предрассветном сумраке маленьким метеором, кивнул сыну. Прокопий с радостной готовностью хватил кувалдой по зубилу и, следуя за поворачивающимся в клещах куском металла, стал нещадно его дубасить. Кузнец, где надо, поправлял сына, подстукивал молотком в лад. Вытянув заготовку в обод для тележного колеса, бросил ее в горно: оставалось сварить концы.

Панфило прикрыл за собой поплотнее дверь и, заглядывая в лицо кузнеца снизу, заговорщически шепнул:

— Получил я, слышь, весточку от зятя. Поклон тебе шлет.

— Ишь ведь какой памятливый! — усмехнулся Гордей и окликнул сына: — Заснул, что ли, Прокопий?

— Ишо пишет, скоро в гости наведается,— придерживая парня за руку, торопливо пришептывал старик, шоркаясь о наковальню.

— Твой зять,— твои заботы. Мое дело сторона.

— Это как, слышь, понять?

— А вот так,— сердито пристукнул молотком Гордей.— Ты меня в это дело не впутывай! Однеж у меня скирда сгорела, дак Петьша твой пуда хлеба взаймы не дал, а тут дружка вспомнил. Я вечор изловил двух таких дружков...

— Ты что, Гордей! — не поняв его, попятился старик.— Души в тебе нету, что ли?

— Погоди, Прокопий! Ты вот что, старый ворон, остерегайся душу мою трогать. Изъязвлена она у меня! И так по вашей милости подкулачником ославлен, хоть за всю жизнь свою трех штанов не износил.

Что-то бормоча под нос, старик не по годам шибко сиганул через порог.

Будто сговорившись, один за другим входили мужики. Первым — председатель сельского Совета Варлам Сазонов. Из-за его спины выглядывала востроносая физиономия Мити Прошихина, хмурое, в сизых прорезях лба лицо Пермина, плутовато щурил выцветшие глаза Коркин.

— Здорово, кузнецы! Как куется? — перекрывая певучий гул, зычно заговорил Сазонов.

— Что ни удар, то шишка,— проворчал Гордей.

— А вы не торопитесь. Торопитесь, вот и шишки,— приспустил веки Варлам.

— Торопиться ему некуда! — выдвинул сухое плечо Пермин.— Дружки торопились —теперь вон где! А этот ловок,— уцелел!

— Ботало ты коровье, Сидор! Прилип репьем — и колешь, и колешь. Сам-то хоть знаешь, за что? — с терпеливым недоумением спросил Ямин.

— Спроси иглу, зачем тычет,— разве она ответит? — хохотнул Евтропий.— Колет — стало быть, шьет.

— Шить-то шьет, да что выйдет,— чуть приподнял веки Сазонов.

— Что-нибудь необходимо выйдет... Может, как у той девки: шила милому кисет, вышла рукавица,— ввернул Прошихин, намусоливая цигарку.

— Что ни сошью, мне носить,— вспыхнул Пермин.— Ты бы, Митьша, не встревал в этот разговор, не твоего ума...

— Не подтыкивай меня, Пермин! — Митя в сердцах смял цигарку, рассыпав табак.— Я не хуже тебя активист. В этом деле заслуги имею.

— А с тобой, Ямин, у нас разговор особый! — отодвигая его, хрипло сказал Пермин.

— Хоть бы людей постеснялся,— привстал Евтропий. В глазах завечерело.— Совсем уж осатанел!

— Такому дай власть — враз к стенке поставит! — Митя озадаченно сдвинул на затылок шапчонку: не перегнул ли?

— Всему свое время! — пообещал Пермин и выскочил на улицу, оставив на закопченной стене колеблющуюся тень пламени.

Мгновение все молчали, рассаживаясь по углам.

— Похоронили кого? — под навес, стуча посошком, проковылял Семен Саввич Сундарев.

— Вроде того,— мотнул головой Прошихин. Шапчонка сдвинулась на лоб.— Где Пермин, там завсегда разлад...

Прокопий дернул за рычаг, соединенный с мехами цепкой. Вспорхнули искры.

— Дурное слово кобыле под хвост! — пристукнул костылем дед Семен, устраиваясь на скамеечку, которую, кроме него, никто не занимал.

— Ладно бы — одно слово,— прикуривая от уголька, задумчиво сказал Коркин.— От слова вред невелик...

— Это как сказать! — возразил Митя.— Слово, оно, конечно, не топор, однако рубануть может за милу душу...

— Наши-то слова дале кузницы не идут,— Евтропий с наслаждением затянулся и выпустил беловатый дым.

— А мне иначе нельзя: из активистов выпрут! — Митя вскинул голову, шапка налезла на самую шишку над бровью.

— Ку-ку! Ку-ку! — прокуковал дед Семен.— Таку птаху знаешь? Не родня тебе?

Митя расхохотался.

— Та хоть в чужие гнезда не гадит.

Опять заговорила кувалда, вминаясь в железо. Оно ползло по наковальне, изворачивалось, норовя вырваться из щипцов, натужно жаловалось, стонало...

— Четыре раза грабили! — с хрипом опустил голову Ямин.— Напоследок — под метелку. Ребятишки с голоду пухли... За что?

Сказал вроде бы не к месту, а никто этого не заметил.

— У всех брали... Время такое было,— будто тревожась о чем, беспокойно шевельнулся Сазонов.

Прокопий с силой давнул на рычаг, из горна вылетела тысяча золотых мух. На дальней закоптелой стене стало отчетливо видно деревянные тычки, на которых сохли смоленые тележные колеса, полки со старыми косилочными серпами, коробки с метизами на них.

— Шины тянете? — полюбопытствовал Сазонов.

— Кончил уж... Хочу вот золовцу топор изладить.

— Ловко у тебя выходит! — похвалил Митя вполголоса.

По-прежнему то тягуче, то обрывисто выводил металл.

— У них все еще из-за Натальи или другое что? — тихо спросил у Мити Сазонов.

— Из-за ее, язви ее в рот! Бабы эти — отрава одна! — сплюнул Митя, отвечая на вопрос.— Я вот теперь холостой, дак куда с добром.

— Шел бы ты, Митрий, в конюховку! — посоветовал Евтропий.— Там тебя небось картежники заждались...

— И то пойду. Я, брат, везде необходимо поспевать должон: народ веселю... Где я, туда все сбегаются. Сейчас вот прикидываю: не податься ли в артисты?

— Из-за шапки забракуют,— оглядев его, сказал Евтропий.— Артисты еких шапок не носят.

Ямин бросил топор в колоду. Вода по-гусиному зашипела, плюнув густым паром.

— Дедушкова память.— Митя поправил шапку и отправился в конюховку.— Ум в ей большой заложен,— уже из-за дверей разъяснил он секрет привязанности к своей шапке.

— Понял, золовец? А ты зиму и лето без шапки. Потому и без хлеба.

Ямин вынул из колоды топор, влажный, но уже остывший, и протянул Евтропию.— Наточишь сам...

— Это сумею. Неподатливо железо, а все ж так мнется, как токо человеку надобно.

— Вот и вертится карусель,— хохотнул дед Семен.— Люди по железу колотят, оно — по им...

Всхлипывали со скрипом мехи, метался неровный огонек в куче подсыпанного угля. Медленно грелась короткая болванка.

— Положи ровней! — приказывал Гордей сыну.— Не видишь, с одного боку греется!

— Скоро не токо топоры, скоро людей ковать будут! — усмехнулся дед Семен.— Стук-стукоток — и человек выпрыгнул.

— Это смотря кто ковать возьмется,— отозвался Евтропий.— Мастер так ладно. А другому доверь — уродцев накует...

Сазонов рассмеялся, показав полный рот белых зубов.

— Мудреный вы человек, Евтропий Маркович! Ох, мудреный!

— Кабы меня в кузнице ковали... А то ведь баба родила.

— Я вот думаю,— сказал дед Семен,— все мы люди по образцу и подобию божию, и все разные... Чудно! Двух человек, мало-мальски схожих, по всей матушке-России не сыскать. От разности своей и пыжимся...

— Потому и в колхоз не идешь? — ухмыльнулся Евтропий.— Иди. Колхозы — божье дело. Ишо до Советской власти Вавилонскую башню колхозом строили, да бог испужался, что его председателем назначат. Колхоз развалил, разные языки людям дал... Крепко струхнул старичок! Где уж, говорит, мне, ежели помоложе меня и те боятся. С того вот и началось...

— Воронка перековать надо, Гордей Максимыч! — в дверях, заслонив собой бледное малокровное утро, стояла Афанасея Гилева.

— Веди, Прокопий подкует.

— В станке стоит.

— Сама-то все ишо не кована ходишь, Афанаска? — выходя из кузницы, спросил Евтропий.

Женщина не ответила. Прокопий, приподняв ногу фатеевского жеребца, провел по копыту рашпилем. Иссиня-черный конь дрогнул крупом, провиснув на ремнях.

— Мясо не задень,— любовно оглаживая мерцающую шерсть, предупредила Афанасея.

— Советовать на конном дворе будешь,— огрызнулся Прокопий и сильней нажал на рашпиль. По длинному телу вороного волной прошла нервная дрожь.

— Иди-ко ты отсюда, мастер! — сердито оттолкнула его Афанасея.— Сила-то не здесь нужна...

— А где? — спросил Евтропий.

— Спроси у Агнеи,— обтачивая копыто, посоветовала Афанасея, а когда Евтропий отошел, упрекнула Прокопия.— Истовый ты, парень!

— Докуль терпеть будешь, тятя? — не слушая ее, спросил Прокопий.

— Кого терпеть? — не понял Гордей.

— Да хоть того же Сидора и всяких разных...

— Яйцо курицу учить?!.

— Думаешь, у меня глаз нет?..

Гордей, не ответив, начал накладывать подковы.

Глава 6

Правление колхоза занимало второй этаж просторного фатеевского дома. Колхозники сюда поднимались редко, по-видимому, стесняясь хором, разрисованных деревенским живописцем Логином Тепляковым. Нарядный цветастый потолок напоминал узор церковного купола, только место Саваофа посередине занимала хозяйка дома, а с круглой голландской печки похотливо скалился черт, отдаленно напоминавший хозяина.

Знaя до мельчайших подробностей грешную жизнь Наталии Фатеевой, люди, заходя сюда, насмешливо кривились. И лишь Ворон частенько забывался и впадал в конфуз, размашисто крестясь на собственную дочь. Изо-

бражение ее и в самом деле было неожиданно: она и вроде бы не она. Эта Наталья отличалась от прототипа недеревенской одухотворенностью, тревожа мужиков не плотью своей, а неземным торжественным просветлением. Овал лица был тоньше, червонное золото волос, доставшихся от матери,— повоздушнее. А в черных глазах отцовских — вместо дерзости — благостная задумчивость. «Нездешняя!» — сказал про нее Евтропий, разглядывая Логиновы старания, и приглушил матерок, готовый сорваться с губ. Зато, спустившись вниз, в конюховку, свернул цигарку в самоварное колено и крыл до последней затяжки, отводя душу. Этой нездешности сторонились и другие, остерегаясь наверху «выражаться».

Конюховка, собственно, и была колхозным штабом. За грубым, рубленым столом, до блеска отшлифованным рукавами зипунов и шуб, толпились колхозники, спеша до наряда перекинуться в дурачка или раскинуть лото. Митя, главенствующий здесь, лихо заломив засаленную шапчонку ухом вперед, остервенело хлопал измочаленными картами собственного производства, проклеенными для веса картошкой.

Иные грудились вокруг Евтропия, который с усмешечкой рассказывал где-то слышанную или по случаю сочиненную байку.

— ...Приехал в та пор к Вавиле Семка Святогоров, дикой силишши мужичина. Вавила поле свое пахал, ладил пашеницу сеять. Чует Вавила — земля из-под ног уходит. А это, братцы мои, Святогоров ту землю за колечко дернул и всю начисто повыдернул из-под мужика. «Хватит,— говорит,— мантулить, Вавила!.. Иди, паря, куда велю! А велю я тебе петь да скоморошить. Пашеница твоя сама родится».

Пала Вавилина лошадь, заросла Вавилина пашня. Дети по свету разбрелись. А он все песнями тешится. Токо песни те больше про пашню, которую не засеял, да про пшеницу, которую не вырастил...— невесело закончил Евтропий.

— Вавила-то у тебя из какой деревни? — держась за бока, захохотал Федяня Дугин.— Встречал я его где-то...

— На то и сказка, чтоб похожесть была.

— Вот кого рисовать-то надо, Лога,— кашлянул дед Семен.— А ты Наташку в пречистые девы возвел.

— Таких токо и возводят.

— Катерина-царица всю Россию на перике профукала с кобелями, а от рисовальщиков у ей отбоя не было,— усмехнулся Евтропий.

Логин скромненько приткнулся в углу на перевернутой бадейке. Оказавшись в центре внимания, стал рассеянно пересыпать из кулака в кулак подсолнечные семечки. В густом прокуренном воздухе плыл неясный мерный гул. Подслеповато мигал фонарь, треща истлевшей тесьмой. Под хомутами возилась неуемная ребятня. Логин отодвинулся подальше, куда не доставал свет фонаря.

— А ты не хоронись,— не отступал старик.— Всяку стервь рисуешь, а жисть нашу кто рисовать будет?

— Нарисуют ишо,— не признаете,— буркнул Логин и, поднявшись, вышел, сжавшись, как промерзший воробушек.

Гул сразу стал гуще, напористей, точно его сдерживало присутствие Логина.

— Ушел, нечиста сила! — перевел дух Панфило и, дернув шеей, осенил лоб по-двоедански. Он побаивался больших внимательных глаз Логина.

— Неуж за колдуна примаешь? Сам-от больше на колдуна смахиваешь,— подбоченясь, сказал Федяня, всем своим видом показывая, что уж ему-то никакие колдуны не страшны.

Панфило, еще раз перекрестившись, что-то прошептал в смолистую бороду и выскочил из конюховки.

— Ай да Федяня! — мотнул Прошихин выставленным вперед ухом шапки.— Прямо под микитки поддел. Долго проздыхиваться будет!

— Жив ли нет ли теперь Фатеев? — задумался калмыковатый Илья Бурлаков.

— Черта ль ему доспеется? — спускаясь из правления, кинул медвежковатый кривоногий Мартын Панкратов.— Таких палкой не убьешь...

— Хворым ведь увезли,— сдвинув шапку, почесал затылок Митя.

Он правду молвил. Фатеева увезли из этого дома недужным. Когда начали кроить колхоз, его хозяйство к той поре поотощало. Чуя опасные перемены, он давно обратил добро в деньги, деньги — в золото. Но в стойлах по-прежнему били копытами три жеребца, которых Фатеев самолично выкормил чуть что не с ложечки. Купил жеребятами, уплатив деньги немалые. Зато потом на этих

великолепных зверей вся деревня любовалась. Перед выездом сам гривы расчесывал, до блеска натирал блестки на шлеях, а когда выезжал за ворота — сотни любопытных глаз глядели с восторгом и завистью. Закусив стальные удила, выгнув точеные лебединые шеи, кони рвали ременные вожжи, флагами вились по ветру гривы. Дюжина копыт едва касалась земли. И вот эти черные молнии достались колхозу. Двух из них пережгли и надсадили в тот же год. Не от этого ли предчувствия занемог тогда Фатеев?

Накануне раскулачивания вылетел он за околицу на разлюбезных сердцу вороных, не заметив, что из-под горы навстречу человек движется. Сбил — не оглянулся. Когда возвращался — человек все еще лежал на дороге. Хотел проехать мимо — духу не хватило. Оказалась Афанасея Гилева. Отвез ее и до полуночи примачивал синяки и ссадины. Не помоги женщине в ту пору — кончилась бы: одна-одинешенька жила. Пришла в себя — не упрекнула. Только спросила:

— Вышлют тебя?

— Тебе не легче,— хмуро отозвался Фатеев, сутуля широкий клин спины, острием сходящий к поясу.

— Помнить буду,— вздохнула Афанасея.— Все забудут, одна я не забуду. Жизнь долгая... Мало ли что...

— Дура,— тускло сказал Фатеев.

Укрыв ее цветным тряпичным одеялом, вышел и, тронув рысаков, тихим шагом проехал по деревне.

Дома, капая жиром на бороду, хлебал наваристые щи Панфило.

— Чего надо? — неприветливо взглянул на него зять. Все простить не мог, как Ворон богатством своим кичился, больше года Наталью не отдавал. Правда, после пожара он стал сговорчивее. Были слухи, что «красного петуха» будущему тестю подпустил Фатеев же.

— Говорят, слышь, скоро раскулачивать начнут,— вытирая кусочком хлеба дно чашки, упредил Панфило.

— Далее что?

— Прибрал бы что можно пока.

— Пропади оно пропадом! — отмахнулась Наталья.— Все одно сгниет. А с собой много не возьмешь. Да и не дадут активистики.

— Помалкивай, дочь! Что не надо, продать можно. Деньги не гниют.

— Бери, продавай. Мне не до продажи. Пусто здесь. Пусто! — хватаясь за грудь, вскрикнул Фатеев.

— Живы будем — обрастем! — спокойно сказала Наталья.— Из золота пока ишо нужники не ладят.

— Ты про добро-то всурьез аль шутейно? — осторожно копнул Ворон. Он бы даже для дочери родной не расщедрился, не то что для зятя.

— Отшутился Петруха Фатеев! Сурьезное время настало!

— Тогда я, слушай, возьму маленько?

— Отвяжись! — уронив голову на руки, бессильно лежавшие на столе, Фатеев забылся.

Открыв замок кованого сундука, Ворон стал жадно метать оттуда добротные суконные отрезы, нарядные рубахи, борчатки, белье...

Нагрузив узел, взвалил на себя, сгинул в темноте.

Вернулся не скоро, весь в мыле, дыша тяжело, как загнанная лошадь.

— Ты, слышь, коней-то обезножь... Все одно куманистам достанутся! — косясь на другой сундук, посоветовал.

— Молчи, старая мозоль! Я скорее тебя обезножу! — выкрикнув это, Фатеев странно скособочил рот и брякнулся о пол. На губах выступила красноватая пена. Лежал спокойно, нехорошо подогнув под себя ноги.

— Иди-ка ты домой, тятя! — бесцеремонно оторвав старика от тряпья, которое тот лапал словно любушку, сурово приказала Наталья.— И без тебя тошно.

— Я бы ишо чуток взял? — просительно пробормотал старик: сундук завораживал. Но дочь так зыркнула на него, что он убрался без лишних слов.

Петруха очнулся к утру, чтобы увидеть позор свой. Из пригона, держась за недоуздки, вахлак вахлаком выводил коней Сидор Пермин. В избе хозяйничали Илья Бурдаков, Фекла и Митя Прошихины. Евтропий, угрюмо нахохлившись, сидел у порога. Услышав их голоса, увидав уросивших коней, Фатеев вскрикнул и упал как подкошенный.

— Кулак, а на расправу хлипок! — скривил губы Пермин, на которого все это не произвело ни малейшего впечатления.

— И до тебя доведись, так взвоешь,— надевая на коренника хомут с чеканной шлеей, сочувственно произ-

нос Евтропий.— Вон ведь какие звери! Все жилочки насквозь видно!

— Поездил — и будет. Теперь наш черед, а он пущай пеши походит,— стрельнула скороговоркой Фекла.

Надменная красавица Наталья сидела прямо, слезинки не проронив. С молчаливым презрением следила за тем, как новые хозяева перетряхивали старинные сундуки, открывавшиеся с удивительным звоном.

— Ну-к, свет мой, Наталья Панфиловна, подыми локоточки! — ласково попросила Фекла.— Скатерку-то я возьму. Вы ишо наживете. Припрятали, поди, на черный день?

— А ты как думала? — усмехнулась Наталья.— Тебе оставить — все одно с кобелями прошикуешь. И добром не помянешь.

— Не помяну, правда твоя. А многонько ли утаили от трудового народа?

— Сколько ни утаили — все наше. Не для таких сук наживала.

— Это чо же еко, Пермин? — оскорбилась Фекла, посинев бледным маленьким лицом.— Неуж дозволим кулачке власть нашу Советскую поносить? Привлечь ее по всей строгости...

— Пущай отведет душу! — равнодушно отмахнулся Пермин.— Ей токо это и осталось.— И немного погодя скомандовал: — Ну, выметайтесь отсюдова! Тряпки, какие нужны, с собой можете взять.

— Да уж ладно. Донашивайте. А мы как-нибудь заробим! — ответила Наталья и многозначительно добавила.— Носите, да помните: жгется наша одежка! Помоги, Евтропий Маркович, Петра вынести. Аль брезгуешь кулаком?

Уложив мужа в сани, пошла следом, спесивая, высокомерная, какой ее и знали в Заярье. Эту спесь поддерживало еще и золотишко, зарытое под елью, недалеко от огорода. Его-то не отнимут. Тайга-матушка сбережет до поры. А там вдруг послабление выйдет...

...Немало воды утекло, а Фатеев нет-нет и вспомнится. Как не вспомнить: хоромы-то его. Сразу от этого не отвыкнешь. Может, и не только потому неловко наверху, что рисунки там разные.

Сверху спустились в конюховку Сазонов и председатель колхоза Григорий Науменко.

— Афанасея! — крикнул Науменко.— Запряги Воронка! Мы — в район.

— Проспись сперва! — проворчала женщина.— Света белого не видишь...

— Помолчи! Ишь, волю взяла!

— Коня запаришь! Твой бы, дак не пожалела.

— Да вы не волнуйтесь! — успокоил Сазонов.— Мы не спеша поедем.

Они вышли на улицу. У тополя, перед окнами, нетерпеливо бил копытами Воронко. Афанасея неохотно впрягла его и передала вожжи Сазонову.

— У-уу, язва! — воркнул Науменко. Воронко с места взял крупной рысью.

— Давайте на ферму заедем,— сворачивая в переулок, сказал Сазонов.

Ферма стояла на берегу пруда. Ее хватило бы на пяток колхозов. Начали строить еще при Камчуке. Но ребра построек все еще торчали голыми, вызывающе бросаясь в глаза. Пруд зарос, потому что нужды в нем не было: рядом шелестело камышами озеро Пустынное. Но Камчук рассудил иначе. И пруд все-таки вырыли, перегнав в него часть воды из озера.

— Эх, если бы все сначала начать! — оглядывая скелет полузаброшенного скотного двора, с сожалением сказал Сазонов.

— Уж такой мы народ! — усмехнулся Науменко.— Сперва сотворим, а потом охаем. Задним умом живем...

— А вы передним живите...

— Пробовал — не выходит. Чуть что — Камчук шикает: помалкивай. Тут хоть кто горькую запьет...

— Тоже выход,— иронически кивнул Варлам.— Другого искать не пытались?

— Другого нет. Исполняю то, что велят сверху.

— Идемте! — сердито потребовал Варлам и двинулся к покосившимся столбам, на которые так и не навесили ворота.

— И ты недалеко ушел от него,— шагая следом, бормотал Науменко.— Пока молчишь, потом, знаю я вас, тоже указывать начнешь...

Сазонов, не отвечая, стремительно обходил неприбранную, голую ферму.

— Нагляделся? — сочувственно усмехнулся Науменко.

— Плакать надо, а вы зубы моете.

— Москва и та слезам не верит.

В дальнем углу пригона, за кучей навоза, который складывал в пестерь Митя Прошихин, лежала дохлая корова, скаля тусклые съеденные зубы.

— Это что за памятник? — указал на нее Сазонов.

— Это? — вытягиваясь перед начальством, отвечал Митя.— Это корова, которая необходимо сдохла и вам долго жить наказала.

— Почему она здесь?

— Потому как дохлые коровы сами не ходят.

Из коровника, вытирая влажные красные руки, выглянула Катя Сундарева.

— То ли еще будет! — сердито заговорила она.— Кормов-то до полузимы не хватит...

— Тебе делать нечего? — накинулся на нее Митя.— Не встревай! Вишь, я начальству докладаю... со всем уполномочием...

— Хоть бы вывезли,— упрекнул Сазонов.

— Пущай председатель вывозит,— ответила Катя, указав на Науменко.— Он наруководил...

— Пошли, Григорий Иванович! — коротко кивнул Сазонов и шагнул прямо в навозную жижу, в которой лежала корова.— Наша вина, нам и отвечать...

Науменко с сожалением посмотрел на свои нарядные сапоги и резко пошел к кошевке. За всю дорогу, до самой Бузинки, он не проронил ни слова.

Воронко привычно повернул к изгрызанному телеграфному столбу, стоявшему напротив желто-кирпичного дома. С крыльца райкома сбежал упругий, как пружина, с тугой шеей, выпирающей из ворота гимнастерки, Камчук.

— Привет, земляки! — заговорил он возбужденно.— Уж и рад же я вам! Все никак не отвыкну от Заярья!

— И оно от тебя...— сквозь зубы процедил Науменко.— Долгая память осталась...

— Охота побывать у вас, да не освоился еще. Ну, рассказывайте, что хорошего!

— Без тебя не до хорошего! — угрюмо долбил Науменко, поглубже надвигая на лоб кубанку.

— У такого орла разве может быть что-нибудь плохое? — с легкой насмешкой развел руками Камчук.

Они были ровесники. Но коренастый подтянутый Камчук выглядел много моложе. Смешная мальчишеская челка, спускаясь на лоб, перерезанный шрамом, молодила

его. Оба служили в кавалерии. Оба в полной мере понюхали пороха. Но Григорий волею обстоятельств всегда оставался в тени. А слава Камчука опережала его. Живой легендой назвал его на губернском съезде комсомола секретарь губкома. Высоко взлетел Костя Камчук в глазах окружающих. Молодцеватый и жизнерадостный, он не чурался никаких дел. В коллективизацию сам напросился в деревню и стал первым председателем колхоза «Серп и молот». Теперь вот доверили район.

— Заходите,— пригласил Камчук.— Потолковать надо.

— Давно пора,— кивнул Сазонов.

Он с самого первого дня знакомства вызывал у Камчука неясную неприязнь, хотя причин для этого, казалось, не было. Родившись в Заярье, Сазонов с юношеских лет жил вдали от него. И лишь в начале этого года вернулся домой. В отличие от несдержанного на язык Науменко он ни разу не высказал Камчуку своего недоверия. И нередко даже похваливал его. Но со временем похвалы стали осторожней, зоркий взгляд жестче и внимательней. При всяком новом начинании Камчука Варлам отмалчивался, но с выводами не спешил, желая обстоятельно во всем разобраться. И это ему удалось довольно скоро. Последние месяцы, во все вникая, он основательно готовился к большому разговору. Чувствуя это, Камчук пытался создать о нем мнение. До стычек пока не доходило. Но сегодня — оба поняли — стычка была неизбежна. Каждый в душе волновался, стараясь скрыть признаки волнения от другого.

— Науменко отпустим? — без предисловий спросил Камчук, опробуя кресло, словно проверял — выдержит ли.

— Как хотите.

— Зайди попозже, Григорий,— прочно усаживаясь, сказал Камчук.— А потом проинформируешь, как и что. Спрашивать буду с пристрастием, так что готовься.

— Спрашивать-то не с меня надо.

— А ты председатель или так — сбоку припека?

— Затычка в дырке.

— Оно и видно.

Науменко вышел и, убивая время, часа два просидел в чайной. Здесь его и отыскал Сазонов, переговорив с Камчуком. О чем говорили, он не передал, но всю обратную дорогу что-то гневно шептал и со свистом сплевывал.

Глава 7

Гонясь за процентом обобществления, Камчук изводил колхозников собраниями. В свою очередь и его частенько вызывали то в район, то в область, где собрания и совещания были рангом повыше.

Он не упускал возможности показать товар лицом, ловко прикрывая прорехи.

В этот переломный момент Науменко и оказался в Заярье.

— Уедем! — звала его Мария, предупреждая: — Дождешься беды!

— Не каркай! — вяло отмахивался он.

— Ослеп ты, что ли? Камчук тобой все свои прорехи прикрыл!

— Нельзя мне уезжать... Партбилет отнимут!

— Ну, гляди, потом на себя пеняй!

Науменко отмалчивался.

Камчук, который теперь отвечал за весь район, нередко вызывал его к себе и накачивал, не давая спуску. И в общем-то он по-другому поступить не мог, хотя чувствовал, что, ругая Науменко, ругает прежде всего себя. Но за большими заботами это чувство, сдерживающее его во многом, что касалось Заярья, постепенно притупилось. Разговоры стали резче, требования жестче, категоричней. А колхоз по-прежнему хирел...

С некоторых пор Науменко, и без того хмурый и замкнутый, замкнулся еще больше. Теперь и не удивлялись, встречая его пьяным. Однажды, как многим показалось, видевшим это, не из-за чего набросился на Михея Дугина, раскровянив ему еще в малолетстве переломанный нос.

— Напрасно ты, Алеха,— вытирая кровь, бормотал Дугин.— Я единой душе не промолвился...

С тех пор, встречаясь с ним, Науменко опасливо озирался по сторонам. А Михей, заговорщически подмигивая ему, шептал: «Молчок!» Мария молчала, выжидая, что будет дальше.

А дальше шло хуже. Науменко запил всерьез. Приходил домой расслабленный, измятый, с красными, воспаленными глазами. Не раздеваясь, падал в постель, бился во сне, словно гонялся за кем или, наоборот, убегал от кого-то.

Лежать с ним рядом было неприятно. Но она лежала и в редкие минуты отдавалась ему, превозмогая в себе брезгливость.

Обычно щеголеватый, в отглаженной гимнастерке, в до блеска начищенных сапогах, он подолгу сидел перед зеркалом, тщательно выскабливая бритвой густую коричневую щетину. Теперь брился кое-как и, заросший, выглядел намного старше своих лет.

— Ты бы хоть облик человеческий принял! — замечала Мария.— Совсем одичал уж...

— Для кого? — тускло взглядывал на нее Науменко. Глядел с похмелья нехотя, издалека.— Чужих баб не завлеку. А для тебя и такой хорош...

— Не просчитайся,— чуть слышно отвечала Мария.

— Опохмелиться бы...

Она нехотя доставала из подполья брагу, которую теперь постоянно настаивала для него.

— Завтракать будешь?

— Аппетита нет.

— Поел бы... Который день по-людски не ешь?

— Жизнь собачья... И сам собакой стал...

Налив браги, понюхал, содрогнулся.

— Додумался же паразит какой-то! Создал ее на мою погибель... На куски изрубил бы его за это!

— Он-то при чем? Не хочешь — не пей.

— И рад бы... Душа требует.— Отпив из стакана, провел шершавым, в белом налете языком по пересохшим губам, оживился.— В меру-то хорошо, конечно, для веселья. Да русский человек ни в чем удержу не знает.

— Дрова кончились. Привез бы,— напомнила Мария.

— Привезу,— опять наливая, кивнул Науменко. Выпив, задумался.— Как славно когда-то было! Ни о дровах, ни о хлебе не заботились... Есть — ладно, нет — так жили. Стареем, что ли?

— Мне в школу пора,— сухо сказала Мария.

— Иди.

В первые дни пьянства голова гудела, раскалывалась. Было такое ощущение, словно кто-то изнутри сращивает эти осколки заклепками. Гнулась, не выдерживая, шея, будто не сосуд с мозгом, а огромный кипящий котел с дьявольским варевом несла на себе. Если не принять с утра, значит, маяться весь день. Опохмелившись, Науменко оживал. Гуд и звон сменялись тяжестью. Опавшие

щеки окрашивало тихим румянцем. После этого обычно и шел в контору.

Собираясь, походя заглянул в зеркало: «Харя-то! Как только люди от меня не шарахаются!»

Направив бритву, с треском соскреб жесткую щетину, из-под которой явственно проступали складки в углах рта.

«На фронте, бывало, шашкой брился... Теперь вот и бритва есть, а зарастаю...» — продолжая разглядывать себя, думал Науменко. Именная шашка — подарок Блюхера — висела против зеркала. Давно из ножен не вынимал. Поизносились они, потемнели от дыма кострового, от ветров, от времени. И шашка затупилась. После войны вроде бы и не употреблял, а откуда-то взялись зазубрины на острие. Темляк все тот же. Он, казалось, все еще хранил прикосновение рук Марииных. Тогда, у школы, вцепилась в темляк, а оказалось — в сердце. Больно сердцу, да не до него теперь.

Со щелком сунув шашку в ножны, швырнул ее на кровать и, наскоро собравшись, пошел в правление.

Наказав Пермину как и куда распределять людей, запряг парой дровни и поехал за сырником.

К зиме во всяком дворе выше человеческого роста поленницы сотами желтеют. Лишь у Науменко да у деда Семена пусто. Мария имела право пользоваться школьными дровами, но пока обходилась.

Первая береза поддалась быстро. Упала с хрустом, с гулким стоном. Роняя вторую, Науменко сбросил полушубок. Взмокший чуб застыл, покрылся инеем. Гимнастерка на лопатках потемнела от пота, парилась.

«Совсем раскис! — доставая кисет, усмехнулся Науменко. Над ним мерно затукал дятел.— Вот это дровосек!»

Тук-тук-тук-тук-тук-тук — неслось сверху.

— Перекури! — крикнул Науменко. Птица недоуменно уставилась на него.— Не узнала? Я Науменко, здешний председатель...

Дятел вспорхнул и, перелетев на другую березу, вновь принялся за работу.

— Устыдил! — рассмеялся Науменко, берясь за топор.

К полудню он возвращался в село, шагая позади тяжело груженного воза.

— Доб сырничок! — встретив его у своих ворот, похвалил дед Семен.— Мне бы вот край съездить надо, да завязнуть боюсь...

— Открывай ворота! — велел Науменко, вдруг позабыв, что дома тоже нет дров.

— За каким лешим?

— В гости заверну.

— В гости можно. Токо угощать нечем.

Заехав во двор, развязал веревку и, столкнув с дровней березы, уложил их у предамбарья.

— Ты в своем уме, Григорий? — заволновался Семен Саввич.— Чем расплачиваться буду?

— Как-нибудь сочтемся,— отдыхиваясь, сказал Науменко. Помедлив, усмешливо спросил: — В колхоз не надумал?

— Агитировать пришел? Сырничком покупаешь?

— Была такая задумка.

— Грузи обратно! — разозлился старик.— Ишь ведь как подкатил! Шустер, окаянный!

Дед Семен одним из первых вступил в колхоз, приведя свою единственную лошаденку. То ли от старости, то ли от недогляда, кобылка окочурилась, и Афанасея свезла ее на конское кладбище, в тот же день огорошив старика этой вестью.

— Выписывай из колхоза! — взбеленился дед Семен.— Ноги моей больше тут не будет!

— Да у тебя ее и так не было,— намекнул Пермин на деревяшку, подвязанную к левому колену старика.

— Выписывай, аспид!

До этого, несмотря на свои сто лет, он еще сторожил на скотном дворе и дежурил на каланче, помогая Евтропию. Теперь, кровно обиженный колхозом, больше на дежурство не выходил. Его заменил Митя Прошихин.

Науменко не раз зазывал старика в колхоз, незлобиво посмеиваясь над его неостывающим гневом. Впрочем, Кате, внучке своей, Семен Саввич не воспрещал работать на ферме и втайне гордился, когда Пермин в праздничном докладе назвал ее ударницей, оговорившись: «Она хоть и внучка единоличника, а иным-прочим стоило бы поучиться у Катюхи!»

Дед сидел в переднем ряду и, пряча довольную улыбку, бухтел Дугину:

— Ситька-то, сукин сын! Катюньку до небес превозносит. А кобылу мою все одно уморил!..

— Да твоей кобыле давно срок вышел! — усмехнулся Дугин.

— Это тебе вышел, чичимора гундявая! Не колхоз бы, она ишо лет десять бегала у меня.

— Могло быть, могло быть,— уступчиво согласился Дугин, посмеиваясь в бороду.— А ты не держи обиды! Теперь, поди, Егорий-храбрый приспособил ее для себя. Удостоилась соловая! Так что смири гордынюшку-то!

— Значит, не хочешь? — с усмешкой вспоминая все это, спросил Науменко.— Ну, тогда хоть чаем угости.

— Это всегда пожалуйста. Чай у меня особый, с чагой да с шалфеем: ото всякой дури лечит. От пьянства тоже.

Науменко нахмурился и, спятив лошадей, молча стал выезжать.

— Ты куда? — всполошился старик, любивший принимать гостей.— Ай обиделся? А я ведь от проста души, Григорий!

— Любишь ты без мыла в душу лезть!

— Эх, председатель! — упрекнул старик, привязывая коней к заплоту.— Со стариком-то можно бы и поочестливей. Я тебя раза в три постаре. Заходи давай!

Науменко, впервые оказавшись в доме Семена Саввича, с любопытством оглядывал его жилище. Избенка неказиста, но опрятна: и выбелена и выкрашена. Божница в цветах. Рядом с ней фотография. На подоконниках, меж раздвинутых задергушек, столетник и герани. Кровать устлана ручной вышивки покрывалом. На перовых подушках яркие цветастые наволочки. Стол под гарусной скатертью. Пол в тряпичных, собственного производства половиках. Нехитрый деревенский уют. А снаружи — развалюха.

— Глянется? — ласково усмехнулся старик, довольный тем, что сумел затащить в гости председателя.— Хоромы — ни в сказке сказать, ни пером описать...

— Хоромы — в самый раз,— дивясь опрятности, выделявшей Катю даже среди чистоплотных кержаков.

— У меня на загнетке завсегда чугунок с кипятком,— гремя заслонкой, говорил старик.— Да вот беда — из чугунка чай за чай не считаю. Избаловался... Мне подавай из его благородия самовара. В самоварной воде дух ядреней. Раз пивнешь — неделю отпыхиваться будешь.

Семен Саввич снял с полки до сверка начищенный самовар, насыпал из загнетки углей. Вскоре самовар тоненько затянул свою заученную песню.

— Во машина! — удовлетворенно прислушался старик, поднял палец вверх.— Поет не хуже дьякона!

— Не слыхал, не знаю! — все еще не отойдя, хмурился Науменко.

— Советую. Шибко завлекательно! Я хоть и беспоповец, а ежели случай подвалит — непреклонно заворачиваю в церкву. Единоверцы-то мои не знают о том, а то бы к молитве не допустили... Ты уж не сказывай им! — Дед с хитрецой прищурился, вытер стаканы, нарезал хлеб.— Я так усчитываю: богу все едино, где ему молятся. Сам я никакой строгости не переношу. Строгость — она токо отпугивает. Курить не смей, с мирскими из одной посуды есть не моги. Вьюношем несмышленым, под отцом ишо, блюл я эти заветы, потом отринул. Тятенька-то мой к самосожжению себя присудил. В солдаты не хотел идти. Заодно и нас с маменькой подпалил. Они сгорели, а меня добры люди отстояли от огня. С тех пор я и не даю себе укороту. Хоть и баловства особо не допущаю. В Крымскую табачок покуривать начал. По-тамошнему тютюн зовется. Ну, тютюн,— он и есть тютюн. Нашему в крепости уступает...

Науменко краем уха вслушивался в надтреснутый говорок деда Семена. Было ему и покойно и ясно, словно беседовал после долгой разлуки со старым отцом своим.

— Нонешние-то по привычке лбами колотят,— приглушив распыхтевшийся самовар, говорил о единоверцах дед Семен.— Гордей вон уж на что лют был в вере, а и то откололся...

— Понял, что дурость это... От веку молятся, а бога никто не видывал.

— Я тоже не видал, врать не стану,— усмехнулся старик.— Может, не удостоился. Другим, сказывают, являлся.

— Брешут!

— Пей чаек-от!

Науменко вяло дул в кружку с запашистым чаем. Дед Семен швыркал медленно, с протяжкой, получая от этого великое, неописуемое наслаждение.

— Добавить?

— Будет. И так весь влагой пропитался.

— Влага влаге рознь. От этой рассудка не теряют. Кто толк понимает, того за уши не оттянешь. Боярское питье!

— Вода — она и есть вода.

— Не собирай никого-то! — обиделся старик его пре-

небрежительному тону.— Я воды сроду боле стакану не пивал, а чаю полсамовара выдую — и хоть бы что.

— Убавь маленько!

— Давай кто кого перепьет! — предложил старик.

— Давай,— опрометчиво согласился Науменко.

— Мотри, не оконфузься!

— Да уж как-нибудь,— принимая чай, улыбнулся Науменко, предполагая, что сухонький дед Семен много не выпьет.

К пятому стакану Науменко расстегнул ворот гимнастерки, отпустил на две дырки ремень. Сидел распаренный, тяжело дуя на опротивевший чай. А дед все так же протяжно швыркал, не меняясь в лице, как будто это был его первый заход.

— В силах? — налив по шестому, с ехидцей спросил старик.

— Давай,— не желая сдаваться, с решимостью самоубийцы подвинул свой стакан Науменко, чувствуя животом, что отпущенный ремень опять стал тесен. А со лба, со щек, с подбородка катился густой пот.

После восьмого стакана Науменко затосковал, начал глотать мелко, для вида, одними губами. А дед Семен тем временем осилил девятый, десятый, одиннадцатый стаканы. Перевалил за дюжину. И лишь на шестнадцатом пожаловался:

— Старею. Потеть начал. В восемьдесят годов любого перепивал. Тебя-то моя старуха покойница пересилила бы...

— Ну, это как сказать! — сердито буркнул Науменко. От резкого движения у самой пряжки по гнилому шву лопнул ремень.

— Прелый был,— посочувствовал дед Семен, выцеживая из самовара последние капли.— Надо жилкой перешивать, да в два ряда. А эти токо для господ офицеров годятся. У них брюхи тонки. Помню, был у нас батареец один. Вот кого брюхом-то господь сподобил! Бывало, велит на спор по чреву прикладом лупить. Бьют, а он хоть бы что... Крепка утроба была! Мужичья!..

— Я тоже не из дворян,— сбрасывая ремень, заметил Науменко.

— Из мужиков-то самые лютые дворяне выпекаются. Враз от земли отвыкают. Про одного сказывали: в город уехал... Домой возвернулся и все выспрашивает: это что,

да это как называется. Чисто все перезабыл! Ладно, на грабельные зубья наступил! Как черенком его в лоб хлобыстнуло, сразу в грабли-мать завернул. Воротилась память...

— Чудак ты!

— Без этого век долгим покажется. Шуткой от горя спасаюсь. Помню, оторвало мне ногу... Жутко, а я говорю ребятам: «Это, мол, ничего. На сапоги расходов меньше...»

Науменко перевел взгляд со старика на портрет. Даже эта темная старая фотография не могла притушить зубастую, зажигательную улыбку человека, изображенного на ней.

— Твоя? — застегиваясь, спросил Науменко.

— Сынова,— сник Семен Саввич.— В двадцать первом кончили. Тоже в активистах ходил. Мало пожил. А я вот чужой век ворую...

— Живи, Семен Саввич! — горячо обнял узкие плечи вековика Науменко.— Без тебя земля оскудеет. Еще сто лет живи...

— Ты за колхоз-то на меня не в обиде? — осторожно копнул старик.

— От тебя любую обиду стерплю.

— Неможется мне. Ежели к весне оклемаюсь — сам приду с заявлением. От хворого какой прок!

— Разладилось все, расшаталось... Как думаешь, настроимся?

— Непреклонно! Ты сам выпрямляйся... Ишь, как скрутило тебя...

— Ничего, дед! Мы еще повоюем!

— Со Христом! — еще недавно подтрунивавший над верой старик истово перекрестил Науменко и легонько подтолкнул к порогу: давай, мол, не теряй понапрасну времени.

Глава 8

Одному тоскливо. И вдвоем тоскливо. Час от часу тоска все больше, гуще, непроходимей. Все чаще, уронив голову на руки, сидит Науменко за столом. И уж без напоминаний Мария ставит перед ним брагу или водку.

Сегодня не пьется. После дедова чаепития к водке отвращение. Видно, не зря хвастал старик целебными свойствами своего чая.

Мария, разостлав постель, молча глядела на мужа, подойдя к нему, зарылась руками в волосы.

— А дров так и не привез...

— Завтра привезу.

— Знаю, кому отдал.

Молчание.

— Ты сегодня какой-то непонятный.

— Трезвый.

— А я пьяная... от тебя.

— Горький хмель.

— Ты когда-то меня Марийкой звал... Отвык?

— Отвык.

— Знаю из-за кого.

До него не сразу дошло, что жена ревнует к кому-то. Но к кому?

Он ошалело поднял голову, недоуменно посмотрев на Марию.

— Ты о чем?

— Не притворяйся! Я все знаю... И кому дрова привез, и почему уезжать отсюда не хочешь... Замену мне подыскал? Все равно я лучше ее!

— Ты здорова?

— Не смей издеваться! Я все тебе отдала, а ты...

— Возьми обратно,— Науменко закусил удила, заговорил с холодным бешенством.

— Как ты можешь! Как ты только можешь!

— Я все могу...

— Теперь-то я знаю. Жалею, что раньше не знала! Я бы не стала скрывать от людей твои делишки...

— Какие делишки? — Науменко невольно понизил голос, резко откинулся к стене, стукнувшись головой.

— Перестань! Слыхала... Слыхала, как ты во сне своих выдавал...

— Молчи! Молчи, Мария! — Сам боясь своего шепота, с присвистом выдохнул Науменко.

Прямо из горлышка выпив всю водку, начал торопливо одеваться.

— Не бойся,— презрительно усмехнулась Мария.— Никому не скажу...

— Я сам скажу! — бессвязно бормотал Науменко, не попадая в рукава полушубка.— Прямо сейчас поеду и все расскажу. Не хочу прятаться! Надоело все! Сколько можно...

— Опомнись! Куда ты среди ночи! — пыталась удержать Мария.— Себя погубишь — и только.

Он выскользнул из полушубка и, раздетый, выскочил на улицу.

Минуя конюховку, через пригон забежал в конюшню.

Было тихо. Изредка всхрапывали жеребые кобылицы. Похрустывали овсом жеребцы. Накинув на Воронка недоуздок, Науменко вывел его из стойла.

— Куда собрался? — спускаясь с сеновала, угрюмо окрикнула Афанасея.

Науменко неясно промычал что-то и торкнулся плечом в ворота.

— Оглох, что ли? Коня зачем берешь? Днем успеешь угробить.

— Пусти!

— Не держу, только Воронка оставь.

— В район поеду.

— В полночь? Ждут тебя там,— усмехнулась женщина и, обняв Науменко сзади, подтолкнула: — Иди, проспись!

Он обмяк, без сопротивления отдал повод.

— Опять куролесишь? — не двигаясь, с неожиданной мягкостью проговорила Афанасея.— Раздетый весь... Небось, от бабы убежал? Ну да, от кого ишо бегают в такое время! Ладно, хоть не в подштанниках. Шубенку мою накинь!

Снимая шубу, нечаянно коснулась грудью его локтя, ожглась, закусила губы. Обнесло. Так после качелей бывает. Раскачают парни, потом крутанут за веревки, и они веретеном кружатся. Земля колышется, в глазах пестро, лица путаются, сливаются в одно.

— Чего застыл? Сказано: уходи! — раздвинула прикушенные губы Афанасея.

Когда заглохли его шаги, охнула и, обняв мерцающую в полусвете теплую шею коня, уткнулась в нее, сотрясаясь мощным, тоскующим телом.

Науменко бесцельно брел по сонной улице. Вот уж и кончилась она. А он все шел, шел... Когда пообочь дороги удивленно шумнул бор, повернул назад.

«Куда я теперь? — стучал изнутри двухголовый дятел. На каждый висок по клюву. Тук-тук-тук... Подумалось: — Как череп проклюнет, тут и конец. Э, сбывайся! Все равно это не жизнь — пытка... Ух, как черно вокруг!»

В доме горел свет. Печальная тень Марии мелькала в окнах.

«Не жди! — с озлоблением подумал Науменко.— Не приду...»

Свернув к освещенному сельсовету, без стука вошел.

Сазонов читал, напялив на нос тесные очки, которые при появлении Науменко поспешно сдернул и сунул в стол.

— Стихи вот читаю,— пробормотал он, прикрыв книгу.— Мыслей в них — прорва! Есть прямо мои мысли. Их, оказывается, за тысячи лет до нас высказывали:

Усталость — ложь. Я жить не устаю.
Все в мире — жизнь. А жизнь — всегда дитя.
Оно ручонкой бьет по хрусталю,
И чаша разбивается шутя...

— Удиви-ительная штука! Если с умом читать — на все ответ сыщешь. Только неспокойно после этого. И обидно... Мы узнаем, а это еще до нас знали... Забавно, а?

Науменко не ответил.

— Не спится?

— Поговорить надо.

— Приспичило?

— Дальше некуда. Ты вот очки носишь. Хоть бы раз через них присмотрелся. Что, мол, ты за человек, Науменко?

— Я и так вижу,— улыбнулся Сазонов.— В главном — наш человек. Конечно, не без вывихов... Так они у всякого есть.

— Смотря какие вывихи... Пью я... Знаешь, от чего?

— Знаю. От несоответствия дел мыслям.

— Мудрено говоришь.

— Что ж тут мудреного? — пожал плечами Сазонов.

— Думаете сделать так, а получается иначе. Вот и ломает вас совесть. Значит, чуткая она, отзывчивая...

— А тебя не ломает?

Сазонов, словно не слыша вопроса, открыл ящик стола и, достав из него дощечку с лобзиком, начал старательно выпиливать что-то.

— Боишься ты один на один говорить! — упрекнул Науменко.

— Вы сперва сами в себе разберитесь,— скрипя пилкой, отвечал Сазонов.— А потом поговорим. Когда в го-

лове путаница — человек не знает, чего он хочет. И тут уж ничем не поможешь, сколько ни старайся. А вы, как я понял, помощи хотите...

— Ничего я не хочу от тебя. И говорить больше не стану! Ты не только меня, ты себя боишься! Мешком из-за угла стукнутый...

Сазонов отложил лобзик, стряхнул с коленей пыль и опилки.

— Засиделись мы,— сухо сказал он.— Скоро утро...

Глава 9

Угрюм, ох угрюм Илья! И сколь себя помнит, веселым не бывал. По пальцам можно пересчитать дни, в которые улыбался. А хотелось улыбаться, радоваться хотелось, если радость накатывала. Да полно, было ли такое! Может, от скуки чудак какой-нибудь, вроде Евтропия, про радость байку сочинил? Если и есть она на земле, радость, то ходит не по той дороге, которую топчут кривые ноги Ильи.

Большой рот его с двойным рядом зубов, заготовленных на двух едоков, приоткрыт в вечной страшновато-недоуменной гримасе. Над низким шишкастым лбом — грязно-седые космы. Калмыковатые глаза неподвижны и оживают лишь при виде доброго коня.

И ноги бубликом, и страсть к лошадям — отцово благословение... От матери-казашки досталась покорность судьбе и полурусское обличье. И еще умение плодить детей.

Дети, году не пережив, умирали. Не сумев разродиться последним, жена, тихая, покорная бабочка, скончалась, оставив Илье троих.

Надо бабу в дом принять, но кто пойдет к многодетному! Феклу пригласил — она переночевала, а утром высказалась: «По силе ты — вроде мужик, а запах козлиный. Хоть бы в бане его отпарил... Сам запаршивел и детей довел...»

Стукнуть бы ее за это, но ведь и то верно, что детей запустил. Все сам: шей, стирай и мой — а их трое. Тут еще здоровье пошаливать стало.

Молодым был — коня себе присматривал. Приглядел у Мартына Панкратова жеребенка, но попался. Смертным

боем бил его Панкратов. Вот и сказываются теперь те побои...

Выплевывая гнилую кровь, бессонницей бродит Илья то по ограде, то по избе. А на кровати, укутанный в лохмотья, льдинкой дотаивает мальчонка. Не успел родиться, сказали: «Не жилец». Но парнишка по сю пору живет, только ножонками слаб. Летом кое-как ползает, а зимой и ползать не может. Испростыл, видно.

Тенью склоняется над умирающим ребенком Илья. Седые космы почти касаются прозрачного детского лба.

Жалко! Много детишек похоронил и над каждым могильным холмиком отсиживал день, вечер, ночь. Светлыми червячками ползли по землистым щекам молчаливые, скорбные слезы.

Когда схоронил первого, на кладбище пришел Пермин, хотел силком домой увести.

— Не горюй, Илюха! Обратно не вернешь...

— Уйди! — жутко проскрипел Илья. Голос нутряной, сиплый.

— Пойдем! — уговаривал Сидор.— За помин души выпьем...

— Уйди,— тем же леденящим душу голосом просил Илья.

— Ничего ведь не высидишь...

— У-ух, зануда! — выкрикнул Илья и швырнул в него могильным комком.

Отряхиваясь, сплевывая землю, хмуро уходил Пермин, зажав в стиснутых зубах матерок. Скрытое молчаливое горе звероватого Ильи, с которым столько соли съедено вместе, смущало.

Бирюковат Илья, а на ласковое слово прилипчив. Для других таких слов у Пермина не было, а для Ильи находил.

Было время, когда за одно его слово пошел бы Илья в огонь и в воду. Но Пермин туда не посылал. Услуги, которые оказывал Илья, были легче, выполнимее.

В молодости, бывало, друг без друга никуда. В драке плечом к плечу стояли. Оба жилистые, увертливые, на кулачках опаснее их не было. Последний раз, помнится, на Фатеева насели. Скучно жить показалось тому в эти минуты... Ямин, подоспев, выручил. За это Пермин и обозначил Гордеево хозяйство кулацким.

Но до выселения не дошло.

Зато при хлебосдаче Пермин отыгрался.

— Ты картошку подмешивай! — сочувственно советовал Илья. Ямин, думая, что над ним издеваются, хмуро отмалчивался.

— Сказывай, где остальное зерно спрятал! — приставал Пермин.

— Сказал же, все отдал! — начал яриться Гордей.

Когда в Заярье прибыл уполномоченный для завершения этой горячей кампании, Ямина вызвали в сельсовет.

— Много ли хлеба у тебя? — спрашивал уполномоченный.

— Сколь было — выгребли. Теперь хоть по миру иди...

— Врешь, подкулачник! — наседал Пермин.— В земле тыща пудов зарыта.

— А хоть бы и две...— вспыхнул Ямин.— Ни пуда не дам!

— Дашь! Да ишо как дашь!

— Ни единого зернышка!

— Ну вот,— устало вздыхал Пермин.— Поговори с таким вражиной. Выселить его в двадцать четыре часа.

Двое суток, не давая глаз сомкнуть, держали Ямина в сельсовете. Уставшего Сидора сменил Илья, Илью — Митя Прошихин, Митю — уполномоченный...

— Отдай ты им! Пущай подавятся! — взмолилась Александра, принеся арестованному обед.

— А сам Христа ради просить?

— Перебьемся как-нибудь! Ты тоже тут, куманек? — приметив отступившего в сторонку Илью, спросила. Он беспокойно почесывался, громко сопел.

Фешка Ямина и сын Ильи родились в один день.

— Пашутке крестным буду! — напросился Гордей и сразу же после крестин сколотил для крестника зыбку.

— Напрасно хлопочешь,— благодарно отказывался Илья.

— Велики хлопоты! — вручая подарок, сердился Ямин.— Бери, может, крестник добром помянет...

И вот теперь кум охранял его в сельсоветском амбаре, стуча, как велено было, палкой по углам, чтобы Ямин не заснул.

В другой раз, когда Пермин опять собрался почистить яминские сусеки, Илья отказался идти с ним.

На его место нашлись другие.

Затаенная ярость встряхивала исполинские плечи Гор-

дея. Митя опасливо жался сзади всех. Впереди были Фекла и Сидор.

— Открывай! — велел Пермин.

Ямин молчал, нависнув скалой, которая в любую минуту может сорваться.

— Хватит вам,— входя во двор, пытался усовестить приятелей Бурдаков.— Не с голоду же ему помирать!

— Одним злодеем меньше будет! — бурлил кипятком Пермин.

Ямин сгреб всех четверых в кучу и, выкинув за ограду, с такой силой хлопнул калиткой, что она сорвалась с крючьев.

— Ты мне заплатишь за это! — задыхаясь от бешенства и злобы, сулил Пермин.— Ты мне дорого заплатишь!

— Изомну! — хмуро пообещал Ямин, и Фекла силком увела от беды Пермина. Она еще ни разу не видела Гордея в таком лютом гневе. И не на шутку струхнула.

До суда не дошло. Но около месяца Ямина продержали за буйство в бузинской чижовке.

— Здорово живешь! — встретил его после возвращения Илья.

Ямин молчал, словно не расслышал. С этих пор он перестал замечать кума и ни разу не отвечал на его приветствия...

А раньше в гостях бывал, крестника проведывал: то рубашку ему подарит, то сахару комок принесет.

Кончилась дружба.

И с Перминым раздружились.

Страшен, забит Илья каторжной долей своей. Моложе был — совладать думал. Теперь покорился. Крепко подмяла проклятущая — не выберешься.

Он поправляет на парнишке одеяло, разгибается. Разлетаются космы, оголяя на миг серо-землистый лоб.

Молчит Илья, слоняется по избе... Да что изба... Теперь на всей земле, думается ему, не сыскать места.

Все чаще вспоминается жена.

Той ночью проснулся от ее голоса. Приснилось, будто стоит она у порожка, руками тянется, голова назад откинута.

— За мной пришла, Феня? — спросил Илья.

— За тобой,— печально прошелестела жена.

— Я сейчас,— заторопился Илья.

— Пока не срок,— и она, словно смутившись его поспешности, исчезла.

В кровати метался Пашка, просил пить.

В первый раз о смерти подумалось.

Думал о ней спокойно, без страха, как о том, что надо подоить корову или истопить печь.

«Ребятишек подрастить бы!» — вздохнул Илья и отпрянул: жена опять стояла у самой кровати и тянулась к нему худыми руками.

— Скоро, Феня... Теперь уж скоро,— успокаивал Илья. Она молчала...— Мне бы токо хлебцем разжиться... Да где его взять, хлебца-то?

День и ночь думал Илья, где раздобыть хлеба. Продать, кроме коровы, нечего. С детворой без коровы хоть караул кричи.

Тяжело ступает по скрипящим половицам Илья, задумчиво скребет закостенелыми ногтями космы, из которых в темноте с треском вылетают электрические искры.

— Прямо как золотые мухи! — перешагивая через порог, удивился Митя Прошихин, гость незваный.— Иду мимо и думаю, что бы это могло значить? А он из головы искры высекает! Вот фокус! Как так?

— Так,— безразлично отозвался Илья.

— Научи,— попросил Митя.

— Это от волоса зависит... Волос у меня как проволока. Один за другой задевает, и огонь получается.

— Ишь ты,— позавидовал Митя,— везет же людям! А мой ровно куделя. Запали-ка свет, в карты сыграем!

— Неохота.

— Чудак! От карт люди необходимо умнеют. Тыщи на етим деле наживают.

— Мне не до тысяч. Хлеб кончился. Детишков нечем кормить.

— Ха! Нашел о чем горевать! Тасуй давай! После научу. Со мной не пропадешь...

Глава 10

— Не могу! — хрипло прошептал Илья, отбрасывая спички.— Вдруг весь сгорит?

— Не успеет,— успокоил Митя, шаря в темноте коробок.— Мешка по два нагребем, нам и хватит. Куда серянки забросил?

— Не надо, Митрий! Хлеб ведь... За его сколь здоровья положено.

— Чей он, хлеб-то? Колхозный,— стало быть, ничей! А у тебя дети голодные.

— Лучше уж по миру,— упрямо твердил Илья.

— Не шуми. Как бы Афанаска не услыхала! Да где они? Ага, тут!

— Не поджигай, Митрий.

— Для тебя же стараюсь, мазурик! Мне единого зернышка не надо,— обливая угол амбара керосином, бормотал Митя.— Надо, чтобы снизу горело... Сверху заметят скоро...

Огонь взялся сразу и разошелся по керосиновому пятну.

— Лучше бы замок сломать...

— Услышат. Народишко почуткой! Давай отойдем подальше. А как стена падет — и нагрузимся...

Крадучись, они спустились по яру к реке, от которой кто-то поднимался навстречу.

— Ложись! — велел Митя, оттягивая приятеля к тальнику.

— Митрий, ты? — окликнул встречный, и они узнали по голосу Евтропия. Пробурчав под нос ругательства, Евтропий медленно зашагал дальше, поскрипывая коромыслом...

От складов пахнуло дымком. «Уж не горит ли?» — увидав огонь, подбежал к амбару, выплеснул на него воду.

Но пламя уже охватило весь низ одной стены и через углы переметнулось на другую.

— Афанасея! — позвал Евтропий.— Запрягай пожарную! Горит!..

Выбежав на улицу, закричал: «Пожа-ааар!»

Тотчас засветились окна у деда Семена.

А двумя минутами позже старик ковылял к каланче.

Евтропий поливал водой из пожарного рукава. Афанасея управлялась с насосом.

Горело только снаружи, но пламя плотно обступило все строение. Кто-то длинный, нескладный вскочил с ломом на крышу и стал выворачивать зацветшие огнем доски. Расщепленные, они падали вниз, плескали огненными брызгами.

— Наверх! Все наверх! — поставив в помощь Афана-

сее Ямина, гнал мужиков Евтропий.— Наверх, мать вашу...— подняв шланг, полоснул из него в толпу.

Тут же, среди снующих с ведрами воды, орудующих баграми и ломами людей суетился Панфило, подбегая то к одному, то к другому.

— Наказанье господне! — бубнил он, дымясь черной лопатой бороды.— Бог-то он все видит: и правых, и виноватых!

Без нужды высадив раму в конюховке (там не горело), незаметно подбросил огня, но тут же содрогнулся от ядреного тумака Агнеи.

— Ишь, что вытворяет! Люди тушат, а он головешки подбрасывает! Растерзать тебя мало, антихрист!

— Не губи, Агнюша! — взмолился старик.— Бес попутал.— На них сыпались искры. Тлел дубленый полушубок Панфила.

— Все подсиживаешь! — прижав старика к стене, Агнея тыкала в его бороду головешку.

— Не губи! Христом-богом молю! — всхлипывая, упрашивал Ворон, он знал, что если этот случай дойдет до сельсовета,— добра не видать.— Отпусти, касатка! Дай помереть спокойно!

— Уматывай! — поддав ему коленкой, велела Агнея. Времени на разговоры не было. Да и злости на жалкого не хватало.

Пламя на пристройках задавили. Амбар кое-где еще рыжел огнем, который нещадно добивал Евтропий.

Скоро все затихло.

— Как хоть загорелось-то? — оттирая закопченное лицо, допытывалась Афанасея.

— Подожгли, вот и загорелось,— нервно вздрагивая, проворчал Евтропий. Ему казалось, что те, кого он встретил у яра, не случайно побежали от него. Одного — Митю — он опознал.

— А может, шальная искра попала? — предположил Дугин.

— Искры снизу разве падают?

— Все могло быть,— с меньшей уверенностью проговорил Дугин.— Ты нынче баню топила, Агнея?

— Топила.

— Ну вот, от вас и загорелось, должно. Сам пожарник, а до того распалишь, что всю деревню готова сжечь... Попала одна искра, другая — и пошло чесать...

Над селом еще гудел пожарный колокол, висевший на каланче.

— Разохотился дед Семен! — засмеялся Евтропий. Разговор о пожаре на том и кончился.

А колокол по-прежнему призывно звенел над Заярьем. Для каждого случая у старика имелся особый звон. В праздники весело наяривал «камаринскую», рекрутам выводил «Соловья-пташечку», на пожар звал тревожно и торопливо: «Хватит дрыхнуть, хватит спать!» О похоронах возвещал скорбно и торжественно.

И хоть не часто говаривал колокол, а руку деда Семена узнавали сразу.

— Потушили уж! — закричал Евтропий, влезая на каланчу по ветхим ступеням.— Отдыхай, хватит звонить!

— Не мешай! — отмахнулся старик, и снова звон поплыл по деревне.

Он падал на крыши домов, через окна проникал в задубевшие людские души, а люди гадали: отчего им не по себе?

Звуки тоньше мыслей, острее слов.

И хоть шли они не от мудреца, не от пророка, а от медного колпака, в котором яростно, неуемно бесновался строптивый непослушный язык, а достигали скорее, задевали больнее.

Вот, видно, за этот кощунственный вызвон и заслали в Тобольск, на каторгу, угличского его собрата...

И старик звонил без устали, безжалостно разгоняя человечью сонливость. Шапчонка сбилась на затылок, седой пух на голове мотался гоголем, в щуплой старческой груди колоколом же стучало изношенное сердце.

— Будет тебе, Семен Саввич! Не тревожь людей! — отнимая у ослабевшего старика веревку, укоризненно сказал Евтропий.— Они и так покой потеряли...

С крыши амбара черный, как головня, спустился Сазонов. Обожженной до пузырей рукой хватанул горсть снегу и приник губами, окрашивая его кровью.

— Эк устарался! — сочувственно сказала Агнея.— Одни себя не жалеют, другие...

Она оглянулась: Ворон исчез.

— У тебя сало гусиное есть? Нет? Ну, айда ко мне,— оглядывая ожаленного огнем Сазонова, предложил Ямин.

— Все обличье испортил,— отмачивая дома ставшее безбровым, все в кровоподтеках и пузырях лицо предсе-

дателя, говорил он. Привыкнув к послушанию огня, он поражался его непокорству.— Вон чего огонь сотворил с человеком! — вдоволь насмотревшись, усмехнулся.

— Бабу тебе надо. Оказия вышла — и поухаживать некому.

— Где ее взять?

— Где все берут.

— Про меня не запасено.

— Э-э, не прикидывайся телком безрогим! Все живые твари по паре. Приглядел кого?

— Нет еще.

— Ну, приглядишь,— успокоил Гордей.— Девок много, а председателей раз, два — и обчелся. Вызови в Совет, кулаком по столу двинь: такая, мол, сякая, немазаная-сухая, жениться на тебе желаю. Протокол составь — и делу конец.

— Ловко у вас выходит!

— А кого ишо рассусоливать-то? Смелость города берет!

— Города и мне доводилось брать, а тут одной смелости мало...

— Может, заночуешь у меня? — пригласил Гордей, по себе зная, как тоскливо человеку одному.— Места хватит.

— В Совет надо.

— Моргуешь подкулачником?

— Умный вы человек, а как сморозите... Хоть стой, хоть падай.

— Тебе падать нельзя. Оставайся,— просил Гордей.— Я ужин соберу...

— Если не стесню — останусь. Отдохнуть бы сперва...

— Отдыхай, кровати не жалко.

— Поговорить мне хотелось,— слабо возражал Сазонов.

— После.

Сазонов лег, закрыл глаза: то ли уснул, то ли притворяется...

Возвращаясь из Бузинки, вошел Пермин.

Через порог шагнул властно, не здороваясь, как привык домой входить.

Гордей с сыном и Фешкой сидели за поздним ужином. Пригласить — муторно сидеть рядом; не пригласить — хоть и недруг, а порог перешагнул — гость. Пересиливая себя, Ямин отложил в сторону деревянную, в цветках ложку, вежливо проговорил:

— Подсаживайся к угощению. Похлебка жидковата, да крупа, сам знаешь, куда уплыла.

— Сдохну, а кулацкое хлебово есть не стану!

— Не пузырись, Пермин! Я в доме гостей не обижаю,— вздыбился над столом Ямин, огромный, разгневанный.— Но мотри, однако...

— Тятя! — потянул за рукав Прокопий: не останови — беда случится.— Опомнись, тятя!

— Ладно,— усмехнулся Гордей,— не хошь хлеба-соли отведать, сказывай, зачем пожаловал.

— Пришел я сказать тебе: выметайся, пока не поздно! Нам тесно двоим в Заярье!

— У тебя гумага заготовлена аль опять самовольничаешь?

— Уезжай! Добром прошу! — с тихой угрозой произнес Пермин.— Или ты, или я...

— Лучше уж ты. Мне не с руки. Здесь отец-мать похоронены. И мне велено помирать здесь же...

— Ишо неизвестно, где помрешь...

— Все сказал? Тогда вон тебе бог, а там — порог...

— Я твоего бога...— начал Пермин, но задохнулся от гнева.— Бойся меня, Ямин! Ох как бойся! — хлопнув дверью, выбежал.

Через минуту заскрипели полозья его кошевки, вспугнув нависшую пологом тишину.

Прокопий как заведенный гладил соломенные Фешкины завитки, не замечая, что пальцы его непроизвольно сжимаются в кулак.

— Вот так, Проня! — сказал Гордей, косясь на твердый, как капустный кочан, сынов кулак.— Может, по дурости он? Позлится и перестанет, а?

— Такой перестанет! Знаю его, черта трясучего!

— Тогда пущай не обижается! Ямины себя не дадут в обиду! — проговорил Гордей, но тут же понял: хорохорится. Против власти не попрешь, а Сидор — какая ни есть — власть.

Улицу затопила смутная безголосая темь, в которой плывет полный неутолимой злобы Пермин. И чем он питает свою злобу? Вон сколько лет не убывает она. Или это только так кажется? Попробуй разберись: чужая душа — потемки.

Тревожные ночи. Смутные ночи.

Многое передумается мужику до рассвета. Все на свете

переберет он, беспокойно ерзая на полатях. Порой до самого утра, не зажигая огня, лежит и думает, думает...

За всю жизнь столько не думал.

Раньше, бывало, подымется часа в четыре и топчется в непросторных своих пригонах, обихаживая скотину. Верный давней привычке, он и теперь встает спозаранку, гадая, чем бы занять тоскующие руки.

Всю жизнь будто кто через колено переломил.

И у Сидора, хозяина этой жизни, тоже не все гладко.

Вернулся в свой крестовый дом — жилым не пахнет: один-одинешенек.

Почти следом за ним пришел Сазонов. Оглядел холостяцкую избу внимательными, все понимающими глазами, поморщившись, сказал:

— Нехорошо тут у вас... Идемте ко мне! Дело есть.

Он слышал разговор у Яминых и, едва Гордей улегся, вышел, будто по нужде.

Взяв Пермина за плечо, повернул его к своему дому. Сидора трясло.

— Э-э, да у вас, наверно, лихорадка! А вы на ногах! — зажигая семилинейку, покачал головой Сазонов.— Сейчас чайку заварю. Раздевайтесь! — подталкивая гостя, построже пригласил он. Выйдя в другую комнату, приготовил чай и вернулся с двумя кружками. Пермин глотал черную огненную жидкость, выплясывая по краю посудины зубами.

Сазонов отвернулся, закурил.

— Странно живем, а? — задумчиво произнес он, глядя на собеседника из-под всегда полуопущенных век.— Ведь одно дело делаем, а каждый сам по себе...

Сидор в последние месяцы и впрямь жил как-то странно. В его большом доме давно уже поселилась безликая, но глазастая и нахальная скука. Сидор бежал от нее к людям. Люди бежали от него.

Вокруг все было неясно, настороженно. Даже разговоры велись с опаской. Нестерпимо хотелось сойтись поближе с односельчанами. Но, видимо, это сближение началось или слишком рано, или слишком поздно. Чем искреннее был он в своих стремлениях, тем недоверчивее и замкнутее становились они, обижая его подозрительностью. Их память стойко восставала против его тоски. Чтобы заглушить эту проклятую тоску, он готов был головою биться о стену, не умея отыскать лаза в темноте.

Вот и нынче заглянул он к Ямину не скандалить. А перешагнул порог — сорвался, наговорил того, о чем забыть хотел.

Так вот и с другими получается.

Не потому ли одиночество все крепче сжимает его своими клещами, хоть он и не должен быть один, и ненавидит оставаться один. Но одиночество пришло, и Сидор бессилен против него.

Рядом жили люди, с которыми он мог сойтись и держать совет, но гордость не позволяла.

Кто он? Неграмотный, темный мужик, которого волной выхлестнуло на поверхность. Сазонова он недолюбливал за его деликатную иронию, Камчуку не доверял.

Были еще Фекла и Науменко. Но с кем из них можно посоветоваться, поделиться сокровенным?

Науменко пил, а Фекле и самой несладко приходилось. Тоже одна: недавно дитенка схоронила.

Оставалось положиться на самого себя.

Не полагаться же во всех случаях на Сазонова. Ему что? Он человек временный.

— Каждый сам по себе,— повторил Сазонов.— А надо бы наоборот.— И рассмеялся, встряхнув светлыми прямыми волосами. Смеялся он редко, но завлекательно: как ребенка слушать хотелось.— Спешим, под ноги взглянуть некогда.— Потому и с дороги часто сбиваемся.

Сидор допил чай, успокоился.

— Согрелись? Я же говорил: чай лечит от всех болезней! На себе проверил,— похвалился Сазонов и вдруг вспомнил: — Я что хотел спросить вас... Вы к Ямину-то зачем заходили?

— Да так, по пути завернул...

— А-а, это хорошо. Подружились, значит? А мне говорили, что вы в ссоре...

— Тебе-то что?

— Просто интересуюсь. Ямин, по-своему, человек замечательный. Сейчас он на перепутье. Любой неосторожный шаг отпугнуть его может. А терять такого человека нельзя. Колхозу нужен.

— Знаю, что нужен.

— Значит, вы к нему заходили с добрыми намерениями?

Сидор помолчал.

— Ну как, отогрелись?

— В жар бросило.

— Теперь полежать надо. Ложитесь на мою кровать. Я кое-куда схожу. Вернусь утром.

— Ты как знаешь, что к Ямину я заходил? — спросил Пермин.

— А я за дверью стоял, когда вы... беседовали,— выходя, ответил Сазонов.

Грохнув по столу кулаком, Пермин уткнулся в ладони и долго и неподвижно слушал, как трепещет на виске неспокойная жилка.

Глава 11

— Опять в колхоз надумал? — спросил Пермин, увидев деда Семена, у которого из-под полы сердито вертел головой петух.

— Коня бы мне. Годок на свадьбу зовет.

— Печорин, что ль? Неуж опять женится старый сыч?

— Свадьба, стало быть, женится.

— Вот это, я понимаю, женишок! В сто годов удумал...

— Старый конь борозды не портит,— заступился за друга дед Семен.

— Ну и пашет неглубоко.

— Это уж не моя печаль.

— Постой, постой! — спохватился Пермин.— Ты что это коня у меня просишь? Одноличникам не даю. У их у самих лошади имеются.

— Мою-то вы же уморили.

— Ладно, шагай на своих двоих. Деревяшка у тебя дюжит?

— Нынче, верно, так заведено — над стариками измываться? — оглядывая присутствующих в конюховке, смахнул слезу дед Семен.— Порядки новы...

— Порядки-то новы, да наводят их по-старому,— обиделся за старика Евтропий.— Сидору при царском режиме фельдфебелем быть, а он у нас в бригадирах ходит.

— Занесся больно! Земли под собой не видит! — поддержал Федяня Дугин.— Пора бы и по шапке!

— Хоть сейчас! — вызверился Пермин. Ему было стыдно за свои неумные шутки, а замять их он не умел.

— Иди к Науменко,— посоветовал Евтропий.— Он, ежели в добром здравии, даст.

— Пойду, однако,— поднялся старик.— У Лаврухи край побывать надо!

— Петуха-то куда везешь?

— Ему же. Зарок у меня такой: как женится он, так петуха.

— Охай невесту, петух тебе достанется.

— Женитьба как армия: положено — отслужи.

— Так оно. Токо служит он больно часто.

— Баба нынче ненадежна пошла. Костью мелкая, жилой тонкая...

Четыре бабы схоронил Лавр Печорин. Это был его пятый заход. О каждой покойнице горевал три года, затем подыскивал новую хозяйку. И всякий раз Семен Саввич дарил ему петуха с наказом: «Ежели самому невмочь будет — пущай петух топчет». В первый раз отдавал с легким сердцем. С того часа семьдесят лет минуло. Через пять лет, нарожав Лаврухе лаврят, бабочка скончалась. Пришлось Семену Саввичу раскошеливаться на другого петуха. Этот был погорластее и пером поярче. Но за первой еще три женки отправилось на тот свет, оставив Лавру дюжину детей.

И вот на сто первом году дружок вынудил разориться на пятого петуха.

— Лошадь я тебе запряг,— смущенно кашлянул Пермин, незаметно выходивший в ограду.— Ты уж это... поезжай. Может, и мне кого присватаешь.

— Холостому-то лучше,— отходчиво усмехнулся старик.— Доле проживешь.

— Не везет мне с бабами,— склонил голову Пермин.— Им стать нужна, а я порастряс стать-то...

— Не стать, а ласка,— поправил старик.— Я свою Агашу лаской донял. Все парни в деревне за ей гонялись, а досталась мне. Уж до чего баска была! Щеки — маков цвет! Глаза — хоть купайся в их! До того глубоки... Высокая да веселая! Обнимешь — дрожь до пяток проймет. Да-а... А сперва не поддавалась. Да я знал, где силки расставлять. Бывало раза по два на дню подойду к окошку и зазывисто, аж самого слеза прошибет, воркую: «Ручеек ты мой серебряный! Звонко текешь, да не в ту сторону. Без меня потеряться можешь...» Она помалкивает, а к речам ухо вострит. Виду из гордости не подает. Ну, погоди, думаю! Не мытьем, дак катаньем — все одно дойму! Отойду и караулю, когда она на завалинку вый-

дет. Я уж тут как тут. «Журушка ты моя! Не жалей, что бескрылой родилась! Полюбишь меня — крылья вырастут...»

Проняло все-таки. Опосля все диву давались: как это я таку самолюбку объегорил? Степша Рязанов, отец ее, сперва бить меня собирался, потом отдумал: «Ну, Семка, твоя взяла! — говорит.— Не статью приручил — умом. Уважаю. Подарю тебе за то самолучшего рысака». И подарил. У меня его цыганы сглазили. Пришлось казаху на мясо запродать. А уж какой был конь! Но-о! — удобно расположившись на кошевке, шевельнул старик вожжами, но, чуть отъехав, придержал лошадь:

— А ишо лучше — не женись, Ситька! Морока с ими, с бабами-то! То сел не так, то лег не с той... Порядок любят. А ты к ему не приучен. Меня вон ни за что, ни про что облаял, чтоб тя раздуло! Но-о!

«А ведь и верно,— задумался Пермин.— Надо отвыкать от псовства-то! К кажному слову мать-перемать. Тем и людей отпугиваю. Им не понять, что с тоски зверею... Вот и пойти бы сейчас к Ямину и сказать: «Не враг я тебе! Что было — прошло. Это обида меня сосет глистой поганой...»

Но к Ямину он все-таки не пошел, у самых ворот ноги отерпли. Потоптался у подворотни и повернул обратно: застыдился. Идя к себе, высчитывал, где о нем доброе слово сказали. Выходило — нигде. От этих мыслей стало еще неуютнее.

— К Логину пойду,— решил Пермин и тут же придумал заделье.

— Лекарства бы мне! — сказал Варваре.

— Захворал? — Пермин век не бывал.

— Поясницу ломит.

— Не похоже. У кого в пояснице боль, тех дугой выгибает. Что у его болит, Лога?

Логин нехотя оторвался от холста, на котором что-то увлеченно рисовал.

— Душа.

— Угадал ведь! — удивленно признался Пермин.

— От этого не лечу,— нахмурилась Варвара.

— Сам выправлюсь,— проворчал Пермин, подсаживаясь к Логину.— Не помешаю?

— Не любит он, когда подсматривают,— хмуро сказала Варвара.

— Не бойся, не изурочу,— усмехнулся Пермин, внимательно рассматривая холст.— Поле вот нарисовал ты... Хитро это. А обиходить его похитрей, пожалуй, будет...

— Я разве спорю?

— Меня бы нарисовал,— неожиданно попросил Пермин.

— Людей пугать?

— Чем я других страшней?

— Глаза у тебя как пули. Чуть что — выстрелят.

— Велико дело — глаза... Кисточкой мазни — выйду не хуже Иоанна-пророка.

— Тогда не признают тебя,— не отрываясь, возразил Логин.

Варвара прислушивалась, незаметно кивая мужу.

— Про глаза ты, может, правильно заметил,— согласился Пермин.— Насмотрелись они всякого, оттого и страшные... А вот душа... В душе я совсем другой. По доброте тоскую. По-людски жить охота. Чтоб радостно было, как на зорьке. Всем бы сказал о том, да кто поверит!

— Смотря как скажешь. Могут и не поверить,— подсела поближе Варвара.

— Человек должен так говорить, чтоб душу выворачивало! Чтоб каждое слово его подбирали, как золото! Потому и злюсь, что высказаться не умею. А люди думают, на них злюсь. Боятся меня... Ты ведь тоже боишься, Варвара.

— Кого забоюсь, тот не родился. Меня вот побаиваются: как-никак — колдунья... А я не знаю страху.

— Гордая ты! Блюдешь себя, потому и гордая. Помнишь, как нагадала, что детей у меня не будет?

— Ну, помню,— нехотя призналась Варвара.— Разве неправда?

— Бабы нет,— значит, правда. А детей я шибко люблю. Согревают они. Обзавестись способностей не хватило... Ну да нечего на зеркало пенять, коли рожа крива! Засиделся я у вас...— втянув голову в плечи, бочком, будто провинился, Пермин вышел. Варвара проводила его сочувственным взглядом.

— Мается мужик! Многие маются... Один ты у меня спокоен...— Она обняла мужа и уткнулась в его шелковистые волосы, принюхиваясь к ним.

— После, Варя! — ласково отстранил жену Логин. Кисточка тыкалась в полотно, оставляя на нем нечеткие мрачные следы.

* * *

Вечером, шагая из конюховки, Пермин неожиданно встретил расстроенного деда Семена.

— Почто скоро? Аль невеста отказала?

— Хуже... Много хуже, паря.

Дед поведал грустную историю, которая произошла на свадьбе. И хоть история та была невеселой, но, слушая ее, Пермин посмеивался в кулак.

Не успел Семен Саввич вручить новобрачным пятого петуха, как невеста сыграла с гостями и женихом злую шутку. Два бабьих века прожила, ни с кем постель не делила. В восемьдесят лет пофартило старушке, взыграла в ней радость бражной пеной. Ликовала, как девка на выданье.

Но, видно, не вместило накатившую радость хилое естество невесты: прямо на свадьбе окочурилась.

— Ну вот, Сема,— посочувствовал другу пьяненький Лавр.— Приглядывай шестого петушка!

Потому и вернулся Семен Саввич домой до срока.

Глава 12

Недавно отелилась Чернуха. По нескольку раз в ночь Гордей выходил в пригон проведать ее. Теленка отсадили и держали в избе. Чернуха звала его протяжно и жалобно. Но стая была холодной.

Забот прибавилось. Стало веселее: дожили до нового молока. Но дойка была сущим мучением. Чернуха лягалась, бодалась, не стояла на месте. Да и соски ее, тугие, короткие, выскальзывали из заскорузлых пальцев, более привычных к кувалде. Берясь за подойник, Гордей терялся и хмурил лоб. Вот и сейчас, выйдя во двор, он пожалел о том, что не послал вместо себя Прокопия.

Выбравшись из конуры, глухо уркнул Китай.

— Ты чего, потник старый? Кошку во сне увидел?

Привыкший к негромкому решительному голосу хозяина, пес обиженно смолк: вот, мол, в кои-то веки собрался поворчать и то запрещают.

— Пода-аааайте страннице! — шаловливо пропел из-за

плетня страшно родной, с легкой картавиной голос. Отшвырнув подойник, Гордей взвился через плетень.

— Сана! Ты одна?

— Тебе одной-то мало?

— Ну, удивила! Ну, порадовала! — он привлек Александру, но, заметив, что жена морщится, хватился.— Сдуру-то все позабыл! У тебя, поди, швы не срослись?

— Ну так что? Из-за их век не обниматься? — с притворной хмурью возразила женщина. Она была хороша той неброской красотою, которая не вянет от невзгод, не тускнеет от времени — красотою сердца.— Стосковался?

— Так стосковался, что слов нет...

— Плохо ищешь, а то бы нашел.

— Слова-то, может, и найду, да язык не слушается. Тоже, как я, одурел от радости...

— Бедный ты мой! Замаялся со мной!

— Мне какая маета! Тебе больно! Не хворала бы ты, лебедушка моя! — осторожно подняв жену на руки, Гордей спрятал у нее на груди большое бородатое лицо. В этот миг он казался Александре слабым и беспомощным.

— Не буду! — как будто это от нее зависело, с серьезной торжественностью обещала Александра. Услышав, что в сенках отворяются двери, торопливо попросила: — Пусти меня, медведушко!

— Где подойник? — спросил из сеней Прокопий.— Я бы Чернуху подоил.

— Да ты без меня не шибко горевал! Помощников полон дом.

— Мама! — вспыхнул радостью Прокопий, но тут же погасил ее при отце, которого стеснялся.— Неуж пешком?

— Не пешком — на крыльях летела, сынок! Волки и те не угнались.

— Гнались? — в голос спросили отец и сын.

— Было дело. Ладно, Пермин отпугнул.

— Как же ты, мама? — упрекнул Прокопий.

— Пермин не подвез? — насупился Гордей.

— Сама отказалась. Феша в школе?

— Там,— пряча восторженную улыбку: «Бедовая у меня мама!» — ответил Прокопий.

— Сходи за ей, Проня! Вся душа по вас выболела! — повернувшись к мужу, потребовала: — Давай подойник! У Чернухи молоко текет...

Корова, скосив диковатый темно-синий глаз, замычала.

— Узнала, Чернушенька? Ах ты, кормилица моя! Продаивали ее?

— Старались,— мысленно сравнивая свои потуги с легкими точными движениями рук жены, отвечал Гордей. Тугие розоватые соски со свистом выпускали секущие иссиня-белые струи, гремевшие о стенки подойника.

— Ну вот,— поднялась Александра,— один горюет, семья воюет...

* * *

В школе шли уроки. Один Венька Бурдаков, выставленный за шалости, слонялся в коридоре. Прокопий заглянул в класс и, покраснев, тотчас спрятался за дверь. У доски что-то объясняла учительница, тайная присуха его.

— Заходи, Проня! — выглянув, пригласила она. Фешка чернильной пятерней состроила брату нос.

— Сестренку мою не отпустите, Марья Михайловна? Мама просит.

— Ой,— взвизгнула Фешка.— Отпустите, а? Отпустите, а то убегу.

— Ну иди,— улыбнулась учительница и объявила перерыв.

Схватив холщовую на лямке сумку, девочка что есть духу припустила домой, едва не сбив с пути всегда углубленного в себя Ивана Евграфовича, второго учителя. Был он тощ, молчалив, в пестром пиджаке с вечно оттопыренными карманами.

— Зайди ко мне, Проня! — пригласила учительница.— Что-нибудь почитать возьми. Давно не бывал. Сердишься или мужа боишься?

— Черта я боюсь! — грубовато пробасил Прокопий, зардевшись.

Учительница проводила его грустным обескрыленным взглядом и негромко прозвонила в колокольчик начало урока.

А дома Фешка не отпускала теплые материнские колени.

— Выросла-то как, мила дочь! И веснушек не стало!

— Есть маленько. Вот тут и тут.— Фешка указала чернильным пальчиком в сплошь усеянные золотистыми точками щеки.

— Весняночка ты моя!

— Я пойду, мама! — из горницы вышел с гармонью Прокопий.— Катюнька Сундарева на именины звала.

— Звала — иди. Девкам то и веселья, что твоя гармонь.

— Мама, сказать тебе, кто у его невеста? — лукаво блеснув глазенышами, спросила Фешка.

— Уши оборву! — пригрозил брат, но девчушка спряталась за мать. И, обнявшись, они прошли в горницу, где перед иконой троеручицы что-то быстро и невнятно вымаливал Гордей.

* * *

Гости уже собрались. Шура Зырянова, племянница Дугина, колыхая высокой грудью, уставляла стол соленьями-вареньями. Именинницы не было.

— Проходи! — пригласил гармониста дед Семен и отвернулся к учителю, с которым вел разговор.

— Кому это надо? — недовольно проворчал он, попадая в прежний тон.— Всех одинаково говорить не заставишь.

— Заставлю! — упорствовал Иван Евграфович. Он уже подвыпил и был оттого речист и упрям.— Русский человек восприимчив.

— Пущай так,— дед склонил голову набок, отчего ковыльно-мягкие волосенки его взметнулись вверх.— Все мы русские. А на Волге так судят, на Оби — иначе. У всякого свое речение. Тем и отличишь сибиряка от волжанина... А ты всех на один манер стрижешь... Нет, я на это несогласный! — дед пристукнул посошком.

— Детям легче будет учиться,— тихо убеждал учитель.— Как говорю, так пишу. Сейчас ведь что? — сплошная разноголосица! А надо: как говорю, так пишу.

— Опять за рыбу деньги! — топорщился старик.— Говорим-то по-разному!

— Будет вам, грамотеи! — прервала ученый спор Шура.— К столу подвигайтесь!

— Без именинницы-то неславно!

— Подождем чуток...

— Спела бы... Симушко! Заведи нашу старинную!

Ефим Дугин, тонкий, с шафрановым румянцем, встряхнул бронзовыми кудрями и запел бархатистым баритоном про Ермака. Прокопий чуть слышно подыгрывал ему.

Разрумяненная с мороза, вошла именинница, закончив управу на ферме.

— О-о! — обрадовалась она.— И Проня здесь?

— Если лишний — уйду,— чуть куражась, сказал Прокопий. Девчата его баловали.

— Да что ты! Я не в обиду.

Прокопий недовольно свел к переносице брови, прибавил звуку. Катя присела на краешке скамьи и, перебирая отливавшую фосфором косу, подтянула Ефиму грудным голосом.

— Какие голоса, а? — прочувствованно сказал Иван Евграфович.— Какие прекрасные голоса!

— А ты как думал? Заярье на всю округу голосами славится! — выпятил груденку Семен Саввич.— Вот возьму Ефима в дом и кажин день буду слушать. Пойдешь, Симушко?

— Как не пойти,— через силу улыбнулась Шура Зырянова.— На все сто пара получится...

— Мы запоем, а кто-то заплачет,— понимающе взглянула на нее Катя.— Нет, деда! Здесь не для Ефима гнездо свито. Да и Михей не согласится: хоть в колхозе, а богач...

— За себя сам решаю,— нахмурился Ефим.

— Как сказать! — со значением возразила Шура.— На словах-то все бойки!

— Рассаживайтесь, гостеньки дорогие! Пора племянницу с днем ангела проздравить,— разливая из отпотевшей бутылки самогон, пригласил дед Семен. Расставив рюмки, прижал голову Кати к себе, смахнул слезу и запророчил: — Жить тебе сто годов, цвести — не стареть, петь — не болеть... И чтобы счастья-талану полной мерой... Верно я говорю?

— Больно много насулил,— шутливо остановила Катя.

— Летела сорока, села на гвоздь, как хозяин, так и гость.

В самый разгар застолья, загодя чувствуя себя лишней, но боясь обидеть Катю отказом, вошла Мария.

— За опоздание штраф! За то, что без мужа явилась,— вдвойне! — заегозил старик.

— Деда! — строго взглянула на него Катя.

— А я не в укор, Катюнька! Я от чистого сердца, по-стариковски. Без троицы дом не строится! — тяжелея языком, прокричал он.

А когда дед Семен заявил, что дом о четырех углах, а конь о четырех копытах, из-за стола, мигнув гармонисту, выскочила Катя и стала чеканить «барыню».

— Огонь-девка! А ты — как говорю, так пишу... Такая поцелует — никакая писанина впрок не пойдет.

— Я эту мысль одиннадцатый год вынашиваю! К весне учебник закончу, и тогда...

— Ой, да ну тебя к богу, чернила без чернил! Я ему про любовь, а он мне про морковь...

За окном грянул чей-то простуженный бас:

— Барыня, муж твой бел: то ли сахару поел?

В избу ввалился Федяня, загораживая широкой спиной своих дружков, вытащил из кармана распахнутого полушубка ядовито-зеленую бутыль.

— Мир честной компании! Нельзя ли присоседиться?

— Незваный гость хуже татарина! — хмуро намекнул брату Ефим.

— Пришли — не выгоним,— сказала Катя.

— Спасибо за ласку, хозяюшка! А уж я спляшу за это! Ох как спляшу! Эй вы! Потолок держите! И-эээх! — сбросив на ходу полушубок, спружинил на сильных ногах, завертелся волчком в присядке, потом взмыл вверх и, выпрямившись, застрекотал каблуками.

— А ну давай, ежели не страшно! — заманивал он. Катя хмурилась, отворачивалась, но ее неудержимо тянуло в круг. Ноги нетерпеливо переступали, как у необъезженной кобылицы, рвались в пляс.

— Боишься? У-моо-рю, не думай! Иии-эхма!

Катя не выдержала и яростно ввинтилась в круг. На мгновение парень опешил, растерянно заморгал глазами.

— Ну и ну!

— Испужался, хвастун! — съязвила Шура.— А ишо переплясать хотел! Где тебе, заморышу!

— Мне-то? Ах ты, шаньга морковная! — обиделся Федяня и снова зачастил сапогами, смазанными дегтем.

Они долго носились, не уступая один другому, выказывая все, на что были способны, пока Шура не остановила их, наполнив стопки.

— Ишь, допахались! Гармониста пожалейте!

— Гармонист не износится, а сапоги могут,— перевел дух Федяня.

Ты пляши, ты пляши,
Ты пляши, не дуйся!
Если жалко сапоги,
То поди разуйся! —

оставила за собой последнее слово Катя.

— Ум-морила! — вытирая покрасневшие щеки вышитым дареным платочком, выдохнул парень.— Ну, не будем ссориться! Нам добра не пережить! На-ко подарочек от меня! — он выкинул из кармана все того же полушубка кашемировый платок с кистями и ситцевый отрез.

— Мне бы экий-то! — искренне позавидовала Шура, сроду не носившая ничего, кроме посконного платьишка.

— Своего дарильщика заведи! — ударил усмешкой Федяня.— На даровщину-то много вас... А я один...

— Пришел — будь гостем, Федор! — прикрикнул дед Семен.— Гостю у нас угол красный и чарка с краями.

— Не вижу! Ну вот, так-то лучше! — принимая стакан, проговорил Федяня.— Да дружков моих не обнесите! Проходи, ребята!

Когда пить стало нечего, он вывел Прокопия во двор и, обняв его, пьяно пожаловался:

— Катерина-то сторонится меня! А разве я других хуже? Нет? То-то. Девки знают толк... Мне отбою нету от их.

— Это продавщица-то девка? Да у ей весь передок мухами засижен...

— А-а? — не понял Федяня.— Задается она шибко! Ну и я не прост. Враз укорот дам!

— Ты мне друг, Федьша? — внушительно спросил Прокопий. Он тоже был пьян.

— По гроб жизни!

— Тогда не обижай Катьку.

— Ух ты! Тоже втюрился? Ну и зазноба! Двоих присушила!

— Не тронь! Понял?

— Не трону, но имей в виду: я от ее просто так не откажусь. Ишо поглядим, чей верх окажется!

— Дурило ты! — рассердился Прокопий и, сбросив с себя его руку, ушел в избу.

— А, ты так? Ну, я те сделаю!..

В горнице — дым коромыслом. Бешено крутилась цветная карусель пляшущих. Стонал, прогибаясь, ходивший ходуном пол. Подслеповато мигала лампа, в тусклом свете

которой корчились черные лики святых, с завистью глазевших с божницы. Кровать подпрыгивала на скрюченных рахитичных ножках, пока на нее не уселась Мария, спрятавшись за занавеской. Кто-то, уткнувшись в помойное ведро, выворачивал нутро, Шура поливала ему на голову. С шестка тоненько сыпалась зола.

— Эт-то гррандиозно! — тонким голосом выкрикивал Иван Евграфович.— Только через сто лет поймут мое значение! Ясно?! Не раньше!

— А меня не будет! — почему-то радуясь, что не доживет до этого часа, торжествующе прокричал в желтое волосатое ухо учителя дед Семен.— Не будет, и все! Живите, как хотите! Я, брат, на том свете хохотать буду.

— Как говорю, так пишу! Понял? Всякому по зубам... Это великий, величайший поворот ума и совести... Потомки благодарить будут... И назовет меня всяк сущий в ней язы-ы-ык...

— И верно, что сучий! — хихикнул старик.

— Шире, грязь! — дико выкатил длинные карие глаза Федяня, расталкивая окружающих.— Я... я плясать буду... И всех вас... это... через колено!

— Не сразу! — Прокопий отставил гармонь, насмешливо повел вокруг глазами, начиная загораться драчливым азартом. Неуемная молодая сила рвалась наружу.— Поостынь малость!

— Вот я вас, курчата бесклювые! — рассердился дед Семен и замахнулся посошком. Перехватив его, Федяня хрястнул о колено и кинул обломки на стол.

— Федор! — изумился старик неслыханному глумлению над собой.— Ты что это сотворил, окаянный?

— Я вас всех... сквозь сито! — рявкнул Федяня и начал расшвыривать тех, кто попадал под руку.

— Во! — бормотал учитель.— Как говорю, так...

— Ты над кем галишься? — тучей потемнел Прокопий, шагнув к драчуну.— Ты надо мной попробуй!

Его удерживали девчата, Ефим; Федяня, схватив пустую бутыль, через головы обрушил ее на Прокопия. Из-под нее чиркнули две кровяные ниточки.

— Уходи, сволочь! — бледный, с ножом в трясущейся руке подступил к брату Ефим.— Решу!

— Симко! — опешил Федяня.— На родного брата?

Ефим замахнулся.

— Симка! Симушко! — пронзительно завизжала Шура, повиснув на его руке.— Одумайся!

— Вон! — заслонив собою Прокопия, откинувшегося без чувств, выкрикнула Катя.— Вон отсюда, поселенец!

— Так! — нехорошо скривил губы Федяня.— Я, каааанечно, уйду, раз просишь, но знай: будут у тебя ворота смолены, а окна биты! Брысь, курвы! — рявкнул он на девчат, и вся ватага вывалила на улицу.

— Где ты, силушка моя? — сокрушенно качал седым пухом Семен Саввич, подбирая обломки костыля.

— Убью! — ревел Ефим, пытаясь освободиться от оцепивших его рук.

Смертельно обиженный старик кое-как добрался до голбчика. За окном, снимая с пяты большие ворота, улюлюкали парни.

— Пойду я,— озираясь по сторонам и ничего не понимая в происходящем, сказал учитель, его никто не удерживал.

— Пронечка! — трясла гармониста Мария.— Очнись! Очнись, милый!

— Пусти! Пустите! — оттеснив ее, Катя приподняла окровавленную голову парня, влила в рот брусничного сока. Он медленно открыл глаза, пошарил руками. Ничего не обнаружив, вскочил:

— Гармошка где?

— Цела твоя гармонь! Цела, не беспокойся! — снимая с кровати гармонь, сказал Ефим.— А за удар он ответит. Не я буду.

— Голова-то как! — спросила Шура.

— Вся в шумах. Нескладно вышло у нас... Пойду я...

— Куда ты? Спьяна убить могут! — загородила дорогу Катя.

— Это ты зря,— возразил Ефим.— И пальцем не тронут. Сам пойду провожать.

— Раньше смелость-то надо было показывать! После драки кулаками не машут.

— Сказал: за удар ответит...

— Выговор по комсомолу запишешь? А ему наплевать!

— Пустое говоришь, Катерина! Мы сами разберемся! — осадил Прокопий.

— Тогда пошли, Пронь,— обрадовался Ефим, видя, что друг не сердится на него за Федяню.

— Ему бы лучше остаться,— подавив вздох, сказала Мария и стала поспешно одеваться.

— Ну, что ж,— с упреком взглянув на нее, круто переменил свое решение Прокопий.— Останусь... Мутит меня...— и, не дожидаясь, когда разойдутся гости, пал на кровать.

На голбце чуть слышно всхлипывал дед Семен. Душно чадила лампа. Трещала тесьма, высасывая последние капли керосина. Катя убрала со стола и, присев на краешек кровати, склонилась над парнем. Он почувствовал на губах соленое.

— Ну, что ты? Ну, что? — не понимая, отчего она плачет, шептал Прокопий.

Семилинейка потухла, злобно прошипев что-то. Слезы утихли.

...Идя в кузницу, Гордей встретился на мосту с Дугиным. Перебросились несколькими словами. Отводя в сторону неправедные глаза, Михей попросил:

— Ты за Федьку-то не держи на меня зла! Выдрал бы его, да не осилю.

— Помогу,— хмуро кивнул Гордей.— Проучить не мешает.

И они завернули в конюховку.

— Вы на дверях постойте,— велел он Михею и Коркину; сняв зипун, взял вожжи и пригласил: — Иди ко мне, Федор!

— Бить хошь? Смотри, как бы без бороды не остался!

— Ты ишо грозишь? — свернув парня жгутом, сдернул с него штаны и стал драть за все позорище, приговаривая: — За голову, за костыль, за ворота... За голову, за костыль, за ворота...

Федяня дико взвыл от стыда и унижения, рванулся, но погас в могучих руках кузнеца.

— Довольно? — спросил Ямин.— Ну, гуляй, да мотри, без фокусов.

Провожаемый хохотом мужиков, парень ринулся на улицу, схватив по пути по подзатыльнику от отца и от Коркина.

Он не появлялся в селе до весны.

Сазонов вызвал в сельсовет Дугина, велел ему сменить у старика ворота и восстановить вывороченный частокол. Отцу помогал Ефим. Долгое время они не знали, куда девался Федяня.

Глава 13

По утрам в Совете было пусто. Сазонов любил эти часы тихого уединения. Надев на нос очки в круглой металлической оправе, он доставал книжку и, забыв обо всем на свете, читал, пока высокое шаткое крыльцо не скрипело под тяжестью чьих-либо ног. Первою обычно приходила Варвара Теплякова. Заслышав ее шаги, Сазонов поспешно прятал очки, скрывая близорукость, появившуюся от неумеренного чтения. Варвара давно приметила в председателевом столе темный кожаный футляр, но, зная, что он стыдится при посторонних носить очки, не подавала вида.

Кроме книг у Варлама была еще одна слабость. Она особенно привлекала Варвару, видевшую в этом отдаленное сходство с Логином. Отдыхая, Сазонов брал в руки нож или пилку и резал что-нибудь из дерева. Варвара часто любовалась его изделиями, но для порядка ворчала, убирая стружки, хотя и испытывала при этом удовольствие не меньше, чем при стирке пропитанных красками рубах мужа.

Сазонов и на этот раз достал из-под лавки обожженную палку, которую сделал для деда Семена, и принялся полировать ее фетровым лоскутком. Палка напоминала по форме ружье, ствол которого упирался в землю. У приклада тщился выстрелить маленький бородатый человечек, и хоть ружье было великовато, он не унывал и тянулся к спусковому крючку.

— Опять мастерскую открыл? — с притворным недовольством потянула носом Варвара: пахло лаком.— Ни дома, ни на работе покою от вас нет.

— Доделываю,— виновато сказал Сазонов.— Мне бы Дугина вызвать...

Варвара с неохотой вышла. Ей хотелось присутствовать при завершении председателева художества. Это всегда самый желанный момент. Но, привыкнув к повиновению, она вздохнула и направилась к крестовому под железной крышей дому Дугина.

— Женка-то хворает? — открыв калитку и медленно переступая по тугому дворовому настилу, спросила Варвара.

— Хворает, боль моя! Чем токо не лечил — все без толку...

— Видно, так лечил...

— Да как же — и к дохтуру возил, и прогревания делал — один ляд...

— Приведи ко мне, живо на ноги поставлю.

— Комсомолец мой не велит. Ослушаться боюсь: как бы власти не придрались. Враз должности лишат.

— Пужлив больно! Уж не подсмотрел ли кого?

— Я бы не прочь, да ведь мужик у тебя... А то хоть сегодня...

— Не про тебя,— нахмурилась Варвара и перевела разговор.— В Совет иди. Председатель зовет.

— Ты, бывает, не знаешь зачем? — он побаивался, когда его вызывали в Совет.

— Мне не докладывали.

— Приду. Из района, случаем, никого нет?

— Кажись, никого.

Ефим сидел у изголовья матери, третий год не поднимавшейся с постели. В лютый мороз Михей послал ее за сырником к Волчьему буераку. Лошаденка попалась норовистая, необъезженная. На обратном пути, выбившись из сил, стала, и Клавдия промаялась с ней допоздна.

Кое-как добравшись до дому, слегла и больше не вставала: ноги отнялись. И без того нелегкое житье женщины стало невыносимым. «Натрескается и лежит день-деньской!» — попрекал ее Дугин. Вставал он, как правило, с левой ноги. Долго и неотвязно костерил сыновей. Ефим затравленно огрызался, мотая головой под увесистыми тычками отца. Федяня в такие минуты исчезал. С возрастом сила у сыновей прибывала, убывало терпение, оставалась неприязнь, которая грозила перейти в ненависть. Федяня уже не один раз давал отцу сдачи. Ефим на это не решался. Зато на словах был резок и нередко пугал отца своими высказываниями.

— Кулачина ты скрытый! — распаляясь, кричал он.— Дождешься, что заявлю на тебя!

— А про что? — щурил длинные глаза Дугин.— Факты у тебя какие?

— А кто хлеб в яме гноил? С белыми по лесам кто скрывался?

— А кто не гноил? — спокойно возражал Дугин.— Да и с белыми полдеревни связаны были. Совецка власть всех простила, Алеха!

— Про всех не знаю, а тебя зря простила! Ты все такой же кулак!

— Ну, это ты врешь, Алеха! Я честный колхозник! А сын у меня комсомолец. Не зря же мне ключи от всего колхозу доверили! — убеждая то ли себя, то ли Ефима, раздумчиво почесывал сломанную переносицу Дугин.

— Разберутся — отнимут! — парень выходил из себя. Но чем больше он кипятился, тем спокойнее делалась усмешка отца.— Стоит какой-нибудь заварухе начаться — опять встрянешь...

— А что, ожидается? — играя, спрашивал Дугин.

— Не надейся! Кончились те времена!

— Мне ведь и теперь нехудо живется. Работа не пыльная: ходи да ключами позванивай. А раньше кто боле меня на своем поле гнулся? Землю взяли — пущай берут! Лошадей отобрали? И по им убиваться не стану. Все колхозные — мои. Кому не дадут, а Михей Матвеичу в первую голову. А насчет встрянуть... Ты в мое нутро заглядывал, сморчок? То-то. Оно под шкурой. А шкура мужицкая в семь кнутов драная. Сразу-то не разглядишь, что под ей деется...

Под конец Дугин говорил совсем тихо, словно возражал не Ефиму, а себе. В общем-то эти споры ни к чему не приводили. Каждый оставался при своем мнении. Сын постепенно отдалялся от отца. А отец все больше испытывал желание поговорить с ним. И после таких разговоров он становился и добрей и покладистей.

Как это часто бывает, прожив в деревне полвека, Дугин слыл тихим богобоязненным человеком, который и мухи зря не обидит. Домашние сор из избы не выносили. Варвара сдва ли не первой увидала его в гневе.

— Опять грозен? — хлопая мокрыми крыльями ресниц, виновато потупилась Клавдия. Ее грустные дымчато-серые глаза передались сыну. Волосом огнист, чернобров, был он красив не в отца.

— Ему не привыкать!

— Разве можно так про отца-то?

— Не отец он мне! Чужие и те родней... А этот... умрет — не пожалею.

— Что хоть говоришь-то!

— Что думаю, то и говорю. Зверь он! Чуть что — и в зубы!

— Бог терпел и нам велел, дитятко...

— А я не желаю! Лопнуло мое терпение! Уйду из дому и тебя заберу!

— Что ты, что ты, миленький! Из родного-то дома?
— Не родной он мне, этот дом! Уйдем...
— Кому мы нужны?
— К Тепляковым попрошусь. У их хоромы великие.
— Эко задумал! — испуганно косилась на дверь Клавдия. Ей и самой было невтерпеж повседневно слушать гундявый голос мужа. Но что делать, если такова судьба.

* * *

— Заходите! — пригласил Сазонов, откладывая в сторону палку.— Разговор есть.
Дугин, увидев, что председатель один, облегченно вздохнул и присел на краешек скамьи.
— Сын где?
— Дома. Где ему быть?
— Про Федора спрашиваю.
— Так и говори. Того где-то черт носит. На станции, говорят, сцепщиком устроился.
— Не скроется. Все равно судить будем.
— А мне что! Судите. Совсем от рук отбился.
— Теперь другой вопрос... Шура Зырянова у вас в качестве кого. Батрачка, что ли?
— Все бы так батрачили! — обиделся Дугин.— Раз в день печь по-свойски истопит, дак что? Сам знаешь, баба у меня что сноп...
— Платите ей?
— А как же.
— Крыша у них совсем прохудилась. Перекрыли бы...
— Это обязательно, Алеха! Ближе к лету перекрою. Сейчас теса нет.
— Заодно и школу подремонтируйте — протекает...
— Это всегда пожалуйста.
— Еще одна просьба. Сын ваш старика Сундарева обидел... Золотой старик! Таких людей беречь надо, чтоб по двести лет жили. А мы им жизнь укорачиваем...
— Чем он тебе приглянулся? В колхоз и то не вписался...
— Доживете до ста лет, погляжу, какой из вас колхозник будет.
— На печке-то лежать не изробился...
— Зато внучка за двоих трудится,— нахмурился Сазонов.

— Это — работница! Тут уж ничего не скажешь. Федька мой давно облизывается, как кот на сметану... Кабы поумней был — снохой стать могла...

— Не в коня корм... Вы вот что, Михей Матвеич,— вдруг смутился Сазонов оттого, что приходится учить старшего.— Идите к Семену Саввичу и повинитесь: мол, Федор не со зла скандалил, пьяный был...

— Я уж винился.

— Лишний раз скажете, язык не отсохнет. Да и вам наука: держите сыновей в узде.

— Их удержишь!

— Передайте ему вот это,— Сазонов вручил Дугину трость.— От Федора, мол...

— Нет, Алеха! Не могу... Трость вон какая дорогая! Ее бы при царском режиме князья либо графья носили... А ты за так отдаешь...

— Не вам ведь, старику. А он мне подороже, чем графья или князья.

— Ну, Сазонов! — удивлялся Дугин, выходя из сельсовета.— Вот отчебучил! «Подороже, чем графья и князья...» Ну-ну! Знаем мы вас. Небось под Катьку полозья подкатывает! Неспроста же...

Подле Сундаревых, прислонившись к тыну, заглядывал в окна Митя Прошихин. Дугин подождал, что он будет делать, но Митя, как лягавая, сделал стойку и замер. Кто знает, сколько он еще простоит вот так! Михей ткнул его тростью.

— Тут без меня не выгорит, Алеха! Шибко много охотников!

— Не поддается она,— пожаловался Митя.— А мне бабу в дом надо.

— Я тебе то же толкую: сразу не выйдет.

— А когда? — с нетерпеливым отчаянием спрашивал Митя.— Ты скажи, когда?

— Ишо одно дело сделай — помогу.

— Не омманешь?

— Мое слово — олово.

— Ну, сказывай.

— Об этом на улице не договариваются. Придешь ко мне в сумерки — скажу.

— Приду... Необходимо приду.

Из сеней — слышно было — вышла Катя. Дугин открыл калитку.

— Это Сазонов велел передать,— сунул девушке трость и, не попрощавшись, вышел.

— Эй,— догнал его Митя.

— Чего тебе?

— Про амбары-то никто не знает?

— Пшел! — отпихнул его Дугин.

— А трость зачем подарил?

— Сазонова спроси.

Дома управлялась Шура. Она жила с матерью через два двора. Из всей живности была у них тощая, крикливая свинья, которая визжала целыми днями.

— Чего она орет у вас? — как-то полюбопытствовал Михей.

— Голодная, вот и орет,— заохала мать Шуры, нестарая еще, слепая женщина.

— Заколите. К чему животную мучить?

— Дак ведь сальца дождаться охота.

— Пущай Шурена прибежит, картошки дам,— минуту подумав, решил он.

Чтобы не бесплатно, подрядил племянницу полы мыть и еду готовить. И сразу донеслось до Сазонова. «Черт длинноухий! — ворчал про себя Дугин.— Все-то он разнюхает!» — и вдруг подавился тревожной догадкой: «Вдруг и обо мне что узнал?» Но, поразмыслив, решил, что ничего такого Сазонов узнать не мог. «А сам-то чист? — сердился Дугин.— Копну вот — и тоже под тебя подкопаюсь!»

Ему жилось спокойней и легче, когда он знал о других больше, чем они о нем. Так любому язык прищемить можно. Но Сазонова взять не так-то легко. А он может, и очень даже просто... Вдруг прослышит, как Михей братана своего, шуриного отца, кончил — пиши пропало. Хоть, если разобраться: кто тут виноват? Война... Не кончи братана, братан его кончил бы... Брат на брата восстал, сын на отца... Глядя на Шуру, Дугин вздыхал украдкой: осиротил девку. А вины не чувствовал: кто кого. Пуля не выбирает. Могла и в него попасть. Ладно, не сплошал.

Шура тоже была не проста. Ходила к дяде не ради заработка, хоть куль картошки или пуд муки в доме не лишни. Тая до поры свои рисковые планы, думала: «Обойду! Он хитер, а я — что? Ишо поглядим, кто проворней!» Но не ей водить за нос Дугина. Слишком велико было молодое нетерпение: сердце девичье присохло к Ефиму. Заметив это, Дугин всполошился.

— Ты случаем не ушиблась? Родня ведь мы!
— Отдай! Жить без него не могу!
— Ишо чего! И верно, что бабы власть почуяли...
Из горенки, от матери, весь в красных пятнах вышел Ефим: он слышал их разговор. Ноздри от гнева дергались. Глаза сузились в щелки.
— Чтоб духом твоим не пахло! Уматывай!
— А ты не ори! — осадил Дугин.— Пока я в доме хозяин. И будет по-моему. Сядь, Шурена, поговорим.
Ефим выбежал. О чем они говорили, он не знал, но с тех пор, встречая двоюродную сестру на улице, переходил на другую сторону.
Она же по-прежнему управлялась у них по хозяйству. Но чем ближе старалась быть к Ефиму, тем дальше он отходил.
— Будет мокро-то разводить! — урезонивал Дугин.— Терпи. Тут нахрапом не возьмешь.
— Я бы терпела, знать бы только...
— Один господь все знает. Но ежели меня не ослушаешься — будет по-нашему, оплетем дурачка...

Глава 14

С некоторых пор Иван Евграфович зачастил в сельсовет. Зашел однажды к Сазонову с какой-то просьбой и загляделся, как ловко орудует Варлам перочинным ножичком, вырезая по дереву. Оба понравились друг другу и многие часы теперь просиживали вместе, говоря о самом разном. Сазонов увидел вдруг этого молчаливого, рассеянного чудака совершенно иным и удивился ему. Учитель был из той породы людей, которые мягки в общении, незлобивы и неприметны, но в деле жизни своей — неуступчивы и тверды.
Не сразу признался Иван Евграфович, что несильною рукою своей замахнулся на русский язык. Многое в этой реформе было непонятно, но сам по себе замах был настолько неожиданным и дерзким, что уж одно это вызывало у Сазонова и зависть, и уважение.
— Я в вашей области мало смыслю,— боясь быть смешным, деликатно уклонялся он от обсуждения реформы.
— У Семена Саввича какое образование? — пробуя на ощупь Варламову резьбу, спросил учитель.

— Образование? Да он расписываться не умеет.

— И тем не менее у него есть свое мнение...

— Ну, мнение он вам по любому вопросу выскажет. Тут уж его хлебом не корми, только дай поговорить...

— Вы не правы. Он спорил со мной умно, как знаток.

— Ум у него ясный,— задумчиво кивнул Сазонов.— Родись он в других условиях — нам бы до него рукой не достать...

— И мыслит как! Философ... А ведь безграмотный.

— Сибирской выделки,— со скрытой гордостью сказал Сазонов.— Крепкие у нас люди, ядреные...

— Всякие встречаются.

Сазонов отложил свое художество в сторону, хотел что-то возразить, но в это время раздался выстрел, затем другой, третий...

— Стреляют. Где это?

— Идемте!

Над Заярьем всплыл набат, ударившись в стылые окна, расшевелил людей. Все бежали на выстрелы. Они доносились с фермы.

На крыше кошары без шапки метался Прошихин, распугивая выстрелами отчаянно блеющих овец.

— На овец охотишься? — спросил Пермин.

— С волками сражаюсь. Двадцать, а может, тридцать штук налетело... С десяток я перестрелял, остальные поубегали...

— Кончай войну! Боле ни одного волка нет! — хмуро проронил Евтропий.

— Кроме волков есть в кого палить...

— Слезайте! — приказал Сазонов и потянул за ствол Митиного ружья.

— Не тронь! А то и на тебя патрон найдется...

— Вы это всерьез?

— А ты что думал? Митя ишо покажет себя!

— Ну что ж, покажите! — Сазонов отпустил ружье. Митя чакнул затвором, вбил патрон и, слова не говоря, нажал на спусковой крючок. Подскочивший Евтропий успел отбить ствол в сторону. Грохнул выстрел. Сазонову обожгло щеку.

— Убить мог, дурак! — сказал Евтропий, сбрасывая ружье.

— Необходимо,— спокойно сказал Митя,— на то и война...

— Видел я твою войну! Половину овец перестрелял...

Сазонов молчком спустился вниз и вместе с Перминым прошел в пригон. Он казался спокойным. Лишь кожа на щеках стала меловой.

— Овцы-то почему в пригоне? — спросил он, делая вид, будто ничего не произошло.

— Загнать не успели,— следуя за ним, ответил Прошихин.— Один раз не загнали и, как назло,— волки. Сразу целая стая. Ладно, что ружьишко при мне было...

Овцы теснились по краям пригона. А в середине лежало два убитых волка и с десяток мертвых овец, из которых четырех, как выяснилось, застрелил Митя.

Посчитали — не хватало еще десяти.

— Остальные где? — спросил Пермин.

— Должно, волки утащшили,— разыскивая шапку, отвечал Митя.— Зверье, оно эть не шшитается: колхозное — неколхозное... Ему жрать надо...

— Отойдемте, Дмитрий! — сказал Сазонов.

— А что не отойти-то? Можно...

— Вы зачем стреляли в меня?

— А ты зачем лезешь, куда не надо?

— Куда именно?

— Сам соображай... Под шапкой-то поди мозги имеются...

— Это что — предупреждение?

— Да ну тя! — дурашливо улыбнулся Митя и стал искать шапку.

«Вот так! — подумал Сазонов.— Еще одно открытие!»

С крыши спустился Евтропий, глядевший до этого в сторону Пустынного.

— Не пойму я, Митрий,— сузив выцветшие глаза, заговорил он,— то ли волки овец уволокли, то ли овцы волков...

— Хто их знает,— продолжая искать шапку, бормотал Митя.— Вот она!

— Шапка-то почто посередь пригона? В волков бросал?

— Как я стражаться начал, она и свалилась...

— Не шапка, а мячик! Вон докуль докатилась,— усмехнулся Евтропий. Заметив, что к их разговору прислушивается Сазонов, вышел из пригона и направился в сторону Пустынного.

Перед утром выпал снежок. Прямо посвежу к озеру

вели овечьи следки. Их перечеркивали чьи-то подшитые кожей валенки.

«Хоть бы следы заметать научился».— Следы привели прямо к огороду Панфила Тарасова.

За завтраком Евтропий нетерпеливо поглядывал в окно, ожидая, когда в соседней ограде покажется Ворон, с которым давно уже не было мира.

— Ты чего озираешься? Ждешь кого? —наблюдая за ним, посмеивалась Агнея.

— Жду.— Он и в самом деле ждал.

Скоро из избы вышел Панфило, неся в ведре пойло для овец. Евтропий не одеваясь выскочил на крыльцо.

— Скотину поить? — вкрадчиво спросил.

— Обзавелся на свою голову, теперь знай разворачивайся...

— То, я слышу, овцы кричат... купил, что ли?

— Давно уж. Ты разве не знал?

— Я в чужих пригонах не шарюсь. Хороши овцы-то?

— Чего там? Мелкота.

— Покажи-ка. Может, и я штук пяток куплю. Сейчас корму нет.

— Погляди, погляди.

— Они,— заглянув в закут, узнал Евтропий.— Ну вот что, сосед, гони обратно! Овцы-то колхозные...

— Ты в своем уме? — замахал руками старик.— С какой, слышь, стати чужие овцы в моем пригоне окажутся? Мои это, бог свят, мои.

— Бога ты не боишься...

— Я перед ним не грешен.

— Видать, не слышит твой бог, как ты в глаза мне врешь. Может, сельсовет скорей услышит... Да что я тебе ишо хотел сказать? Ага... Вдругорядь красть будешь — следов не оставляй. А то прямо к дому ведут.

Старик понял, что запираться бессмысленно, и миролюбиво предложил:

— Давай, слышь, делиться! Но, чтоб по-божески, две тебе, три мне.

— Я ведь сказал: овцы колхозные...

— Не шебарши, Тропушко! К рукам льнет — бери. А колхоз от этого не обедняет.

— Выгоняй!

— А ты не ори, слышь! Теперь кто докажет, что мы не в сговоре!

Евтропий коротко тюкнул старика по длинному носу, дернул другой рукой за полушубок, с которого посыпались пуговицы.

Ворон рванулся и, не дожидаясь, что будет дальше, пустился наутек. За ним оставался кровяной следок и надрывный вопль: «Уби-ва-аают!»

Из конуры выскочила ростиком в рукавичку собачка и цапнула Евтропия за штанину.

Открыв ворота, Евтропий выпустил овец и собрался было пойти в Совет, чтобы признаться в содеянном, но передумал.

Глава 15

Вторую неделю Гордей работал один: Прокопий был на курсах. В углу, на скамеечке, прикорнул старик Сундарев. Он лукаво жмурился, поглядывая на задумавшегося кузнеца.

Уголь, трепыхая синими язычками, не разгорался. В руках, словно после изнурительной болезни, затаилась неуверенность. По привычке раскачивая мехи, кузнец не мигая глядел в горно, и даже не заметил, когда Логин раскинул на порожке свою холстинку. Ему отчаянно моргал из угла посмеивающийся дед Семен.

— Пасмурь тебя одолевает,— заметил он, отвлекая внимание кузнеца.— А ты ей не поддавайся. Смехом разгоняй.

— И рад бы, да не выходит,— пробормотал Гордей, вынимая из огня поковку. Ощутив в руках привычную тяжесть металла, ожил. Мышцы развеселились. В два голоса заговорили кувалда и наковальня.

Меж ними рождалось новое творение рук человеческих.

Логин лихорадочно спешил. Быстрые бледные руки метались по холсту, оставляя на нем оскольчатые мазки, спешили угнаться за кузнецом.

Эти руки тоже ликовали.

Отлетевшая окалина попала в Логина. Сермяга задымилась. Гордей учуял запах, остановился...

— Ныряй в бочку!— посоветовал дед Семен.

— Вот язви его! — изумленно перевел дух кузнец.— Хоть бы упредил, что малевать будешь! Я бы приоделся. В грязном-то неславно...

— Самое это! Ты не гляди на меня! У тебя свое дело, у меня — свое. Друг дружке мешать не станем.

— А меня рисовать не хочешь,— попенял дед Семен.

— Тебя рисовать непросто,— сказал Гордей, шевеля угли.— Старое дерево огню и то не под силу. Верно, Логин?

Логин не слышал.

Тихий, со странностями, он так ловко и незаметно подкрадывался, что кузнец часто и не догадывался о его присутствии. Сперва сердился, потом привык, смирился: «Пущай мажет. Что с него взять!» — думал он, искоса поглядывая на увлекшегося Логина.

Очень уж хорош бывал в такие минуты рисовальщик. На диво большие зеленые глаза светились мягко и вдохновенно. На лице пламенели оранжевые блики. Серебряной мушкой летала по холсту кисточка. Шелковые волосы, тщательно расчесанные Варварой, легким облачком клубились при каждом движении.

Логина самого хотелось рисовать. Но кузнец владел только железом...

Его искренне трогала привязанность этого бесхитростного, кроткого существа, сторонившегося людей. И люди поначалу сторонились Логина... «Обличье в ем сатанинское!» — суеверно крестился Тарасов, боясь его больших завораживающих глаз. Логин не обращал внимания на шепотки и насмешки. И скоро к нему привыкли. В этой привычке проглядывало теперь и скрытое уважение.

Взгляд Логина был настолько отрешен и светел, что кузнец невольно отвернулся, будто подсмотрел нечто запретное.

Уловив смену настроений, Логин спросил:

— Сердишься, что ли? Сам же дозволил...

— Да уж рисуй!

— Теперь не получится,— виновато развел руками Логин.— Смущение в тебе... Нутра не распознают...

— Будто и на тряпице можно человеческое нутро показать?

— А как же! — раздался с порога голос Сазонова.— На то он и живописец, чтобы видеть все тайное и явное в человеке.

— Можно,— потянув к себе холст, который внимательно рассматривал Сазонов, отвечал Логин.— Ты только привыкни ко мне...

— Еще минутку,— попросил Сазонов, вглядываясь в портрет.— Он у вас сомневается в чем-то... Глаза спрашивают...

— Стало быть, неясности имеются,— бросил из угла старик. Сазонов поморщился точно от зубной боли, молча передал холст художнику.

— Учиться вам надо!

— Я и так учусь.

— Где?

— В лесу, в поле — везде...

— Природа — мудрый учитель, не спорю. Но и у опытного мастера поучиться не лишне.

— Я ему то же толкую,— поддержал дед Семен.

Логин спрятал кисть в прогоревший рукав, свернул холст трубкой.

— Опять сермягу спалил! Задаст тебе Варвара!

— Не задаст,— тихо рассмеялся Логин.— Она добрая.

— К доброму — добрая, ко злому — зла...

— Это уж точно, притворяться не умеет. Всякому в глаза выскажет.

— А со мной тиха...

— Стало быть, в страхе держишь,— посмеивался старик. Сазонов вторил ему.

Горка поковок — боронных зубьев — росла.

— Рано о посевной думаете,— указал на поковки Сазонов.

— Готовь сани летом...— отвечал за кузнеца старик.

И снова устанавливалось молчание. Каждый думал о своем. Думалось в кузнице хорошо, свободно, потаенно. Одна кувалда не таила своих мыслей, доверительно выстукивая о житье-бытье. Негромко и коротко: дук-дук-дук... Громче и длиннее: дам-дам-дам. Дук-дам, дук-дам...

К Сазонову привыкли в Заярье. Он легко сходился с людьми. Может быть, оттого, что крылось в нем неброское мудрое спокойствие и необидная доброжелательная насмешливость. Они и примагничивали колхозников, приотворяя скрипящие створки их душ. Варлам чуждался прилипчивости, не навязывался с разговорами. А люди шли к нему, не боясь редкого в этих местах интеллигентного «вы». При нем говорили все, считая своим.

Бывший председатель Камчук каждого звал на «ты» и при встрече первый тянул руку, но это ничуть не приближало его к людям. На «здорово», сказанное не от ду-

ши, они не клевали, потому что были не столь просты, как могло показаться человеку наивному. Им было безразлично, как их называют (хоть горшком назови, только в печь не ставь). Гораздо важнее — как понимают. Сазонов понимал...

— Не тесно вам здесь, Гордей Максимыч? — спросил он, когда кузнец, зачерпнув из бочонка ледяной воды, стал пить.

— Дед ковал — не было тесно. Отец — тот прямо в кузнице помер. Чем я лучше? — выплескивая из ковша остатки воды, пожал плечами Гордей.

— Дед о паровике не слыхивал, отец на ем в Омск на ярманку ездил,— возразил дед Семен.— Да и ты пашенку на лошадке пахал, а сын на тракторе метит...

— Жизнь на месте не топчется,— кивнув стихийному диалектику, продолжал Сазонов.— И вам пора сдвинуться...

— Пермин давно двигает, да не по зубам. Корни здесь пущены.

— Одной обидой жить невозможно. И не в вашем это характере.

— К чему ведешь, Варлам Семенович? — насторожился кузнец.

— В конечном счете к хорошей жизни.

— По гвоздям ведешь. Ноги в сукровице.

— Он хотел по коврикам шагать, а, Семен Саввич? — но старик сразу насупился, не отозвался, и Сазонов посерьезнел.— Не надо всех по Пермину мерить. Из него еще куется коммунист, как вот из этого куска зуб...

— Неготовый зуб в борону не ставят...

— А если их мало, зубьев-то? — проем двери закрыла чья-то тень. Сазонов недовольно обернулся.

— Тебя ищу,— заглядывая внутрь, проворчал Пермин.— Всю деревню обегал. Пошли в Совет, дело есть.

— Здесь свои — говорите.

— Какие уж свои...— возразил Ямин.— Один единоличник, другой того хуже — подкулачник.

— Ты бы не лез на рога-то,— встал против него Пермин, маленький, ершистый, выставив вперед сухое плечо.— Боднуть могу.

— Береги рог-от. Без его ни одна баба не подпустит, — съязвил дед Семен.

— Что там у вас? — нетерпеливо спросил Сазонов.

— Насчет овец... Все ишо не нашлись...
— Ну так ищите. Это ваша забота.
— Я, что ли, за всех отдуваться должен? — огрызнулся Пермин.
— Ну, если толку нет,— с ними вот советуйтесь.
— Путное что-нибудь скажи! — насупился Пермин.
Сазонов, будто это и впрямь его не касалось, закурил и весь ушел в это занятие.
— Гепеу с собаками затребуй! — донимал старик. Ямин снова стучал кувалдой, мешая разговору, который от этого казался зряшным, несерьезным.
— Вы с Евтропием не беседовали? — спросил Сазонов.— Поговорите. Он, кажется, что-то знает...
— Дак ведь он родня подкулачника...
— А идите вы!..— вспыхнул Пермин, но сердиться почему-то раздумал.— Все хиханьки да хаханьки! А мне что — каждого за горло хватать?
— Можно за горло, а можно и — в холодную... Дело привычное,— намекнул Ямин.
— Во-во,— поддержал дед Семен.— Одно худо: я сухарей не насушил.
— Без сухарей нынче нельзя... У меня всегда наготове,— горько усмехнулся Ямин.
— Это куда же годится? — делая усилие, чтобы не взорваться, говорил Пермин.— Колхозники воруют, председатель пьет,— отчаянно говорил он.
— Беда! — посочувствовал старик.— Один выход: колхоз распустить.
— Ты, старый хрен, не подковыривай! Иные, может, этого и ждут не дождутся!
— Соберите правление — все обсудим,— сказал Сазонов.— И... председателю поможем.
— Ему одна помощь — гнать! Сколь будем нянчиться?
— Пока на ноги не поставим.
— Опять загулял... потерялся где-то...
— Это мы его потеряли! Прохлопали ушами. Давайте исправлять положение. Может, есть смысл дать ему помощника покрепче?
— Грехи прикрыть?
— У вас одна песня,— отмахнулся Сазонов и, оглядев кузницу, снова сказал: — Тесновато у вас, Гордей Максимыч, тесновато! Вам бы попросторнее куда! — и вышел. Вышел и Пермин.

— Жди перемен, Гордей! Мост на сваях держится,— сказал Семен Саввич.

* * *

Гордея разбудил скрип половиц. Кто-то ходил по избе. Когда сам был дома, дом не запирался. Если и запирался, то не от воров, а чтобы сон не тревожили. Дом старый, щелястый, скрипучий. Надо бы перебрать, но руки не доходят. Перебирать — значит, покупать и бревна, и тес, а купило-то притупило. Посоветовавшись с женой, Гордей решил обождать год-два, потом призанять деньжонок да переставить заново.

— Ты, что ли, Евтропий? — спросил он, зная, что свояк любит вставать до свету и, тихонько войдя, погалиться над сонными:

— Здорово ночевали! — с напряженной хрипотцой проговорил кто-то из темноты.

Ямин поднялся, зажег лампу. Разглядев вошедшего, неприязненно протянул:

— Вон тут кто!

Стараясь не замечать неприветливых лиц хозяев, Пермин совестливо хмыкнул:

— Не ждали?

— И наперед ждать не будем,— хмуро отозвалась Александра и отвернулась к стене.

— Зачем пожаловал?

— Давай мириться, Гордей! Дружками ведь были когда-то!

— Вот она где, твоя дружба! — Ямин ударил себя ребром ладони по шее.— Зачем пришел?

— Значит, все ишо злишься? — Сидор без приглашения сел на скамью: видать, заглянул не на минутку.— По всем правилам ты и должен злиться. Хоть говорят: тело заплывчиво, а дело забывчиво...

— Прикрой свои бесстыжие! — потребовала Александра.— Встать хочу.

Отворотясь, Пермин продолжал:

— Кабы в обратную сторону жить можно было, той дурости не допустил бы. Теперь локти кусаю...

— Каяться пришел?

— Хватилась кума, когда ночь пришла,— проходя мимо гостя, плеснула ненавистью Александра. Сидор взглянул на нее: в глазах — стынь, тронь — заморозит.

— Сколько лютости живет в людях! — удивленно произнес он, забыв, что сам и был причиной этой лютости.— Облепило нас распаршивое старье лишаями своими!

— Не умствуй, Пермин! — повысил голос Ямин.— Ты все одно не агитатор, а выгребало.

Меж пальцев Пермина из «козьей ноги» сыпалась махра.

— Этого не вычеркнешь,— прикурив и глубоко затянувшись, согласился он.— Темный был... Ежели сказать по совести, я и в партию с нечистым сердцем вступил. Власти хотел. Думал, подомну всех, кто супротив меня... Не подмял, один остался... Тоскливо! Ты пойми это... Ямин! Не тот уж я! Совсем не тот!..

Александра гремела поленьями, забрасывая их на деревянной лопате в печь. На полатях спокойно посапывала Фешка. Слышно было, как около нее мурлыкал пригревшийся кот.

— Ты перед властями исповедуйся! — непримиримо твердил Ямин.— Мне твоя исповедь без дела...

— Власти до времени туманить можно. Себя не затуманишь, — жалко улыбнулся Пермин.— И людей тоже... Люди все видят.

— А ты хотел, чтобы на твои пакости глаза закрыли?

— Поди, хватит уж? А? Ты помог изувечить меня, я тебе насолил по неразвитости... А ведь богаче мы не стали...

Он помолчал, щепотью сохнущей руки сжал до хруста окурок и сунул его в карман. Бледная, досиза выбритая щека задергалась. Над ней бессильно и сиротливо висла жидкая взмокшая прядь. Колени отбивали частую дробь. Отставив лопату, Александра поднесла ему воды. Пермин благодарно кивнул, беря кружку. Вода текла по острому кадыку за ворот.

— Не бойся, Сана! Не припадошный я. Нервы от переживаний зашлись и царапаются друг о дружку. Да пустяковина все это! Ты, Гордей, можешь до самой смерти гневаться. А я выдохся... И приходил я не каяться... Служба привела: велено звать тебя на правление.

— Это меня не касаемо.

— Как раз тебя и касаемо. Так что будь всеобязательно! А ты, Сана... Да ты погоди ухватами греметь! Слово сказать хочу. Из-за тебя я много передумал. Так много, что больше уж некуда. Кабы не муки твои, я бы, может,

ишо год-два вызверялся на Гордея. А теперь все... Ну вот... с тем и до свиданьица!

— Неуж только за этим и приходил? — смущенная необычным разговором Пермина, спрашивала Александра. На всякий случай упредила мужа: — Ты остерегайся! От этого всего можно ждать...

Гордей отмалчивался.

Накинув зипун, отправился в кузницу.

Весь день был какой-то шальной.

Не успел дойти до моста — нос к носу столкнулся с Бурдаковым.

— Здорово живешь, кум! — прохрипел Илья.

— Доброго здоровья,— рассеянно кивнул Гордей, немало удивив Бурдакова. И прошел мимо, сам не заметив, что нарушил обет молчания.

Глава 16

В конюховке хоть топор вешай. Над столом склонились человек шесть заядлых игроков, двигавших по лотошным клеткам семечки, обрывки бумажек, пуговицы. Митя, рогатясь ухом шапки, остервенело грохотал фишками.

...— Девяносто лет — старый дед... У вдовы одиннадцать детишек... Тридцать три дыры в кармане... А-а, Ямин! Идет слух, будто воздвигают тебя?

— Теперь, слышь, токо бока подставляй! — вздохнул Ворон.— Заместо коренника потянешь...

— Вы о чем?

— Не знаешь? Ха, душа на костылях! Говорю — воздвигли! — пояснил Митя.— На самые верхи попер! А меня вот — не пущают...

— Отвяжись ты!

Из правления выглянул Пермин.

— Поднимайся! Все в сборе.

— Во! — ухмыльнулся Митя.— Возносись, человече! Хватит в нижних-то прозябать!

— Балаболка!

Идя по ступеням, Гордей сдерживал шаг, словно всходил на лобное место.

— Судьба играет с человеком,— услышал он дребезжащий тенорок Мити, вытащившего опять ту же фишку.— Тридцать три...

Не было одного Науменко.

— Без хозяина вроде и начинать неловко,— сказал Евтропий.

— Семеро одного не ждут.

— Хозяину-то опять вожжа под хвост попала,— поманив Сидора пальцем, сказала Фекла.

По улице расслабленной иноходью трусил Воронко. Подвернув к конторе, остановился, отряхивая с себя стылую пену. В кошевке спал Науменко.

Всю неделю он не подавал о себе вестей. То его видели в районе, то в соседних деревнях. И везде пьяным.

А Воронко или целыми днями простаивал в оглоблях, или мчался, куда его направляла нетвердая рука председателя.

— Вон ишо один из верхних! — Митя сгреб в мешок фишки, вышел в ограду.

Сверху спустились Гордей и Пермин.

— Какого коня угробил! — проведя по впалым, влажным бокам жеребца, вздохнул Панфило.

— Одно слово — совецки бояре! — в тон ему отозвался Митя.

— Это они с виду совецки! — осторожно кашлянул Дугин.— Поглубже копнись — те же... Один одного лучше! Тропушко вон заседает, а сам помаленьку тащит...

— Иди ты! — не поверил Митя.

— Овечьи-то следы от фермы к его дому вели... Ты разве не видал, Панфило Осипович?

— Как, слышь, не видать? Видал,— пробормотал Ворон, все ближе припадая к запотелому боку коня.

— Вот и мерекай,— кивнул Дугин; увидав Пермина, придумал заделье: — Стою с вами, а склады-то растворены! Может, иные того и ждут...

Гремя полупудовыми старинными замками, ухмылялся: «Вот так всех помаленьку... Чтоб не я один вымазан был... Потом разбирайся, кто чище...»

Из конного вышла Афанасея. В руках у нее увяз окованный жестью пристяжной валек.

— Пусти! — плечом отшвырнула Митю, размахнулась, но руку ее перехватил Ямин.

— Охолонь, дура! Из-за коня человека убьешь!

— Мне этот конь всех человеков дороже,— всхлипнула Афанасея, выпуская валек.

— Не причитай! Может, отводимся...

— Кончится,— она вытряхнула из кошевки что-то

бормотавшего Науменко, сунула его лицом в снег.— Раскрой гляделки, тать!

— Пусти! — приходя в сознание, потребовал Науменко.— Чего, как в мужа, вцепилась?

У ворот его вырвало.

— Правление, собралось, что ли? — спросил вытирая серые, потрескавшиеся губы.

Пересиливая отвращение, Ямин кивнул.

— Стыдишься меня, Гордей?

— Ты бы не ходил туда... К чему людей потешать?

— Скрывала баба грех, а он пузырем вверх,— чувствительно клюнул Ворон.

Науменко оглянулся, хотел что-то сказать, но, дернув себя за свалявшийся клок, свесившийся из-под кубанки, надсадно затопал сапогами по вышарканным ступеням.

— Ну, вот и я,— с развязностью человека, которому нечего терять, сказал он, в жалкой улыбке растягивая рот.

— Неужто? — усмехнулся Пермин.— А мы хотели, в пим нас... да за тобой послать... Погоди, за стол-то не мостись! Ишо не решено: сидеть ли тебе за им...

— Пока не решено — сидеть.

— Сказано: не мостись!

— Оставьте! — приподняв опущенные веки, приглушенно сказал Сазонов.

— Что с им делать будем? — испытывая неловкую жалость, спросил Пермин.

— Пущай за жеребца расплачивается,— хмуро сказал Евтропий.

— Это само собой,— не зная, с чего начать разговор, двигал желваками Пермин.— Да разве в этом закорюка? Он же, сукин сын, на все правление пятно посадил!

— Остатнюю совесть вином залил,— вставила Фекла.

Сазонов выстукивал козанками пальцев по краешку стола какой-то марш. Веки медленно шевелились вверх-вниз, вверх-вниз...

— Твое мнение какое, Гордей? — спросил Пермин.

— Нет у меня мнения. Я не правленец...

— Тебя по-людски спрашивают, дак мирошкой не прикидывайся!

— Довольно! — поднялся Сазонов. В нужные минуты голос его твердел. Пройдясь из угла в угол, остановился против Науменко.

— Как же это вы, Григорий Иванович?

— Тяжко! — Науменко зажал в ладонях опухшее, страшное лицо.— Тяжко!

— У каждого из нас свои заботы, свои печали...— тихо говорил Сазонов.— Что ж теперь — всем запивать? Коммунисты мы... Нельзя нам раскисать! Никак нельзя!

— Судите! Один конец! — подняв срамную тяжелую голову, выдавил Науменко. Если бы он способен был примечать, то увидел бы на холодном строгом лице Сазонова неожиданное сочувствие.

— Вон сколь горя Афанаске доставил! Как над дитенком скорбит! — указал за окно Евтропий.

Правленцы подошли к окну. Афанасея что-то наговаривала коню. Он печально моргал затекшими кровью глазами, осев на передок. Его выпрягли, поддерживая с боков, повели к конюшне.

— Гляди и казнись, Григорий! — сурово сказал Пермин. В эту минуту он ощутил вдруг, что слова его стали весомее и что говорит он не свое личное, как делал до сих пор, а нечто более значительное, и ему стало и страшно и хорошо. Пожалев Науменко, он решил в уме, что жалость тут неуместна и что, как сказал Сазонов, председателю надо помочь. Он еще не знал, как и чем поможет, но верил, что сумеет это сделать.— Теперь ты знаешь себе цену... Гляди и казнись,— повторил он.

Гирями придавливали взгляды правленцев. Науменко навис над полом изломанным треугольником спины, лишь чудом держась на краешке табурета.

— Выйдите пока,— давая ему передышку, сказал Сазонов.— Понадобитесь — вызовем.

Постаревший, жалкий, с испитым, серым лицом, Науменко медленно вышел, едва волоча ноги в потускневших хромовых сапогах.

— Не круто? — спросил Евтропий.— Сломаться может...

— Не кисейная барышня...

За дверью загремело.

Науменко изменили силы. Неосторожно ступив, он покатился вниз, стучась головой о ступени.

— Ой, батюшки! — вскрикнула Агнея, пропихиваясь в правление.— Убился!

Около разбившегося в кровь Науменко хлопотали колхозники.

— Снесите наверх! — велел Пермин.— Воды, Агнея!

Правление не состоялось.

Ямин запряг лошадь, чтобы отвезти председателя домой.

— Мне туда путь заказан,— замотал головой Науменко.

«Час от часу не легче»,— вздохнул Гордей и повез его к себе.

Затемно расходились правленцы.

С озера Пустынного, из-за Одины, наскакивал ветер, словно брал разбег, чтобы сдвинуть круглую ковригу луны. Она насмешливо поглядывала вниз на суету сует, желтея тугим зобастым ликом. Изредка падали звезды.

— Шалит боженька, блох за воротник кладет,— сказал Евтропий. Ему было с Сазоновым по пути.— А блохи-то золотые... Люди увидят — подберут. Ему и потеха...

— Вы верите в бога? — спросил Сазонов.

— Без штанов бегал — верил. А теперь и без него много путаницы.

— А я и в детстве не верил... Зато мать молитв не жалела... Ну и вымолила себе милость — помереть под забором... За одно это я бы трижды его распнул...

— В кого же теперь верить?

— В человека. Это всего верней...

— Человеки-то разные бывают... Добрые и злые...

— Верх возьмут добрые... Это неизбежно!

— Тяжелая она, доброта-то! Наверху ее не удержишь... Выпустишь — опять зло останется...

— Держать крепче надо.

— Легко сказать...

— Боитесь?

— Не то чтобы боюсь, а сомневаюсь...

— Я и сам не все на слово принимаю... Но путь наш верный, Евтропий Маркович! Да и другого еще никто не указал.

«Проговорился! — удивился про себя Евтропий.— Устал, видно». У него защемило внутри от жалости к этому светлому, непристроенному человеку. Уживчивый, легкий на слово, но скрытный, он вдруг приоткрыл краешек своей души, в которой затаилась бесслезная, сухая до хруста на зубах грусть. Душа его, как и узкий прищур глаз, распахивалась редко...

— Мудришь ты шибко, Варлам Семенович! Живи, как все!

— А все мудрят... Никто просто не живет. Одни только подлецы все упрощают...

— Ну, не знаю.

Снег холодно и резко скрипел.

Мороз рвал за уши, щипал за щеки.

Луна медленно взбиралась наверх.

Глава 17

Вот уж который вечер Пермин сидит у Бурдакова, убеждая его пойти к Ямину и помириться.

— Не пойду! — бухает Илья и трясет косматущей головой.— Хоть режь — не пойду.

— А по другим делам хаживал! — сердится Сидор и ядовито улыбается.— Помнишь, как в амбарах шарились?

— Ты хоть золу-то не вороши!

— Как скирду поджигал, помнишь? — глубже впивает жало Пермин.

— Злыдень ты, право злыдень! — гневно вздыхает Илья, но и гнев в нем глух, придавлен.

— Ежели по совести говорить, я тоже причастен... Но я повинился. Теперь твой черед.

— Я перед им от стыда сгорю! Да и ни к чему это. Мне уж недолго осталось. Давно бы загнулся, кабы не детишки.

— Дело это политическое,— не отступал Сидор.— Ради такого дела приходится ломать себя, хоть и больно... Ну, дали мы с тобой промашку, боле не дадим — ученые... Верно говорю? Иначе нельзя. Правду надо выволакивать из грязи, Илюха! Правда должна быть чистой.

— Дай ты мне умереть спокойно! Ямин и без этого покаяния проживет.

— Проживет, конечно. А тебе самому разве ловко с таким камнем на сердце?

— Отцепись!

— Сходи, Илья! А то совесть замучит... По себе знаю...

Только теперь Сидор понял, как трудна его должность. К каждому лазейка нужна. Но где ее отыскать? К одному Евтропию и то ключик не подберешь: с загадом замочек! А сколько их таких замочков-то!..

И все-таки разговор с Евтропием был необходим. Но Пермин откладывал его: трусил ли, стыдился ли...

С другими проще: где прикрикнешь, где шуткой достанешь... Здесь такая тактика не годилась. Евтропий мужик тонкий. Хитрить с ним бесполезно: сразу подкусит. А правду сказать — вдруг она обернется неправдой?

Это и смущало.

— Кобелька-то купил Ворону? — издалека начал Сидор.

— Продаешь, что ли? — усмехнулся Евтропий.

— К слову пришлось,— насупился Пермин и, отбросив прочь дипломатию, привычно рубанул:

— Давай в открытую! Люди судачат, будто ты на колхозное позарился... Верно — нет?

— Кто говорит, тот знает,— Евтропий до хруста сжал зубы, чуть заметно побледнел.

— А зачем брал?

— Зачем другие берут?

— Другие — не члены правления... Ты и до колхоза к чужому охоч был?

— Грешен. Бабка у меня прижимистая была... А я мед любил... Бывало, подкрадусь к горшку, да ложкой, да ложкой...

— Ну а после?

— И после так же,— все еще не теряя терпения, отвечал Коркин.— Раз колхозных коней цыганам сбыл, а другой Мите Прошихину шесть десятин лесу в карты проиграл...

— А овечек... овечек почем сбыл? — задыхаясь, спрашивал Пермин.

В иное время он бы вскочил, встряхнул Евтропия за грудки от имени власти, но сейчас пытал спокойно, лишь нога подрагивала да из прикуса на губе — капелька крови.

— Пустое дело! — беспечно отмахнулся Евтропий.— Хотел бабу одеть... Да ее разве оденешь! На одну ляжку мануфактуры хватило... На две — хоть весь колхоз распродавай... А ты к чему интересуешься? Я в долю не беру...

— Измываться?

— У тебя плечо-то болит? — полюбопытствовал Евтропий.

Пермин недоуменно наморщил лоб: к чему это?

— А к тому,— пояснил Коркин,— ежели с крыльца загремишь — не ушибешься?
— Тебе какая забота? — совсем уж нелепо спросил Пермин.
— А кому заботиться о тебе?! Бабы нет, друзей не нажил...
— Верно говоришь,— кивнул Пермин и невольно улыбнулся: ясно, что Коркин не виноват. Жулики так не разговаривают. Да и сроду это не водилось за ним.— Ты не обиделся, Евтропий? Не обидься, я сгоряча...
— Агнея, собери-ка на стол! — велел Коркин.— Гость ведь...
— Этот гость как ржавый гвоздь, токо выбросить некому. За наш хлеб нас же отлает... Не будет ему привета...
— Кто тебе сказывал-то?
— Слышал я, как Дугин Мите шептал...
— А-а, эти сами не промахнутся.
— Нашел кому верить! — вставила Агнея.
Евтропию надоело слушать воркотню жены.
— Помолчи, Агнея!
— Ты пойми, Агнея,— говорил Пермин.— Колхоз по крохам собирали, растаскивают — возами. Разве не обидно?
— А вы ушами хлопаете...
— Может, и хорошо, что один живешь,— с хитрецой задумался Евтропий.— С бабой, как с норовливой кобылой: ни вожжами ее, ни плетью не уймешь.
— Я тебе такую плеть покажу!
— Ну вот,— призывая Сидора в свидетели, кротко вздохнул Евтропий,— видишь, как маюсь? Вдовому-то куда легче! О-ох! — застонал он от ядреного подзатыльника жены.— Оконфузила!
— Ты скорей оконфузишь.
— Видал? Слова молвить не дает,— страдальчески сморщился Евтропий и ободрил гостя.— Ты жуй, не сумлевайся: не колхозное ешь.
Сидор поперхнулся.
— Одно непонятно: какой резон Дугину напраслину возводить?
— Стало быть, есть резон. Непростой он человек, сразу не разгадаешь...
— Но кто все-таки?

— У сторожа спрашивай... Он куда смотрел?

— Я так думаю, что Митя сам приложился, но ведь не один же он угнал столько...

— Без помощников не обошлось.

— Вот я и хочу знать, кто они?

— Спроси что полегче,— Евтропий упорно умалчивал о своем соседе.

— Благодарствую,— отодвинул чашку Пермин.— Сытно кормите.

— Дешево достается,— кольнула Агнея.

Накинув полушубок, Сидор сбежал с крыльца и направился к озеру, на берегу которого приютился аккуратный когда-то, теперь жалкий и ободранный домишко Прошихина. Прямо через сорванную крышу амбарушки сметаны копны две сена. Забор истоплен на дрова. Крыльцо иструхло, скособочилось. Из трех ступенек две сорваны.

Митя готовился к вечеру, проклеивая картошкой свежую колоду карт, разрисованных Логиным.

— Обновим? — предложил он и лишь после этого ответил на приветствие.— Здоров будешь.

Распушив карты, Пермин без обиняков спросил:

— Сколь овечек угнал?

Митя, если его уличали, не запирался.

— Четыре, нет... однако, пять.

— Раз, раз, раз,— до пяти со свистом начал охаживать его по щекам Пермин. Карты рассыпались.

— Больно же! — Митя пятился к порогу, в глазах недоумение: из-за чего?

Он не считал воровство пороком и ни от кого не скрывал, что ворует. Для него это было не средством к существованию, а скорее — искусством. Правда, художником он был посредственным, зато не знающим устали. Случалось, встретив на улице жертву своего набега, Митя предупреждал:

— Я, понимаешь, дюжину гнезд у тебя подкопал... Добра картошечка! Необходимо ишо разок наведаюсь! — и наведывался.

Его не раз бивали за это. Фатеев, застав в своем курятнике, приподнял и метров с двух посадил на краденые куриные яйца. Продышавшись, Митя встал и через всю деревню ковылял с вымазанным в желтке задом.

Свои малые проделки он не скрывал.

Если у кого-то что-то терялось — шли к Мите. И находили у него. Он без смущения возвращал и похваливал взятое.

Воровал, точно напрокат брал.

Фекла, живя с ним, пыталась держать его в узде. Но отчаялась и ушла, так и не поняв: глупость это или хитрость.

Больше всего ее удручала непосредственность мужа.

— Фекла, стерва, сегодня опять с уполномоченным спала,— принародно жаловался Митя.

Это было нестерпимо.

— Вот и обновили! — расстроился Митя, собирая карты.

Он-то воображал, что все будет обставлено торжественно: придет в конюховку, важно достанет колоду и небрежно предложит сыграть в очко. В такие карты хоть кто не откажется. Самоделки, а рисовал сам Логин.

Было у них и еще одно, но скрытое достоинство: все мечены.

— Корма у тебя две копешки... Кормить нечем, стало быть, и гнал зря,— говорил Пермин.

— Люди овец держат, и мне охота.

— А кто остальных угнал?

— Не ведаю. Я две ночи хворал, на дежурство не выходил... Не сплошал кто-то...

— Найдем. А ты немедля гони обратно!

— А я их продал...

— Кому? За сколько?

— Двух Афанасее за козлуху, трех Ворону за кросна...

Пермин совсем отошел и негромко смеялся над простодушием Прошихина.

— Ну, козу, ту доить можно... А кросна — зачем?

— Женюсь — баба половики ткать будет. Как же без кросен?

— Да кто за тебя пойдет? Сам подумай: ляжет с тобой жена одетая, а проснется голяком...

— У жены воровать не стану.

— Не зарекайся! Душа не вытерпит.

— Да я знаешь какой карахтерный? У невесты и дом растворен и погреб без замка... А я что есть соринки не взял...

— У кого это?

— У Екатерины Сундаревой...

— А ты это... в себе?
— Не пара, что ли?
— Пара хоть куда! Она согласна?
— Ишо не сватал...
— Ну, сватай, не откладывай. А пока иди за овцами и чтоб через час были на ферме.
Вечером Пермин опять заглянул к Бурдакову.
— Тише! — просипел Илья.— Ребенок кончается.
Пермина словно ледяной водой окатили. Этот негромкий, со всем примирившийся голос кидал в дрожь.
Девятилетний сынишка Бурдакова давно и незаметно угасал. Все свыклись с мыслью, что Пашка не жилец. И сам мальчик знал об этом и готов был умереть. Изредка он чуть слышно, тоненьким слабым голоском просил то воды, то хлебный мякиш; корку жевать не мог.
— Может, выживет? — прошептал Пермин.— Не первый раз...
Ближе к ночи Пашка затих.
— Помер,— вздохнул Илья.
Но мальчик спал.
— Не я ли говорил,— прислушиваясь к слабому дыханию ребенка, ликовал Пермин.— Парень нас с тобой переживет...
— Шел бы ты домой,— сквозь дрему советовал Илья. Он смертельно устал.
— А мне поболтать охота, молодость вспомнить...— некстати разговорился Пермин.— Много мы с тобой в молодости выкомаривали!.. Сколь голов испробито, сколь скирд спалено.
— Изводить пришел? — Илья поднялся сперва на карачки, с карачек во всю вышину и, прижав подбородок к груди, страшный, измотанный разбуженным шатуном, двинулся на Пермина.— Сам же подбил меня!
— Что ты, что ты, Илюха! — отступал Сидор. Страха не было. Но было стыдно за себя и жалко этого изнемогшего, на все готового человека.— Я насчет Ямина приходил...
— Пить! — пискнул с кровати парнишка.
— У-ух,— выдохнул Илья и сразу стал плоским, словно только этим зарядом воздуха и держался.
Пермин опрометью кинулся на улицу.
В кладовке у него стоял распочатый мешок ржаной муки. Отсыпав из него в ведро, вернулся к Илье.

Бурдаков, видно, не ждал его и припер ворота стежком.

Пермин постучал — не отзывались. Он снова заторкал в ворота, чуя, что за ними стоит Илья.

— Открой! Муки принес...

— От тебя не возьму,— Илья покрепче припер ворота и сказал: — Больше не приходи.

Глава 18

Однажды Прокопий привез на конный двор сено. Ворота открыл Дугин.

— Тебе помогчи?

— Сам справлюсь.

— Сам-от из тебя хреновый, Алеха: Катюньку вот проворонил.

Молчком ссадив воз, Прокопий выпряг лошадь.

Дугин поджидал его подле конюховки.

— На свадьбу тебя не приглашали? — вкрадчиво спросил он.

— К кому?

— Говорят, Катюнька за Варлама выходит. Может, и врут. Кто их поймет нонешних-то? И замужем не бывала, а девкой не назовешь. Вечор я их в самую пору в Совете застукал. Председатель свое не упущает.

Прокопий, ничего не ответив, выскочил из ограды.

— Сомневаешься — покарауль возле ворот! — крикнул вдогон Дугин.

И верилось и не верилось.

Не могла Катерина обмануть.

С другой стороны, Дугину-то какой резон напраслину возводить.

Взяв ружье, Прокопий допоздна метался в бору. Мимо него петляли зайцы, протопал сохатый — ружье молчало.

Под вечер ноги сами привели к дому деда Семена. В пригоне рыпнули воротца: должно быть, Катя вышла управляться.

— Здравствуйте! — услышал Прокопий ненавистно-вежливый голос.— Семен Саввич дома?

— Дома.

— Если зайду в гости — не поздно?

— Заходите. Гостям всегда рады.

Но едва Сазонов перешагнул подворотню, что-то тупо ударило в затылок. Стало темно.

Девушка выбежала на шум.

— За что ты его? — с брезгливой жалостью спросила. Поняв, оскорбилась:

— Ты и меня за одно стукни...

— Рук марать не хочу! — хрипло сказал Прокопий и зашагал прочь, надсадно опираясь на ружье...

С той стороны, куда он ушел, раздался выстрел. Катя бросилась на звук, но не нашла ни живого, ни мертвого. Она еще долго бегала и звала. Никто не откликался. Возле подворотни лежал Сазонов.

Заведя его в дом, опять побежала на поиски. Деревня глухо, затаенно молчала. Лишь окна учительницы светились ярко и вызывающе.

Заглянув к ней, девушка увидела Прокопия, разбивающего прикладом стул. Когда стул разлетелся, учительница, смеясь, подставила другой, затем третий.

— Отошло? — спросила.— Присядь.

Сама расстегнула на нем полушубок. Перехватив ее руки, Прокопий слепо ткнулся в них разгоряченным лбом, затряс головой.

— Это пройдет, Проня! Не расстраивайся, пройдет!

— Вы же ничего не знаете! — буркнул он, уклоняясь от ее поглаживаний, как повзрослевший ребенок, которому и стыдно и приятно, что мать целует его при всех.

— Знаю, Проня... Догадаться нехитро: любишь...

— Вас... вас люблю! — крикнул он, разводя в сторону ее руки.

Они безвольно опустились, потом вспорхнули и легли на его плечи.

Катя отпрянула от окна.

...Из переулка поднимались на пригорок перевязанный Сазонов и Иван Евграфович. Спрятавшись за угол, Прокопий переждал, когда они пройдут, и рысцой пустился вниз.

«Знает или не знает? — думал про Сазонова.— Наверно, не сказала. А если и сказала — отсижу, сколько дадут. Мария дождется...»

— Нагулялся, дак ешь садись,— хмуро велела Александра, но ни о чем не спросила.

— Тятя где?

— В кузнице. Где ему быть.

Стыдясь матери, Прокопий торопливо проглотил завтрак и отправился в Бузинку.

Глава 19

Не первый раз Прокопий тайком приходит в Заярье и, не показываясь родным, возвращается в Бузинку, где учится на курсах трактористов.

— Чудо мое! — лепечет женщина, не зная как и куда усадить его. Незадолго перед этим она разглядывала себя в зеркале. В пепле волос — серебряные нити, страшные вестницы быстротекущего времени. Тем бесценней каждый миг теперь.

— Чудо! — плавясь в жарких объятиях парня, Мария чуть слышно шепчет ему самое заветное...

Все на свете забыто. Зеркало задернуто занавеской.

Это — кратковременный сон, блаженное опьянение.

Это — сладкая томительная мука.

— Люблю! Люблю! Люблю! — кричит женщина.

— Ты с кем, Мария? — вдруг раздается из темноты знакомый, почти забытый голос. Дверь второпях забыли закрыть.— Я за бельем пришел.

Науменко привычно находит лампу, чиркает спичкой. Лучше бы он не делал этого!

— А-а,— осветив лежащих, спокойно говорит он.— Скоро утешилась...

Мария стыдливо прячется под одеяло.

Прокопий хмуро сжимает кулаки. Но он бессилен, прикован к кровати: его держат горячие, взволнованные руки.

«Вот плесну в них керосином...» — на мгновение проносится в голове Науменко.

Спичка, догорая, жжет ему пальцы. Он не чувствует.

— Я люблю его,— наконец опомнившись, говорит Мария. В ней борются страсть и жалость.

— Ты и мне это говорила,— презрительно кривит рот Науменко.— И третьему скажешь, и четвертому...

— Третьего не будет.

— Дай встать, Григорий Иванович,— дрожа от ярости и унижения, просит Прокопий.

— Лежи,— равнодушно произносит Науменко и шарит в сундуке, на дне которого сложено его белье.

Свернув тряпье в комок, осторожно прикрыл крышку, будто боялся потревожить обитателей бывшего своего дома.

— Обокрал ты меня, Проня. Убить бы тебя... Но сперва ее...— Он наотмашь ударил узлом жену. Одолев стыд, Прокопий вскочил и, прикрывшись одеялом, бросился к нему.

— Лежи, а то постель остынет,— толкнул его Науменко и вышел.

Ему было больно. Хотелось скрыться — умереть ли, заново ли родиться, чтобы не видеть, как эти двое бесстыдно, нетерпеливо тянутся друг к другу.

А они словно потеряли что-то.

Мария тихо плакала, стоя в углу.

Прокопий медленно одевался. Он не понимал, отчего вдруг стало больно внутри, в недобром предчувствии заныло сердце.

— Не уходи,— попросила Мария.

— Скоро рассветает.

— Не уходи!

— Я вечером опять приду.

— Совсем?

— Ты испужалась... за меня испужалась... Зачем держала? Я бы мог...

— Его нельзя бить. Он и так битый.

— Как я теперь ему в глаза посмотрю!

— Так же, как и мне. Ты ни в чем не виноват. Это я...

— Он видел меня голым.

— Давай уедем отсюда!

— Мне осенью в армию.

— Я пошутила,— улыбнулась Мария. В глазах осенняя тоска, прежняя боль, которая на время затихла, забылась.

— Вечером увидимся,— снова пообещал Прокопий.

Неловко, торопливо обняв ее, вышел.

Она знала, что в этот вечер он не вернется.

Он шел, стараясь не думать о случившемся. Но не думать не мог.

Было холодно. Он не замечал мороза и бежал, точно кто гнался за ним. И вдруг он понял, что вечером не придет в Заярье.

Собственно, ничего не произошло. Так или иначе Науменко должен был узнать о их связи. Это могло про-

изойти раньше или позже. Произошло сегодня. И Науменко довольно спокойно отнесся ко всему.

О чем же тогда переживать? Все остается по-прежнему. И даже лучше: все стало на свои места.

И все же почему-то расхотелось возвращаться.

Прокопий знал, что Мария будет втихомолку плакать, как умеет только она одна. Сердце при этой мысли нехорошо кольнуло. Знал, но решил: «Сегодня не приду! Может, завтра...»

Давно уж Бузинка не казалась ему такой приветливой. Что в ней изменилось?

Он присматривался к знакомым домам, к деревьям... Те же. Только и в них появилось что-то новое. Но что?

Тут словами не скажешь.

Глава 20

Не спится.

Думы комарами звенят.

Разные разности на ум приходят.

Ночь-то зимняя, как дорога лесная: неизвестно, из-за которого поворота рассвет проглянет. Вот и думается без конца. Вроде бы и успокоиться пора: мое дело маленькое — колхозом живем.

Но покоя нет.

Сверчки и те бессонницей страдают: днем помалкивают, а ночью примутся в разноголосицу трещать. Тут и начинает головушка пухнуть. Чуть закроешь глаза — зашевелятся на ладони крохотные пупырышки зерен. Смахнешь дремоту — пусто в ладони. Обманул, проклятый сон!

Тело болит.

В висках ломота.

О безделье вроде бы и поминать неловко: кузнечный молот не балалайка. К тому же и на мельнице пора приспела, самый ветродуй начался. Из всех окрестных деревень на помол едут. По всему району славится заярская крупчатка, пушистая, рассыпчатая. Но не приходит радостная усталость, которую ощущал на клочке своей земли. Никак не может Гордей привыкнуть к колхозу. Добро бы о хозяйстве своем печаловал, а то ведь — нет. Не о чем жалеть. Умом сознает: если все по-доброму поставить — безбедно заживут мужики.

А кто ставить будет?

— Тут радетель, хозяин нужен.

Науменко пробовал — хребет сломал. Теперь бессилье в вине топит. Пермин сам к колхозному не приучен. Да и самолюб он. О себе радеет. Общество ему нипочем. Иль, может, как знать, и он переменился? Время всех коробит, ломает, хоть и не покоряешься ему для вида. Лютует оно, и нет ему удержу.

Колхозники ровно обезумели. Попробуй втемяшь им, что общее — твое, а твое — общее. Общее-то, скажут, пускай моим будет, но чтоб мое стало общим — дурней себя поищи.

Ждали от колхоза добра, богатства, как обещано было, ждали. Где оно, то богатство? Пустой звук! Вот и амбар подожгли, овечек разворовали... Слыхано ли дело? По всей деревне один Прошихин этим промышлял. А тут, видно, и других повело. Страх заговорил в людях. Раз колхоз богатства не дал, надо самим о себе позаботиться. Кто смел, тот съел. День-деньской шляются теперь по базарам. Какая толика заведется — туда. Зима долгая — кормиться надо. На что Дугин крепок был, а и то забеспокоился: возами картошку продает. И Александра на Чернухе по субботам не раз выезжала. Корова сердится, молоко теряет. Дугина в бок пырнула: перед рогами зазевался.

Не сладив с бессонницей, Гордей встает среди ночи: ветер.

«Пойду на мельницу», — решает.

Ночь лунная, светлая. Снежок вприпорох выпал. Шагая на мельницу, прикидывает, кому приняться вперед молоть.

Вдруг замер: к мельнице посвежу вели чьи-то следы. Добрый человек без мельника туда не пойдет.

«Ну, ежели застукаю...» — гневно думает Гордей и ускоряет шаг. Второпях зацепился за грабельный зуб, воткнутый в зауголье. Распрягая лошадь, вешал на него сбрую. Вынув зуб, всадил в петли притвора. За дверью кто-то завозился, робко стукнул.

Знакомый голос заюлил:

— Выпусти, Гордей Максимыч, не балуй!

— Ты, что ли, Митрий?

— Необходимо я. Выпусти!

— Другой-то кто?

— Илья Бурдаков.

— Вон как! Снова к чужим сусекам потянуло? — рывком толкнул дверь, сильно стукнув по голове приникшего к ней Прошихина. Митя немо и податливо опрокинулся на мешки, прижатые к ларю, съехал на пол. Бурдаков, понурив голову, молчал.

— Воды в рот набрал? — Ямин поднес фонарь к его широкому татарскому лицу, высветил седые космы, спускавшиеся к бровям.— Дай погляжу на рыло твое бесстыжее!

Илья не отвернулся.

— Совесть-то где растерял?

— Не до совести мне. Пашка, крестник твой, помирает. Молит: «Хлебушка дай!» А где я возьму?

— Ты бы опять у меня подмел — не привыкать... А тут — колхозное.

— Теперь уж все одно! — безнадежно мотнул головой Илья.— Веди в Совет.

Ямин провел ладонью перед глазами, сглотнул комок в горле, неловко выругался.

— Уматывай!

Илья с молчаливой благодарностью взглянул на него, вышел.

— Дружка-то забери! Мне и без его не скучно.

Бурдаков вернулся, подхватил под мышки приятеля и поволок на улицу.

— Утре зайди! Для крестника наскребу у себя пудик! — донеслось из мельницы.

Бросив в сугроб нечаянную ношу, Илья опять взбежал на приступок.

— Ты это нарочно? — ударив шапкой о пол, спросил он.— Испытываешь меня?

В корявых, оспенных щеках завязли мутные мучительные слезы. Заглядывая Ямину в лицо, напряженно ждал ответа. Доброта Гордея казалась невероятной и была тяжела, тяжелей пудовых яминских кулаков.

— Иди, иди... Зла на тебя не держу. Все мы люди, все человеки.

— А скирду у тебя... кто... подпалил, знаешь? Не знаешь? То-то.

Ямин подался назад. На лице его мелькнуло недоверие, потом недоумение, сменившееся крайней гадливостью. Сжав свой громадный кулак, замахнулся,

— Бей! — обрадованно закричал Илья.— Чтоб сразу насмерть... Один конец!

В тот страшный год Ямины были на грани нищеты. Все распродав, Гордей собрался ехать на Алдан, добывать золото. Умер второй парнишечка, годом постарше Федьки. Ладно, Евтропий поддержал в лихую годину...

— Уйди с глаз моих, погань! — хрипло выдавил и рванул ворот давившей рубахи. Дышал гулко, часто, загнанно.

Утром, привезя на мельницу рожь, Дугин заглянул внутрь и ударился лбом о чьи-то холодные ноги. На перекладине висел Илья. Он был разут и раздет. Тряпье, вывалянное в муке, лежало вокруг в беспорядке.

К неприятностям, которых и без того хватало, добавилась еще и эта нелепая кончина.

Ямина забрали.

Глава 21

Его допрашивал веселый пухлый следователь, с черепом, выбритым до глянца. Лицо этого человека поражало странным несоответствием: внизу — улыбка, добрая, располагающая, быстрые, подвижные, неспокойные желваки, вверху ледяная неподвижность лба, нависшего над выпуклыми влажными глазами. Нос с задранным кончиком, оттянут книзу, уши торчком. Улыбка утверждала, что он добр и верит людям. Но глаза были холодны, и где-то в глубине их прятались два острых жала.

Все дело запутал Прошихин. По его словам выходило, что был он лишь случайным свидетелем скандала. Ямин ударил Илью и, по-видимому, убил. Дугин подтвердил, что видел на мельнице следы борьбы: пятна крови, разбросанную одежду, рассыпанную муку. Но Ямин упорно отрицал свою вину, и веселый следователь начинал скучать.

— Ну? — все еще улыбался он.— Я жду.

— Жди. Время у тебя, вижу, есть,— Ямин не верил этой улыбке, неприязненно взбуривал на него.

— Не груби! Я все записываю.

— Гумага стерпит.

— Ты зря упорствуешь! Тут и дураку ясно...

— Дураку ясно, а тебе — нет. Стало быть, не свое место занимаешь.

— Ты язык-то не распускай — прищемлю...
— Не пужай, пострашней видывал.
— А я ведь тебя засадить могу.
— Сади, ежели тебе за это деньги платят.
— Не только за это. Ну, пожалуй, хватит на сегодня. Писать умеешь?
— Не учен,— слукавил Гордей. Ему было неприятно прикасаться к бумаге, которую держал в руках этот лукавый и опасный человек.
— Крест поставь, что с написанным согласен.
— Время придет — добрые люди поставят. Пока не пришло.
— Не поставишь — не отпущу.
— Я и здесь посижу.
Гордей прислонился виском к холодной решетке, мысленно перенесся в Заярье.
«Как они там? Поди, всю ночь глаз не сомкнули... Эх, Сана, Сана!»
— Встать! — приказал следователь.
— Ну вот, мурыжил ты меня ни за что,— поднявшись, сказал Гордей,— а ведь партейный, поди, и за правду стоишь... на словах-то.
— Партийный. И за правду стою.
— Выходит, верно говорят: правда-то у Петра и Павла...
— Уведите его,— устало склонился над столом следователь. Ночь была на исходе.
Ямин вернулся в камеру засветло. Там сидело шестеро. Трое — беспризорники, прихваченные с чужим чемоданом на крыше вагона. Они глядели на Ямина с почтительным удивлением: как же, с мокрым делом проходит.
Пока его допрашивали, эта братия успела вытряхнуть из одежды длинного, с коломенскую версту, кассира с кирпичного завода, потерявшего полумесячную зарплату рабочих. Все четверо выглядели презабавно. Старший, по-видимому, атаман, поверх драной вязаной кофты натянул кассирский жилет, на ноги сапоги, упиравшиеся в промежность. Широкое скуластое лицо с пуговичным носом светилось довольством. Другой — ростом пониже, верткий, как юла, стреляя отчаянными глазами, запахнул на себе пестрый пиджак с чужого плеча. Третий, высокий худышка, подвязал на груди кассирские

штаны его же мохнатым шарфом. Сооружение, весьма отдаленно напоминающее шапку, съехало на тонкие взъерошенные брови.

Кассир дрожал, кутаясь в подброшенное ему тряпье.

Двое цыган, продавших кому-то исполкомовскую кобылу, беспечно болтали на своем языке, дымя из каленых трубок. Они выторговали у беспризорников за табак карманные часы кассира. И тот, что постарше, с бородой, каждую минуту вынимал их и слушал, как они тикают. Второй, белозубый красавец с косой отметиной на виске, подмигивал подавленному кассиру и беззаботно напевал.

— Раскололся? — вежливо спросил атаман. Не дождавшись ответа, предложил:

— Подыми! Ох и отрава! С ног валит.

— Не курю. Ты где разоделся?

Довольный его вниманием, парнишка заулыбался, сдернул жилет, в щепоти грязных пальцев растер саржевый подклад.

— В порядке?

— В самый раз.

— Бери. Я цыган оголю.

— Обноски не ношу. И тебе не советую. Верни...

В том, что сказал — не было приказа, но парнишка мигом разболок соратников и все возвратил кассиру.

— А баки у них,— указал он на цыган.

— Отдайте, ребята.

Бородатый с сожалением цокнул языком, четко деля слова, сказал:

— Нельзя отдавать, друг. Купил за табак. Табак они выкурили.

— Великое дело — табак.

Молодой насмешливо сморщил лицо, покачав головой.

— Давай, что ли? Часы-то чужие...

Цыгане залопотали по-своему. Молодой взял часы и, сунув их в карман, выжидательно замер.

— Ну! — нетерпеливо настаивал Гордей.

— Если я скажу: отдай рубаху — ты отдашь? — спросил цыган.— Часы мои. Табак их. Я не хочу отдавать мое.

Ямин протянул руку, но молодой, спружинив, ударил его головою в тугой живот. Схватив цыгана, Гордей молчком отнял часы, предупредив:

— Ты не доводи меня! А то так отделаю, что фершала не отводятся. Сообразил?

— Сообразил,— морщась от боли, сказал цыган и затряс рукой.

Он что-то сказал бородатому, и оба рассмеялись и стали похлопывать Ямина по плечам.

Через день его снова вызвали. Допрос вел все тот же гололобый толстяк. Но теперь он чем-то разнился от прежнего.

— Ты, говорят, опять буянил? — дружелюбно усмехнулся он.— Это, брат, никуда не годится. Всех подследственных у меня перекалечишь.

— Не велика утрата.

— Ну-ну, я где-то должен себе на хлеб зарабатывать?

— Хлеб зарабатывают на поле.

— Верно. А кто хлеборобу покой обеспечивает?

— Мне твоего покоя не надо. Как-нибудь со своим беспокойством проживу.

— Крепко обозлился! Ну, а если бы ты и впрямь оказался преступником — тогда как? Понимать надо! У меня работа такая, что должен сомневаться.

— Можно до того досомневаться, что сам себе верить перестанешь.

— Это ты перегнул,— сказал следователь и перестал улыбаться.— Прошихина сильно стукнул?

— Вроде бы нет.

— Да как же не сильно, если он без сознания лежал?

— Так вышло.

— Надо осторожнее. Видишь, обиделся мужик и наговорил лишнего.

— Уж не за то ли, что я его отпустил?

— Может, и за то. Подпиши протокол.

Гордей подписал и лишь после этого вспомнил, что накануне сказался неграмотным.

— Быстро писать выучился! — рассмеялся следователь.— Собирайся!

— Куда? — встревожился Ямин. Ему показалось, что уж теперь-то все потеряно...

— В твои края поедем.

— Вдруг убегу? Не боишься?

— Далеко ли?

Верно, дальше Заярья Ямин не убежит. Опутало оно своими корнями на веки вечные.

Уселись в пестерь, набитый соломой. Следователь неумело, по-бабьи, держал вожжи. Буланая лошаденка трусила неспешно.

— Ишь ты! Вот я ее! — следователь, должно быть, подслушал это у проезжего колхозника: видно, что править лошадьми ему не приходилось.

Ехали долго.

Но теперь и ехалось и говорилось легко и свободно: на воле. Ямин оттаял и выкладывал все, что у него накопилось в душе. А накопилось немало. Хватило на все двадцать километров.

Распломбировав дверь, следователь усмешливо предложил:

— Ну, давай, оправдывайся!

— Это ты передо мной оправдывайся! Моя совесть чиста...

— Ты на совесть не дави! Когда речь идет о совершенном преступлении, я не имею права поддаваться чувствам.

— Чего жилы тянешь? Знаешь ведь — не виноват я... Да ежели я и убил бы Илюху, дак он того заслужил...

— Но ведь ты не убивал? — неуверенно улыбнулся следователь.

— Он мне столь напакостил, что можно и убить...

— Но ты все-таки не убивал?

— Сам он от стыда повесился, я так считаю. Бабенка померла. Остался он один и семеро по лавкам. Я ему в ту ночь хлеба посулил. А он у меня в голодный год скирду сжег. И после охальничал. Ну, видать, совесть-то и заговорила... Вот и кончился Илюха... Жизнь-то не всякому под силу. Ты с годок побудь в нашей шкуре — не возрадуешься. А наш год — вся жизнь. Ждем, когда послабление выйдет... Выйдет, как думаешь?

— Непременно. Ну, пора за дело! Тут вот кровь... Чья она?

— Митьшина, должно. Илью-то я не трогал.

— Ясно. А где Прошихин лежал, не помнишь?

— Не до того было.

Следователь посвистел и вышел на улицу. Вмятины от упавшего тела отыскать не трудно. Снег в эти дни не шел.

— Везет тебе! — срезая лопаточкой окровавленный снег, позавидовал он.

— Как утопленнику. А скажи: меня засудить могли?
— Какая ерунда! — возмутился следователь.— Суд наш справедлив...
— Суд справедлив, да судьи всякие попадаются...
— Ступай домой! Будешь в районе — спрашивай Раева.— Аккуратно сложив в картонную коробку вещественные доказательства, он попрощался.
— Спасибо, добрый человек!
— Но! Ишь ты! Вот я ее! — держа в обеих руках вожжи, покрикивал Раев.
— Как звать тебя? В молитвах кого поминать? — вдогонку спросил Ямин.
— Советскую власть. Только поосторожней! Она с богом не в ладах. А меня зовут Антон Ильич.
Меринок не спеша перебирал мохнатыми щетками. Долго еще слышалось Гордею раевское: «Но! Ишь ты!» А когда меринок скрылся за поворотом, Ямин приложил к пылающему лбу горсть снега.
«Вчера был виноват, сегодня прав... Вот она, жизнь-то!» — смахнув со лба влагу, огородами пошел домой.

Глава 22

Протопив печь, Александра пошла на ферму. Было тихо, безветренно. Над Заярьем вились первые утренние дымки. Кто-то, видимо, в сапогах шел навстречу. Снег пронзительно скрипел.
«Либо Федька, либо Науменко»,— определила Александра.
— На дойку? — Это был Науменко.— Не рано?
— Ты встал, а мне — рано?
— Я не о том. Отдыхай пока. После найдем что полегче.
— Чтобы твои правленцы глаза мне кололи? Та же Фекла проходу не даст.
— Пока я председатель, а не Фекла. Вот что: принимай ясли. А сейчас — домой.
— Надо коровушек попроведать.
— Ну, проведай, а за дойку не берись.
И он зашагал прочь.
Только темно-русый завиток из-под кубанки успевал за ним и трепыхал крылышком.
«Картинка мужик! Кабы пил помене! — подумала

Александра, мысленно сравнив его со своим рыжим медлительным Гордеем. Тот не идет — ломится, и земля под ним стонет.— Мой надежней! Не своротишь!»

В сторожке кто-то зашевелился, сполз с нар.

— Кто тут?

— Я, Венька. Не узнала, тетя Сана?

— Чего явился ни свет ни заря?

— Мне работу надо. Я старший теперь. Возьми сторожем к себе.

— Христовый ты мой! Сможешь ли сторожем-то?

— Смогу. Я большой.

— Да ясно, сможешь. Ворья у нас нет, а зверь и у Мити вон сколь овец перетаскал.

— Ты председателя уговори. Вон он идет.

— Григорий Иваныч! Дело есть. Дозволь Веньку в сторожа взять. Совсем одни ребятишки остались. Кормиться-то чем-то надо?

— Скажи Катерине, чтобы выделяла им молока.

— На правлении не решали — зашумят.

— У кого язык повернется? А ежели зашумят, расходы возьму на себя.

— С Венькой-то как?

— Пускай сторожит.

«Какой из его сторож! Самый отел сейчас. Да уж как-нибудь уследим»,— забыв, что ее назначили заведовать детскими яслями, прикидывала Александра.

— Вот хорошо-то! — радовался парнишка.— Колхозником стал!

— Это ты ночью колхозник. Днем — школьник. Школу бросишь — из сторожей выгоним.

— Ну вас,— разочарованно протянул мальчуган.— Разве колхозники в школу ходят?

— Ходили бы, да больших не пускают.

Александра прошла в коровник.

На ее половине хлопотала Катя, растаскивая порожние фляги.

— Командуешь, девонька? Потеснись-ка, помогу напоследок!

— Почто напоследок?

— Науменко детишков нянькать велит.

— По твоему здоровью в самый раз.

— Была когда-то и я здоровая... Ворочала, сил не жалела.

— Разве я не знаю, тетя Сана? Мне без тебя тоскливо будет.

— Тоска-то не старость, пройдет. Тут вот помощничек у нас объявился.

Из-за загородки на них посматривал Венька.

— Сиротинка,— вздохнула девушка и, налив молока, поднесла: — Пей!

Сама выросшая без родителей, была она добра и жалостлива. В ее памяти все еще отчетливо жили воспоминания о матери, потерявшей рассудок. На глазах матери кулаки вспороли отцу живот и, набив зерном, выставили на улицу с табличкой «Вот тебе разверстка!» С тех пор мать помутилась рассудком и до самой смерти ходила выкрикивая: «Хлебушко! Горячий хлебушко! Ой, жгется!»

Давно это было. Но и спустя многие годы Катя боялась смотреть на зерно: ей, казалось, что куча зерна растет, шевелится, плывет в кровавом ручье...

— Сколько отелилось? — обойдя ферму, спросил Науменко.

— Две. Третью жду.

— Телята где?

— Ой, не покажу! Вдруг сглазишь...

— Ну ладно. В телятнике-то не студено?

— Парит.

— Беспокоится,— провожая его взглядом, сказала Александра.— С умом хозяин, да вот баловство это сгубило...

— И жена попалась — добра сука! Видит, что худо ему, и еще добавляет.

Александра помолчала, сочувственно погладив девушку по плечу.

В сумерках Науменко подъехал к своему дому и нагреб в амбаре два мешка зерна, но вынести не успел: вошла Мария.

— На мельницу? — спросила.

— Туда,— хотел солгать Науменко, но язык не подчинился.— Тебе что?

— Хлеб-то общий.

— Уйди... лучше уйди! — отворачиваясь, чтобы не видеть счастливого блеска в ее глазах, хрипло сказал он.

— Это почему же? Впрочем, вези куда хочешь. Можешь не таиться, я все знаю.

Она была убеждена, что эти мешки он повезет к Сун-

даревым, а не к ребятишкам, оставшимся сиротами, и что с Катей у него давнишняя связь. Но теперь ей это было безразлично.

Неторопливо набрав в лукошко муки, Мария вышла, покачивая упругими бедрами. Ее понимающая насмешливая улыбка взбесила Науменко. Это была не та прежняя, подавленная, а незнакомая ему, сильная и уверенная в себе женщина, которой он удивился и позавидовал. Ему хотелось сокрушить эту силу, сбить с губ улыбку. Спрыгнув с предамбарья, задыхаясь, как пес на цепи, он крикнул:

— Стой! Тебе говорят, стой!

Презрительно пожав плечами, она остановилась.

— Не кричи. Я слышу.

— Не-ет, ты не слышишь! Ты давно меня не слышишь!

Выпнув лукошко, он сильно толкнул жену в грудь. Мария качнулась, но устояла. Мука запорошила ее лицо, на котором горько и удивленно темнели одни глаза. И это был миг, когда Науменко мог сдаться, мог упасть перед ней, скажи она лишь одно слово: «Гриша!» Она молчала. Пересиливая противную слабость в себе, испытывая отвращение, он ударил Марию, потом стал слепо, безжалостно избивать ее. Она молчала. И даже не закрывалась от ударов.

— Да вы что! — изумленно вскричал Сазонов, заходя во двор.— Остановитесь! За что?!

— За все,— тихо сказал Науменко и, судорожно хлебнув воздух, зарыдал.

Занеся Марию в дом, Сазонов плеснул на нее водой, неловко раздел и обмыл кровь: «Какая славная!» Ему было непонятно, отчего это вдруг недрачливый, выдержанный Науменко избил легкую, нежную, как метлячок, жену. «Правда, что в тихом омуте черти водятся!» — ничего не придумав в объяснение, заключил он.

Она застонала, открыла жалкие, заплывшие глаза.

— Ожили? — запоздало кутая ее небольшую, в лиловых кровоподтеках грудь, Сазонов отвел взгляд. Чтобы не молчать, утешил:

— Вы не унывайте. Все зарастет. Я сейчас фельдшера позову.

— Не надо. Пригласите Варвару.

— А Григорий без меня не зайдет?

— Он совсем ушел...

— Как это — совсем?

— Мы не живем с ним. Давно уже...

— Вот оно что! — Сазонов, который знал почти все, что происходит в деревне, как-то упустил это из виду. Услышав новость, он испытал чувство, похожее на удовлетворение.

— Лежите. Я скоро вернусь.

Он вернулся вместе с Варварой и всю ночь дежурил около Марии.

Усталость почувствовал, когда заголосили петухи, прогоняя мрак.

Забрезжило утро. Сперва робко, потом смелей, смелей и скоро заполнило собой все, заорало, раскрыв беззубый румяный рот.

«Коротка ноченька,— подумал Сазонов. Мысли его были грустны. Но эта грусть легка и неглубока.— Утром и воздух чище, и заря вон какая арбузная... А я ночь пожалел!»

— Вот и утро, слава богу! — сбросив дремоту, проговорила Варвара, прикорнувшая на лавке.— Легче тебе, Маня?

— Легче.

— Вашего мужа мы так пропесочим, что до последнего дня блестеть будет. Совсем одичал человек!

— Не троньте его! Не надо.

— Ну, как знаете. Вы проследите за ней, Варвара.

— Да уж не брошу.

— Выздоравливайте.— Уходить ему не хотелось, но причины задержаться еще на часок он не придумал.

В лицо пахнуло сладким, как березовый сок, воздухом. На завалинке темнела забытая со вчерашнего дня книга. Сазонов прошел мимо.

У палисадника была протоптана тропинка, но он затопал по середине улицы, широко расставив локти и запрокинув голову.

«Эх, кабы сбылось!» — улыбаясь загаду, который самому себе не смел высказать вслух, думал Варлам.

За три с половиной десятка лет он еще не целовал женщин. Схоронив отца, десяти лет пошел батрачить. Мать нищенствовала. Она так и умерла у чужих ворот, положив под голову тощую котомку. Чуть оперясь, Сазонов попробовал вести хозяйство, но душа к нему не

лежала. Заколотив стылую избенку, уехал в город. В Заярье прибыл по направлению партии.

Не то чтобы он не помышлял о женщинах. Они, конечно, влекли его. Но ему как-то удавалось избежать всех тягот, связанных с любовью. Впрочем, еще зеленым юнцом его затянула на сенник Наталья Фатеева и, прижав полыхающим бедром к сену, потребовала: «Полюби!» Варлам беспомощно отбивался. К несчастью, а может, и наоборот, подоспел хозяин. Он издалека чуял, когда покушаются на его добро.

— Ну, — расхохотался он. Хохот отдавал жестью.— Не смеешь? Эх, тюря!

Дав ему пинка, задрал на жене юбку и, вручив работнику супонь, приказал: «Пори!» С этим Сазонов справился успешно. С неделю Наталья не могла ни сесть, ни лечь.

«Чистый губошлеп»,— беззлобно бранил себя Варлам, а голову кружило от веселого звона. Заслушавшись им, едва увернулся от председательского жеребца, которого, матерясь, драл плетью Науменко. Рядом с ним, опустив голову, сидела Афанасея.

— Я ва-ас! — пролетая мимо, кричал он.

«Опять загонит коня! — потирая ушибленное плечо, вздохнул Сазонов, но, испугавшись за Марию, тут же забыл об этом.— Уж не домой ли?»

Рыжко промчался дальше, обрушив на просыпающуюся деревню ошлепки снега.

— Веселится парень! — выйдя из ворот, ухмыльнулся Ворон.— Кому колхоз, кому — вотчина...

Глава 23

— Проходи, Алеха! — цыкнув на собаку, пригласил Дугин.— Я, признаться сказать, сам к тебе собирался.

— Стало быть, в аккурат угадал? — усмехнулся Сазонов.

— Тютелька в тютельку, ровно в воду глядел,— пропуская его в ограду, кивнул Дугин.— Подмога твоя нужна.

Он держался с тем внушительным спокойствием, которое вызывало невольное уважение, как бы подчеркивая, что у этого человека ясная, ничем не запятнанная душа. Но в душе Дугина клокотало беспокойство. Оно

заставляло щупать каждого: с чем пришел? — и искать защиту от тех, кто мог потревожить прошлое. Приветливо встречая Сазонова, он и не думал просить ни о какой подмоге и, уж произнеся это слово, еще не знал, что скажет дальше.

— Тут у нас разгром,— указал на корчаги, стоящие на лавке, из которых поточилось сусло. Никакого разгрома не было. Наоборот, все было вычищено и выскоблено до блеска. Самовар под трубой сиял,— хоть глядись. Подполье было открыто. Там кто-то возился.

— Ты присядь, Алеха! Я на минутку отлучусь, горенку приберу. Уйдя в горенку, где раньше лежала Клавдия, плотно прикрыл дверь, почесал переносицу. Лежанка пустовала. На ней громоздились теперь кожаные фолианты с медными застежками. Перед иконами на тонкой серебряной цепке повисла лампадка.

Присев на одну из книг, Дугин на мгновение задумался.

Встал.

В движеньях появилась упругая мягкость кота, крадущегося к голубятне.

— Один как перст остался! — посетовал он, появляясь в избе. Сидидомица-то моя взбрындила.

Из подполья с ведром картошки вылезла разрумянившаяся Шура.

— Кабы вот не племянница, дак хоть караул кричи!

Сазонов невольно залюбовался ладной фигурой девушки. В ее волосах завязла паутинка. На полной шее пристало пятнышко пыли. Из расстегнутого ворота кофтенки выглядывала глубокая белая ложбинка.

— Съехала, сколь ни упрашивал,— сгорбился Дугин, сквозь неплотно сжатые пальцы приглядывая за Сазоновым.

— Как это — съехала?

— Совсем,— смахнул невидимую слезу Дугин.— Симко подбил. Не по нраву ему, вишь, что я в бога верую. Я-де комсомол, мне с твоим богом под одной крышей — не житье...

Сазонов разглядывал стены, вдоль них — полки за занавесками, полати и верхний голбец — тоже скрыты занавесками, как и темная душа хозяина; разглядывая, не спешил высказывать свое отношение к беде Дугина. Он знал, что Ефим с матерью ушли из дома.

— Ну и времена настали! — гудел Дугин.— Сын супротив отца восстал, за веру осудил...

Шура вывалила картошку в ушат с водой и стала перемешивать мутовкой. По деревянному желобу тонко щурилось сусло.

— Старший тоже волю взял! Набедокурил и дал стрекача! Вот они какие нонешние-то! В наши времена родителей почитали.— Дугин все пробовал определить, какое это производит впечатление.

Сазонов невозмутимо помалкивал. Трудно было понять: осуждает или сочувствует.

«Онемел, что ли?» — тревожился Михей. Его начинало пугать затянувшееся молчание председателя сельсовета.

— В мои ли годы вдовцом-то жить? — он достал из-под лавки бидон с брагой, приказав Шуре: — Сбегай за капустой!

— Не хлопочите! Чаевать не буду,— отказался Сазонов.— С сыновьями как-нибудь сами улаживайте. Не хотят под вашим крылом жить — силком не заставишь.

— Где она застряла? — засуетился Дугин и вышел на улицу.

Шура, уткнувшись в колени, плакала в погребе.

— Чего разнюнилась? Радоваться надо. Сазонов-то, видать, свататься пришел. При ем остерегись в разговорах! И физию свою пригладь. А насчет Симка-то... все будет как задумали...

Он боялся, чтобы племянница не сболтнула чего: «Бабье сословье! Язык на привязи держать не умеют... А для такого черта любое слово — граната. Кинет — и расползутся мои кисельные берега».

Говоря о сватовстве Варлама, Дугин заведомо врал, как врал всем и обо всех. Но иначе он не умел.

Зайдя в избу, неприметно ухмыльнулся и опять заговорил о своих горестях. В сущности, жизнь его была действительно горькой, и он не раз задумывался о том, что так жить вроде бы и ни к чему, но мысли эти были столь новы, столь неожиданны для человека, у которого во всем достаток, что он не принимал их всерьез. «Живут и хуже»,— успокаивал себя Дугин.

— Может, потолкуешь с им, Алеха? Разе грех богу молиться? Закон не претит.

— Об этом потом,— осторожно сказал Сазонов, по-

чему-то чувствуя себя одураченным. Он не понимал, откуда взялось это чувство, и после повторного приглашения сесть за стол согласился. Шура сняла с самовара конфорку, поставила чайник с заваркой.

— Расторопная хозяйка! — похвалил Сазонов, швыркая чай вприкуску.

— Я не хозяйка.

— Значит, работница? А много ли вам за работу платят?

— Она сама золото,— опередил Дугин.

— Что верно, то верно. Куда только парни смотрят?

— Сватай, сколь в холостяках-то ходить?

— Ей надо помоложе.

— Есть один на примете,— подмигнул племяннице Дугин.— На осень выдам.

Шура пунцово зарделась, прикрыв толстой косой благодарную улыбку. Дугин ласково шлепнул ее по спине, потянулся к бидону.

— Это лишнее,— остановил Варлам и по-казахски перевернул стакан вверх дном. Он злился на себя за напрасно потерянное время, за то, что битый час переливал из пустого в порожнее и нисколько не понял этого скользкого, как рыбина, человека. Зато Дугин понял, что визит был не случайным.

— Чего приходил? — спросил он с откровенной усмешкой.— Проверять, не затуркал ли племянницу? Спроси ее. Пообидится — глаз выколи.

— Хотел о школе напомнить. Уговор не забыли?

— Как же, помню.

Он проводил Сазонова за ворота и подлиннее отпустил пса, задыхавшегося на цепи в злобном сиплом лае.

— Ну, мила моя, отчудила. Табажору самолучшую посуду выставила. Которым местом думаешь? Чтоб на три раза все выварила и вычистила!

— Ты про замужество-то обмолвился или всурьез? — не слушая его воркотню, спросила Шура.

— Будь надежна, осенью выдам.

— Надежна, а сам жаловался Сазонову, что Ефим из подчинения вышел.

— Сазонов для того и поставлен, чтобы жалобы выслушивать. Без их какая работа! Пивни-ка! — налив до краев чайный стакан, подал Шуре. Она трясла головой, кашляла, но пила.

— Зелье-девка! — похвалил Дугин, снова наполняя стакан.— Вся в нашу породу. Ну-ка, ишо разок!

— Больше не буду! — отказалась Шура, приметив змейный, завораживающий взгляд Дугина.

«Экая дура!» — подумал Дугин, целуя племянницу в щеку. Поцелуй был не родственный, алчный, пахнущий брагой и ладаном.

— В твои ли годы? — усмехнулась Шура и, оттолкнув его, выбежала.

«Право, дура!» — снова повторил про себя Дугин.

Войдя в горенку, сердито грохнул дверью и сел на лежанку.

Глухо звенькнула висячая лампадка, стукнув в чело скорбящую богоматерь.

Глава 24

«Очень уж прав он,— шагая в конюховку, думал Варлам про Дугина.— Слишком прав...»

Сам не зная почему, он не верил этому во всем правому человеку. А в чем-либо обвинить его не имел оснований.

«Людей-то я, выходит, не знаю»,— подытожил свои сомнения Варлам.

В конюховке, как и обычно, резались в карты и лото, хотя главный картежник Митя Прошихин был на отсидке и пока еще не подавал о себе вестей.

— Тускло тут у вас.

— Закури — приглядишься...— засмеялся кто-то.

— Подсаживайтесь ближе. Совещаться будем.

— Всех касается аль одних активистов? — переставая греметь фишками, спросил Панкратов, широкий большеротый мужик.

— Всех, кому картежничать надоело... Отдохните! Готовы все Заярье проиграть.

— Его даром никто не возьмет.

Поджидая, пока стихнет гул, Сазонов курил, выпуская синеватые кольца дыма, и ворошил колоду потрепанных карт, кому-то оставшихся в наследство от Прошихина.

Тишина установилась скоро.

Совещание в конюховке — событие чрезвычайное.

Все ждали с молчаливым любопытством.

— Не томи! Терпежу нету,— торопил пегобородый рябой мужик.— Речь давай!

— Речи не будет, Исай Григорьич. Я советоваться пришел. Ну, а кому не терпится, играйте.

— И так уж доигрались... Хоть караул кричи,— невесело усмехнулся Евтропий.

— Не надоело в конюховке? — спросил Сазонов.

— Давай денег на клуб, туда перейдем,— подхватил Ефим. Сазонову это и было нужно.

— Были бы — дал. Да ведь я не купец.

— Тогда не толки воду в ступе.

— Давайте вместе помозгуем... Я прикидывал, клуб есть из чего строить... Если вы поддержите...

— А нам все едино! — безразлично мотнул пегой бородой Исай.— Повесь на конюховку табличку — вот те и клуб будет... Что там, что здесь — одно паскудство и сквернословие... Ни креста, ни молитвы не знают...

— Ну, за молитвой ты к Дугину ходи,— нахмурился Евтропий.— А здесь твоему богу не место. Дак из чего строить надумал, Варлам? Или, может, и правда табличку на конюховку прибить?

— Это уж как вы решите. Но можно и без таблички обойтись... В сельсовете пристрой пустует — раз, фатеевская баня — два, свой амбар отдам — три... Вот и наберется. Кирпич и стекло купим. Дадите денег, правление?

— Мне не жалко. Как другие...

— Я и с другими говорил.

— Втихомолку решил за всех, а теперь советоваться пришел,— рассмеялся Евтропий, но, заметив, что председатель нахмурился, посерьезнел.— Мысли твои верные. Давно пора. Да токо не в клубе дело.

— Не сразу Москва строилась...

— Ну, ладно, строить есть из чего. А кто плотничать будет? Со стороны помалу не берут...

— А мы разве не мужики?

— Управимся.

Молодежь, на которую рассчитывал Сазонов, помалкивала. Видно, не проняло.

— Что приуныли? Если затея не по нутру — говорите.

— Затея-то по нутру, да ведь ко клубу надо и чи-

тальню, и игры всякие...— задумчиво проговорил Ефим.

— В читальню пока свои книги отдам, а на игры наскребем.

— Книг-то много ли у тебя?

— Сот шесть-семь наберется.

— Хоть бы нам почитал какую...

Сазонов вытащил из-за пазухи аккуратно склеенную книгу.

Вокруг захохотали.

Его привычка постоянно носить с собой книги была известна всем. Сазонов слегка смутился, но книгу не захлопнул.

Держась, кто за шапку, кто за бока, мужики придвинулись ближе.

— Я не с начала,— вынимая закладку, послюнявил палец Варлам,— но все равно все понятно.— И весь отдался чтению.

Читал он складно, умело. Мужики слушали его, раскрыв рты, в полном молчании.

«Пятая рота стояла подле самого леса. Огромный костер горел ярко, освещая отягченные инеем ветви деревьев.

В середине ночи солдаты пятой роты услыхали в лесу шаги и хряск сучьев.

— Ребята, ведьмедь,— сказал один солдат. Все подняли головы, прислушались, и из леса на свет костра выступили две державшиеся друг за друга человеческие странно одетые фигуры.

Это были два прятавшихся в лесу француза. Хрипло говоря что-то на непонятном солдатам языке, они подошли к костру. Один был повыше ростом, в офицерской шляпе и казался ослабевшим. Пройдя к костру, он хотел сесть, но упал на землю. Другой, маленький, коренастый, обвязанный платком по щекам солдат был сильнее...»

— Верно,— перебил Исай, громко высморкавшись.— Солдат он, конечное дело, поужилистей офицера. Я в двадцатом с одним в разведке схлестнулся, да не рассчитал... Давнул...

— Не перебивай! — строго взглянул на него Евтропий.— Читай, Сазонов.

«...Он поднял своего товарища и, указывая на свой рот, говорил что-то...»

— И тогда, слышь, товарищи были! — теребя черную бороду, удивился Панфило.

— Товарищи всегда были,— отодвигая его, сказал Евтропий.— Сказано: не перебивать.

«Солдаты окружили французов, подстелили больному шинель и обоим принесли каши и водки...»

— Во! — шепнул Коркин.— А у тебя зимой снегу не выпросишь...

Панфило съежился, протиснулся назад, подальше от света.

Толпа колхозников вокруг чтеца стала редеть.

Панкратов снова загремел фишками.

Вокруг приталпливались мужики, заглядывая к нему в карты.

— Поговорить надо,— сдерживая обиду за неудавшееся чтение, тихо сказал Ефиму Сазонов.

— Пермин ругает, что не учимся,— говорил Ефим, когда они вышли из конюховки.— Не всякому учиться-то сподручно! За больших работали...

— И вам несподручно?

— И мне. Отец каждым куском хлеба попрекал.

— Присесть бы где. Если у меня — печь не топлена.

— Пошли к нам,— пригласил Ефим, поворачивая от своего дома в противоположную сторону.

Сазонов миновал с ним два проулка и лишь потом удивился.

— Куда это мы?

— Я от отца ушел... У Тепляковых квартирую...

— И чего вас мир не берет? Дом — полная чаша. Одной живой воды нет...

— Без живой воды — не жизнь,— голос Ефима стал суше.

— Папаша у вас нелегкий. Всех разогнал. Одна Шура Зырянова ладит с ним...

Сазонов нарочно заговорил о Шуре, догадываясь, что как раз это и есть Ефимова болячка. Но там, где имеется интерес, болячки не щадят.

— Шурену не поминай! Ненавижу ее.

— За что? По-моему, славная девушка!

— Ходит, перед отцом расстилается!

— Вам-то что? Пусть расстилается,— ковырнул поглубже Варлам.

— А то, что я ее сильно... уважаю,— не сумев вы-

говорить «люблю», тихо признался Ефим.— Меня не спросясь, сватать пришла. Не парень я, что ли?

— Дурачок! Сколько вам лет?

— Скоро девятнадцать.

— Молод, но жениться можно. Ведите Шуру к себе. Пока свободен дом Прошихина, можете занять. Потом своим обзаведетесь.

— За дом спасибо. А жениться — не выйдет...

— Разве кто мешает?

— Эх, дядя Варлам! — с болью сказал парень, открывая калитку.— Чего отцовы руки коснулись, от того другим мало достается... Не запнись, тут подворотня...

У окна, возле холста с изображением Ямина, сидели Семен Саввич и Логин.

Поздоровавшись, Сазонов подсел к мужикам.

— Говорю тебе, он не такой! — кивнув председателю, указал на портрет старик.— Я не токо его — отца и деда знавал... так что не успоряй.

— Какой есть, такого и нарисовал,— негромко возражал Логин.

— А ты на одного себя не полагайся! С людьми советуйся!

— Рисую-то я, а не люди. Если они возьмутся за кисть, я с советами не полезу.

— Ишь, какой самолюб! Тебе токо волю дай — живо все по-своему обрисуешь! Нет, брат, вас палкой вразумлять надо... Как зарвался, так драть нещадно!

— Под палкой много не нарисуешь,— насупился Логин.— Разве что палку...

— Вот оно самое,— удовлетворенно кивнул дед Семен.— Мотай на ус, Варлам! Пригодится, когда в большие выйдешь. Больших шибко охотно рисуют...

— Я и так в сажень выдурил,— простовато улыбнулся Сазонов.— Куда больше-то?

Негодующе посмотрев на него, старик отвернулся.

— Ты, едрена-корень,— снова насел он на Логина,— толком объясни: почто живой Гордей мужик как мужик, а на этого смотрю — в три погибели матерок просится?..

— Ну и загните,— усмешливо посоветовал Сазонов.

Логин, нахохлившись, не отвечал.

— Не у вас учен,— ухмыльнулся старик, с торжеством поглядывая на Сазонова: что, мол, скушал?

— Не будем ссориться, Семен Саввич,— миролюбиво предложил Сазонов.— Ссоры — пережиток прошлого. Вы бы о жизни что-нибудь рассказали, нас уму-разуму поучили...

— Это вы должны учить. Для того у власти поставлены. А я одной ногой в могиле, другую, как Митя овечек, на деревяшку променял...

— Умереть никогда не поздно. А вот посоветовать можно опоздать.

— Слушай, ежели охота есть. Один щенок без суки остался. Захотел лаять выучиться. Обратился к лисе. Та его в лес увела. Поступил на курсы, все честь честью. Учили его жаба, ворон, осел да петух. Срок вышел, начал щенок квакать, каркать, кукарекать да кричать по-ослиному. А пришел к собакам с образованием своим,— те его высмеяли. С тех пор, как учителей увидит, так примется на них лаять или, того хуже, за хвост драть,— скороговоркой закончил старик и, стуча костылем, увел с собой Логина.

— Везде подковырка. Слова зря не скажет,— засмеялся Сазонов: посерьезнев, спросил Ефима: — Вы с Прокопием Яминым друзья?

— Водой не разольешь.

— Завидую. А вот у меня нет друзей.

— Он меня на трактор зовет. Кабы Науменко не воспретил...

— Науменко уговорим. А вы своему дружку посоветуйте, чтобы он... к Марии... ну, то есть к учительнице, не ходил. Не пара она ему.

— А он меня не пошлет туда, где сидеть неловко? — усмехнулся Ефим и, смекнув, добавил: — Ты председатель, тебе сподручней вызвать и поговорить...

— Несподручно,— внимательно разглядывая стены в щелях, возразил Сазонов.— Тут власть не поможет. А об учительнице сарафанное радио сплетни разносит. Вы подскажите ему. Может, поймет.

Глава 25

После очередной выволочки в райкоме Науменко подвернул к чайной.

За угловым столиком сидели дед Семен и Лавр Печорин.

— Кирпичи-то в общей куче лежат,— разглядывая потресканные стены чайной, говорил дед Семен.— Каменщик с хитринкой клал. Которые повидней, те с лица положил, треснутые внутря сунул... Я бы его за такой расклад носом натыкал! Обмишулил хозяина, мазурик!

— Вот посельщик твой,— увидев Науменко, сказал Печорин.— Приглашай к столу.

— Хмур больно. Пусть перемается. По всему видать, нагоняй получил. Давно ли Камчук на его месте толокся? Ноне рукой не достать, на виду у всех, как кирпич лицевой...

— Я ланись тоже впросак попал,— расхрустывая огурец столетними желтыми клыками, прищурился Лавр.— Взялся один варнак печку ладить. Когда клал — все к месту было. Затопили — дымом заволокло. Разные они, этих каменных дел мастера!

— Дым в избу — к женитьбе,— чокнулся с другом дед Семен.

— Нет худа без добра. Глядишь, опять петушком разживусь!

— Одно разорение с тобой,— притворно вздохнул дед Семен.— Ну да ладно! Для мила дружка хоть сережку из ушка...

...Было далеко за полночь, когда дежурившая в конюховке Афанасея услышала скрип полозьев. Все кони, кроме председательского, были на месте.

«Приехал!» — с неприязнью подумала женщина, нехотя поднимаясь. Выйдя, ахнула: в сенях, обмороженный, вполужива, что-то мычал Науменко.

Сев на облучок, Афанасея повезла председателя к себе, сторожко оглядываясь по сторонам: деревня спит одним глазком. Как-то поехали с ним же от конюховки до дома — разговоры по сей день не умолкают.

Натерев Науменко первачом, уложила в постель и накрыла поверх одеяла тулупом.

— Выпить есть? — размыкая осоловевшие глаза, спросил он.

— Не насытился?

— Нутро горит.

Поднеся самогона, Афанасея постлала себе на полу, разделась.

— Чего перекатываешься с боку на бок? Спи...

— Душу рвет,— сипло сказал Науменко.

— Еще налить? — тронув ладонью его горячий лоб, спросила Афанасея.

— Сделай милость,— он опять открыл глаза и удивленно разглядывал тугую грудь женщины, литое, без единой жиринки тело, протянув руку, тронул твердый сбитень живота.

— Не лапай! — она отбросила его слабую неверную руку.— На человека не похож, а туда же. Пей! — с яростным отвращением поднесла второй стакан. Науменко заметил это, но не оскорбился. Слишком сильно ныло обмороженное тело. Хотелось сна и покоя.

Не гася лампу, Афанасея прилегла на пол и долго недвижно лежала, уставясь сухими тоскующими глазами в потолок, на который легли неясные тени.

Не спалось.

— Я на дежурство пойду. Утре до свету скройся, чтоб единая душа не узнала!

— Ты не майся, Афанасея! Знаю, что худо тебе. И мне худо...

— Помолчи!

Придя на конный, упала на кучу сена в проходе между стойлами. Попыталась уснуть.

Сено приятно холодило щеки, пахло свежо и пряно.

О чем-то гулко вздыхали кони, изредка переступая копытами.

В дальнем углу хрупала овес жеребая каурой масти кобылица. Была она неутомима и в работе и в любви. Не велика росточком, а на рысь лиха. В оглоблях вожжи рвет. Статью не взяла и красотой природа обделила, а жеребцы грызлись из-за нее до крови.

О чем вздыхают кони?

Каурая кобыленка млеет от материнских предчувствий, слушая, как бьется в утробе жеребенок.

Рыжко, неутолимая боль Панкратова, грустит о приволье. Как и хозяин его, он своеволен и зол. Кроме Науменко и Афанасеи, никого к себе не допускает. И волки его боятся. Конюхи в ночном, выпустив жеребца, спокойны: зверью не поддастся и табун в обиду не даст. В минуты ярости он слепо страшен. Огнистая, волнами бьющая на упругой шее грива мечется по ветру. Огромные копыта несут гибель. Он не летит над землей, как вороные Фатеева, он раскалывает землю своими мощными ногами, врезаясь в ее проломы. Если рядом стоит моло-

дая кобыленка, Рыжко вдребезги разносит перегородки. Щедр на любовь Рыжко и добр в своей большой любви. Афанасея не раз примечала, когда неукротимый пламенный конь, зверовато скалясь, гнал от озера лошадей, пока не напивалась каурая кобыла.

«Надежный конек!» — улыбалась Афанасея. Ей попрежнему не спалось. Выкрутив фитиль, поднялась и подошла к стойлу. Рыжко оторвался от кормушки, скосил большие жаркие глаза.

— Тоскливо, Рыжко?

Жеребец развернулся в узком стойле, потерся мордой о ее плечо.

— Ох он, рыженький мой! — растроганно бормотала женщина, поглаживая бугристую шею коня.— Умница моя! На волю охота? Потерпи! Теперь уж скоро...

Открылась дверь. Огонь в фонаре скакнул вверх, лизнул прокопченное стекло.

Рыжко смутился, отвернулся от света.

— Чего надо? — недовольно спросила Афанасея.— Тебе спать велено было!

— Не могу,— просипел Науменко.

Он простыл. В теле был жар. Губы осыпало.

— Ты изобиделась на меня, Афанасея? А я... это... Ну, словом, прости! Я тоже человек. Понимаю. Пьяный был...

— Выметайся! — яростно выкрикнула Афанасея.

Она сперва не хотела сердиться, дивясь нежданному проявлению его искренности. Гнев вспыхнул исподволь и теперь заполнял ее всю.

— Не сердись. Боле не потревожу. Так уж вышло.— Он виновато просил прощения, и гнев Афанасеи, неожиданно вспыхнув, неожиданно и погас. Против воли ее потянуло к этому человеку. Боясь этого жуткого и сладкого влечения, она попыталась заглушить его сердитыми словами. Но голос стал слаб и жалко намокал обидой за свою уступчивость.

— Ты что это? Один раз проехал со мной, дак уж решил, что все можно? А я не тебя ради... Я коня берегла...

— Дура! — начиная сердиться, поверил ее лжи Науменко.— Я с открытой душой, а ты...

Он удивительно хорошо, мило сердился. И дурой обозвал как-то по-особому, необидно. Так лишь один Фатеев

умел. Афанасея думала, что это никогда не повторится.

Сглотнув слюну, сказала:

— Ты приходи ко мне... после, когда стемнеет.— И оттолкнула его.

У амбаров гремел засовами Дугин, не видный в тени навесов. Проходя мимо него, Науменко остановился.

— Раненько, Алеха! — раздалось из темноты.— В твои года об эту пору токо с бабочкой нежиться...

— Зайди ко мне!

Печь в конторе еще хранила вчерашнее тепло. Повесив на крючок шубу, Науменко снял гимнастерку и, прижавшись к печке, расстегнул ворот рубахи.

Лестница заскрипела.

Шел Дугин.

— Ну и темень у тебя, Алеха! — он занес уличный холод.

— Сейчас зажгу.

Засветив лампу, вывернул тесьму, скинул рубаху, пошел на Дугина.

— Помнишь? — показывая багровые рубцы на спине со следами ожогов, спрашивал он.

— Ты уж заодно и штаны сыми,— переводя дух, нашелся Дугин.— Токо без пользы. Я ведь не Афанаска...

— Помнишь? — с перекошенным лицом наступал Науменко. Он слишком долго избегал этой встречи наедине.

— Христос с тобой! Чирьи-то к чему показываешь? Я и сам простужен до невозможности.

Науменко не принял его подсказки, рванул Дугина к свету и ткнул кулаком в его перешибленный нос.

— Чирьи? Тут боль моя... позор мой... И ты, сука гундосая, осрамил меня на всю жизнь!

— Тише, Алеха! Вдруг кто заглянет?

— Боишься? Кулакам служить не боялся?

— Не шуми. Разве мыслимо говорить такое по нонешним временам? Все ты напутал с похмелья. Говори, зачем вызывал,— уже совсем спокойно потребовал Дугин.— Не красоту же свою показывать.

«И верно: чего это я распинаюсь перед ним?» Науменко оделся, заговорил вяло, чуть слышно. Не хватало ни злости, ни сил, чтобы довести начатый разговор, как задумал. Лишь память не утихала, вминая в прошлое.

...Отпросившись у эскадронного, Науменко поскакал

к Марии. Познакомился он с ней месяц назад, когда часть стояла в Бузинке. Проходя мимо школы, попросил у учительницы воды напиться и утонул в озерных ее глазах. Уезжал — покачивало в седле. То и дело хотелось обернуться. Но за спиной усмешливо перемигивались конники. А на тесовом крылечке трепетал кружевной платочек в девичьей руке. Не в силах противиться его зову, Науменко обернулся и, пришпорив коня, подлетел к крыльцу.

— Гриша! — путаясь в заплечных ремнях, припала к нему Мария. Дрожащие пальцы намертво впились в темляк шашки.— Не уходи!

— Война ведь,— тихо напомнил он.— Скоро вернусь...

— Правда? — пальцы ослабли, переметнулись на плечи.

— Мне без тебя жизни нет, Марийка! — и, поцеловав учительницу, вскочил в седло. Но, не удержавшись, склонился к ней снова, навстречу к влажным зовущим губам.

— И месяца не пройдет — вернусь...— бормотал он, силясь освободиться от цепких ее рук.

Месяц прошел...

Науменко бешено гнал коня к школе. Там была засада. Его скрутили и стали спрашивать о чем-то. Он молчал, думая о том, как глупо попался.

Его пытали, били, обкатывали водой, снова били. Но побои, которые в иное время и в ином месте показались бы и страшными и мучительными, терзали меньше, чем стыд, полыхавший в душе. Потом, ослабевшему, поднесли стакан спирта. Очнулся он в завозне.

Спину саднило. Тронул — под гимнастеркой сплошной волдырь. Пытался вспомнить, что было. Допрос, побои, пытка... спирт. «Почему спирт? Не выболтал ли чего пьяный?»

— Воды,— попросил чуть слышно, уткнувшись разбитым лицом в исчервленный порог.— Глоток воды!

— Щас, Алеха! Щас, сообразим! — прогундосил кто-то за дверью. Вскоре порог перешагнул солдат с перебитым носом. Науменко видел этого солдата перед пыткой.— Прогнали бунтовщиков-то,— сообщил он, подавая воду.— Там какая-то часть подошла. Наш, деревенский, Петруха Фатеев за командира.

— Дел-то много натворил? — хмуро спросил Науменко.

— Я человек подневольный. Мобилизовали — пошел. Жить-то охота,— признался Дугин и, склонясь над Науменко, зашептал: — А про тебя... что на допросе пьяный сознался... не узнают. Узнают, дак не помилуют.

— Врешь ты все! — вскрикнул Науменко, а сердце предательски сжалось: «Мог... мог во хмелю выболтать!»

— Может, и вру, Алеха. Только после допроса парня вашего схватили, который с тобой ехал... били его смертным боем... и часть твою наполовину выкосили... Может, и вру.

И снова — боль, дурнота, цветные круги перед глазами.

— Помоги встать,— придя в себя, хрипло сказал Науменко.— Да помни, если слово пикнешь кому — язык вырву.

— Я сам себе не враг,— миролюбиво отозвался Дугин.

И он молчал все эти годы.

— На моей памяти было два случая: пожар и воровство,— выдержав долгую паузу, сказал Науменко.— Тут без тебя не обошлось. Молчи, знаю!

— Беда с тобой, Алеха! Несешь какую-то чертовщину...

— Не юли! Вижу, что всех запутать хочешь. Ума у тебя не хватит. Скорей сам запутаешься. Хочу упредить: если опять что случится — замешан ты или нет,— жив не будешь. Сам учти и другим накажи. Мне терять нечего...

— Не того пужаешь,— отмахнулся Дугин, но ему стало не по себе: «Конченый! Такой хоть на что решится...» — подумал; по коже поползли мурашки.

— Заявлять на тебя не стану,— продолжал Науменко.— Поздно. Когда понадобится — своей властью управлюсь. Живи пока, хоть и незаконно это. Сволочи не должны топтать землю.

— Топчут! Куда их денешь?

— И ты до поры топчи. Оступишься — не подымешься...

Науменко уставился в фиолетовое окно и долго молчал. Его молчаливое отчаяние что-то шевельнуло в душе Дугина. Дугин смущенно кашлянул, не зная, уходить ему или остаться.

— Ты робь, Дугин! Изо всех сил радей для колхозу! — переходя на шепот, просительно заговорил Науменко.— Подымать его надо. Это и будет для тебя высшей

мерой. Заслужишь — все забуду. Хоть и заждалась тебя пуля... Сгинь теперь!

— Ишь какой ушлый! — шагая домой, думал Дугин. — Я буду радеть, а ты меня за чужие провинности кончишь...

Он не считал себя виноватым в том, что по его наущению Митя поджег колхозные амбары и угнал из пригона овец.

«Я-то своих рук не прикладывал!»

А сам подстерегал случай.

Случай с Сазоновым помог ему впутать Прокопия.

Случай с Бурдаковым помог оклеветать Гордея.

«Случай не подведет!» — думал Дугин, хотя для себя лично он немного извлек из того, что Сазонова ударили по голове, а Гордей несколько дней отсидел под следствием.

Дома, усевшись за стол, он старательно выводил на бумаге слова доноса, меняя наклон букв в левую сторону.

Строчки выписывались неровно, как жизнь человеческая, клонясь то влево, то вправо, а то убегали вниз или поднимались вверх.

«...Означенный гражданин Науменко был не раз замечен мною в сношениях с белыми. По его упреждению в руки врагов попал знаменитый герой наш товарищ Камчук, которого при том терзали и с веревкой на шее волокли за конем. Кабы я не страшился за свою жизнь, поставил бы полную подпись. Боюсь и потому подписуюсь Верным человеком».

Дописав последнее слово, Дугин перечитал творение рук своих и недовольно покачал головой.

«Надо будет переписать. А то буквы, как зайцы от охотника, во все стороны припустились».

Сунув послание за божницу, зашептал молитву:

«...Да воскреснет бог и разыдутся врази его. И да бегут от лица его ненавидящие его. Яко исчезает дым — да исчезнут. Яко тает воск от лица огня. Тако погибнут беси...»

Глава 26

Перед окончанием курсов Прокопий на несколько дней отпросился домой. Едва успев поздороваться с родными, ушел к Марии.

Он многого недопонимал в их непростых отношениях и тревожился за любовь, в которую вкралось нечто холодное, непонятное.

Мария была добра и чутка: ласкала даже тогда, когда на душе у нее, как сегодня, кошки скребли,— и он замечал это. От этого было печально и неспокойно. На всем лежала пелена грусти и недоговоренности. А снять ее Прокопий никак не умел. Возможно, здесь сказывалась разница в годах, над которой Мария не сумела одержать верх.

Она тайком выщипывала у себя седые волосы, но седина, словно в насмешку, все гуще усеивала голову. Тонкая, стройная, с бледным чистым лицом, она казалась моложавой, молодой, почти девушкой. Лишь в глазах плескалась постоянная бабья тревога. От нее по лицу, у губ и под глазами расходилась легкая, едва заметная морщь. Прокопий любил целовать эти тонкие нежные морщинки...

Утром молча оделся и грустно побрел по сонной деревне.

У печки, как всегда по утрам, возилась Александра. Отец покачивал на ноге улыбающуюся Фешку.

— Явился, полуночник! — нахмурилась мать.

— А я знаю, где он был! — вскочила Фешка.— Меня в школе все учителкиной родней дразнят. Ты ее жених, Проня?

— Болтушка! — покраснел Прокопий.

— Пройди в горницу,— велел отец, снимая с ноги Фешку.

Раздвинув на окнах занавески, сел на табурет у зеркала и негромко спросил:

— Как жить думаешь, сын?

— Как жил, так и буду.

— В твои года за слова отвечать пора,— недовольно покосился отец.— Это Феше простительно. Она дитенок.

— Я правду говорю, тятя. По-старому жить буду.

— По-старому не выйдет. День на день не приходится. Я вот уж не смогу жить, как ты. А ты не сможешь, как Феша.

— Тогда не знаю,— потупился парень.

— Я, не обдумав, шагу не шагну. А ты как-то очень уж легко живешь. Вокруг тебя — люди. Хоть бы об их подумал...

— Пускай сами о себе думают.

— А ежели ты им дорогу перекрыл? В твоей жизни замешаны многие: учительница, Науменко, мать, Катерина... И всем больно. Вот я и спрашиваю: как быть?

— Не знаю.

— А надо знать! — повысил голос Гордей.— Вдруг чью судьбу сломаешь! Может, сломал уж... С Григорьем-то они не из-за тебя разошлись?

— До меня еще...

— Один грех долой,— облегченно вздохнул Гордей.— И как вы решили?

— А что решать? Мне в армию идти.

— Стало быть, сам за всех обдумал? Отец с матерью тебе ни к чему?

— За меня военкомат думает. И за вас тоже. Тут хоть что делай, а будет так, как будет.

— Легко рассудил. Вдруг с дитем оставишь ее?

— Нет... как будто нет.

— Тогда погоди, не женись до армии. Себя проверь и ей дай время. Она женщина серьезная. Сомнешь — век себе не простишь.

— Я ведь все понимаю, тятя.

— Понимаешь, и ладно,— сухо сказал отец и медленно вышел.

— О чем он с тобой? — проводив Фешку в школу, спросила Александра.

— О разном,— нехотя ответил сын.— Ты разве не подслушивала?

— Досуг мне...— проворчала Александра.

Она пробовала подслушивать, но дверь скрипнула, и ее пришлось прикрыть.

— С Катериной-то как будешь?

— О ней пущай Сазонов пекется.

— Ты почто девку оговариваешь? Она и так вся изввелась из-за тебя.

— Не из-за меня, мама.

— А я говорю: из-за тебя! Ты испортил ее! До тебя кровь с молоком была! А теперь тоньше былинки стала.

— Я за всех не ответчик,— буркнул Прокопий.

— Ты как говоришь со мной? Ты с кем говоришь? — Александра сняла с вешалки Гордеев сыромятный ремень и огрела сына. Он схватил мать за руки и отнял ремень.

— На мать?! На родную мать руку поднял? — Александра села на лавку и разревелась.

— Не надо, мама! Я ведь не тронул тебя... Я ведь только ремень взял...

— Взял, дак бей! Стерплю и это. Отец крикнуть не смеет, а сын ударить готов...

— Прости меня. Ну, ей-богу, нечаянно. Я не хотел, ты не сердись!

— Драть тебя надо. Шкуру спустить за Катю, за всех нас...

— Дери, мам, только не сердись...

— Хоть бы уж в армию скорей призвали! Всех растравил, растревожил!..

— Скоро, мама! Теперь уж скоро!.. Потерпи немного.

— Я привыкла терпеть. Уйдешь — тоже немногим легче. Вдруг — война?

— Войны не будет! — улыбнулся Прокопий, обнимая мать, скоро забывающую свои обиды.— Войны сто лет не будет.

— Токо на моем веку три отгремело. А сто лет разве люди утерпят?

— Не будет, ей-богу, не будет!

— Бога-то за все не тереби! — рассердилась Александра, шлепнув сына.

— Отец уходит от бога, а ты назад тянешься...

— Кому-то надо ваши грехи отмаливать.

— Сами за грехи расплатимся. Ты не отмаливай, мама! За все сочтемся сами...

Глава 27

Как-то встретив Прокопия, Сазонов зазвал его в сельсовет.

— Давненько не виделись,— обдумывая начало разговора, он осторожно пересыпал в ладони искусно вырезанных деревянных идолов.— Как думаете, клуб не пора строить?

— А мне что? Велишь строить — начнут...

— А вы? — с готовностью уцепившись за эту совсем случайную тему, поднял глаза Сазонов.— Вам разве клуб не нужен? Потолкуйте с ребятами насчет строительства...

— Я на курсах. Да и дело это не мое, Ефимово. Он комсомольская голова.

— Да, да, я совсем забыл,— смутился Сазонов.

Прокопий с интересом глядел на фигурки: видно, что сделаны мастером.

— Нравятся? — уловив его взгляд, спросил Сазонов.— Берите.

— Куда их мне!

— Отказом обидите. Учитесь у своего отца не обижать людей.

— Ему у подворотни не попадаются...— выдавая себя, намекнул Прокопий и заторопился.— Ежели все, дак я пойду.

— Идите. Я только посоветоваться хотел.— Сазонов потер вмятину, оставшуюся на память от его удара, веря и не веря, что оставил ее этот незлобивый парень.

А Прокопий мялся, жалея о скором и некстати вырвавшемся признании, и тискал в кулаке ненужный подарок.

— Чуть не забыл,— вспомнил Сазонов как бы между прочим.

«Начинается! — ужаснулся Прокопий.— Не успел!»

Он уже стоял у порога, спиной к председателю, держась за дверную скобу.

— Вы в школу зачастили... Люди всякое могут подумать... А она женщина уважаемая. Поберегите ее от пересудов!

Прокопий круто обернулся, шагнул обратно.

Теперь он чувствовал себя сильнее Сазонова, хотя минуту назад у него немел язык при одной мысли о том, что этот хитрущий дьявол зазвал его не для простого разговора.

Приблизясь к нему, с злобной ухмылкой спросил:

— Последыши мои подбираешь? Остерегись. Станешь на дороге — опять голову проломлю! Ты нашу породу знаешь...

Швырнув фигурки на пол, стремительно выскочил из сельсовета и загрохотал по ступеням. От его шагов задребезжали стекла.

«Сердитый паренек! — растерянно постукивал пальцами по столу Сазонов.— За что он меня? Неужели к Кате приревновал? Разве мы ровня? Если бы еще к Марии...» Но, коснувшись этой запретной темы, прикрикнул на себя: «Ерунда все это! Выкинь из головы!»

И все же он стал чаще бывать в школе, выдумывая

для этого самые невинные предлоги: то привозил дров или тесу, то в минуты хандры захаживал за книжкой.

— Когда вы успеваете столько прочитывать? — недоумевала Мария.

— Сам не знаю. Начну читать — нет сил оторваться. Последнюю страницу перелистну — жалко станет, что дальше листов нет.

— У книг, как и у людей, свои пределы...

— А жаль! Так можно все книги перечитать... особенно в вашей библиотеке. Мало здесь книжек!

— Эти-то кое-как собрали! Да и они не для детей. Детям что полегче надо, а здесь «Война и мир», «Идиот», «Мертвые души»...

— Хорошие книги! Только мало. Давайте как-нибудь вместе съездим, подберем...

— Поезжайте с Иваном Евграфовичем. Я холостых мужчин избегаю,— отшутилась учительница.

— Всех? — ляпнул Варлам и тотчас прикусил язык.

— Извините, мне на урок.

Ей не понравился нескромный вопрос Сазонова. И вспомнилось кстати, что Прокопий сердился из-за этих посещений. Но не выгонять же Сазонова, тем более что приходит только по делу, и чаще всего к Ивану Евграфовичу. Он не назойлив и разговаривать с ним приятно и легко. Но Прокопий рассуждал иначе и запрещал ей видеться с Сазоновым. А она хотела. Ей нравилось злить Прокопия, разжигая его ревность. Хоть в этом она чувствовала себя сильнее его. И ревностью, одной лишь ревностью пыталась расшевелить в нем умирающее чувство.

Ее мучило непобедимо-грозное предчувствие, что счастью любви, вспыхнувшей так внезапно, скоро придет конец. И удержать при себе Прокопия немыслимо,— как немыслимо вернуть молодость.

Она спешила, впивала в себя все, чтобы насытиться уходящим. Страх перед этой невосполнимой потерей был так велик, что порой задавливал самое чувство, хоть и сильное, но не смеющее быть решительным.

Этому мешали десять лет разницы в годах.

Глава 28

Семен Саввич и Логин перешли мост и свернули к белому яру, за которым сахарной глыбой высился древний курган. Курган был скользкий, укатанный ребятиш-

ками; именно поэтому взрослые остерегались взбираться на него. Однако немного погодя Науменко, выглянувший из окна конторы, увидел приятелей на самой вершине: «Ишь верхолазы! Носит их нелегкая!»

Они стояли на кургане и о чем-то судачили. Точнее, говорил один Семен Саввич. Логин, раскинув подрамник, рисовал выступающее на белоснежье село.

Подписав ведомости, Науменко опять подошел к окну. Маленькие спокойные фигурки приковывали к себе его взгляд. Захотелось уйти из этого дома, от дел, которые никогда не переделать, от косоглазого счетовода, надоедливо постреливающего на счетах.

— Шел бы ты обедать, Никифор! — хмуро кивнул он счетоводу.

— А я не обедаю, Григорий Иванович. Настасья, супружница моя, худеть велит.— Счетовод вытащил из стола морковку и захрумкал.

— Худеть, а сам, ровно кролик, хрум да хрум!

— Единственно лишь для умственного поддержания. Телом я и так широк, о теле заботы нету. Морковку ем, чтобы ум не заузился. И тебе советую. Ужасно полезная овощь!

Выйдя из конторы, Науменко повернул к кургану, на котором все еще маячили Логин и Семен Саввич.

«Как они забрались туда?» — скользя и падая, недоумевал Науменко. Он злился оттого, что не может подняться наверх, а колченогий старик и тщедушный Логин легко сделали это. Сапоги оставляли за собой следок с царапинами подковок, скреготали, разъезжались, как лыжи. Науменко нелепо взмахивал больной рукой, пальцами здоровой пытаясь вцепиться в твердый, как пряник, снег.

Было стыдно своего бессилия, неумения совершить такое простое восхождение к людям, чьи голоса он слышал то совсем близко от себя, то чуть подальше.

Вдавливая в курганий лоб каблуки, он наконец одолел две трети подъема, ухватился за серый кустик полынки. «Не пахнет,— приникнув к растеньицу, пожалел Науменко.— А мята и зимой духовита». Неосторожно разогнувшись, выдрал полынь с корнем и, поминая всех святых, перекувыркиваясь с боку на бок, покатился вниз. Он чувствовал, что это смешно со стороны, но не мог развернуться на укатанном склоне.

Сверху на него глядел Семен Саввич. Науменко катился и видел то его и Логина, то контору с тополями перед ней. Оттуда за ним наверняка следит Никифор. Уж он-то распишет, как председатель с горы кувыркался!

У самого подножья Науменко все-таки сумел развернуться, с достоинством съехал сидя и, вставая на ноги, рассмеялся.

— Ты к нам, Григорий? — веселым хохотунчиком слетел вниз стариковский голос.— Вон там ступени продолблены. Разве не знал?

— Я ишо многого не знаю,— обходя курган, отвечал Науменко.

— Вот-вот,— довольно кивнул старик.— А что к земле припал, дак это хоть кому на пользу. Голос-то ее слышал?

— Может, и слышал, да не различил,— легко взбираясь по ступеням, улыбался Науменко.— Не до того было...

— А ты почаще припадай — различать станешь... Услышишь скорбь человеческую. Сколь скорби этой впитаешь — столь силы в тебе прибавится. Это не я сказал, Гриньша, это народ бает. А народ мудр. Так ли, Лога?

— Воистину так, Семен Саввич. Кто о земле скорбит, тот добр, злу препона. Погибнет зло — промеж людей одна радость поселится...

— Ишь он как повернул! Люди-то не одинаки... Выговор, карахтер — все разно. А всего пуще богачество рознит. Нам вот с тобой богачество ни к чему — другим токо то и дай.

— Не богачеством надо оделять человека — а правдой-истиной...

— Точно, Логин,— поддержал Науменко.— А истина у нас одна: коммунизм... Это не я у тебя на вершину-то лезу?

На полотне вырисовывался курган с еле приметными домиками под ним. Был он огромен, высок, недоступен. Несмотря на это, упрямо и дерзко одолевал головоломную высоту маленький человечек.

— Не ты один, Гриньша, все помаленьку лезут,— сизыми, негнущимися пальцами Семен Саввич свернул «козью ногу» и свил губами затейливую паутинку дыма.

Шумнул ветерок, обежал вокруг кургана, обнюхал и,

присвистнув, поскакал по полю, сдувая с него снег. Черными мозолями проглядывала земля.

— Снег задерживать надо. Сдувает снег,— сказал Науменко и, оставив приятелей, уже не боясь пересудов, съехал вниз.

III

— Общее собрание созывать надо,— непривычно трезвым зайдя к Сазонову, сказал Науменко.

— Надо — созывайте.

— Когда назначим?

— Да хоть сейчас.

— Смеешься? Людей не оповестили...

— Велико дело: пока до конторы идем — все соберутся.

— И получится не собрание, а вечерка...

— Называйте как угодно. Главное, чтобы на этой вечерке люди думали... Им незачем доклады готовить. Все, что могут сказать, у них в голове.

— Это-то верно, да ведь есть распорядок!..

— А что он нам — распорядок? Давайте попроще, так искреннее получится...

Они вышли из сельсовета под самый закат.

День удлинился.

Потеплело.

Снег, еще перед крещением лежавший пышными сугробами, осел, состарился и тоненько пропускал через себя первые запахи весны. Возмужавший день, тихо золотистый закат, да и сама необычность решения Сазонова — все это прямило Науменко, согнувшегося за зиму. Возбужденно блестя озорноватыми глазами, он приветливо поглядывал на встречных, перебрасывался с ними шутками, приглашал с собой, слышнее припечатывая шаг по затвердевшей дороге.

— Когда зерно травить будем? — дивясь непривычному, забытому блеску в глазах председателя, встретившись, первым спросил Дугин.

— Пошли в правление. Там поговорим.

Дугин быстро и опасливо покосился на него, на Сазонова. Сазонов привычно щурил припухлые спокойные веки и шагал, уставясь себе под ноги.

— Ровно свататься собрались? — допытывался дед Семен, направлявшийся к Логину.— Да вот кто жених — не пойму...

— Тебя наметили,— усмехнулся успокоившийся Дугин.— Ты не против?

— Я что? Я всегда с дорогой душой. Токо в моем дому крыша до свадьбы не выдюжит. Небо наскрозь видно. Тесу не дашь, председатель?

— Единоличнику-то? — начал было Дугин.

— Можно,— сурово оборвал его Науменко.— Для порядка пошли, с людьми посоветуемся.

— Опять, слышь, кого-то раскулачивать собрались,— заметив идущих, вздохнул Ворон.

— Кроме тебя, некого,— отозвалась через забор Агнея.

— С меня взятки гладки. Что было — взяли. Чего нет — пущай берут.

Проходя мимо кузницы, в которой копошился Ямин, закричали:

— Глуши фабрику, Гордей! Заседать пойдем!

— Ему не внове: в начальниках привык небось...

— Этот начальник не из тех: все больше с молотом.

— Хоть бы для фасону штаны кожей обшил!

— Под штанами-то разве не кожа?

— Чего горланите? — выглянул из кузницы Ямин.

— Пойдем, Гордей Максимыч, о жизни потолкуем.

— Заходите ко мне и толкуйте.

— Для таких разговоров мала твоя кузница,— построже сказал Науменко.— Глуши!

Видя большое скопление народа, к правлению спешили бабы и ребятишки, окруженный девчатами шел с гармонью Прокопий.

— Веня,— остановив старшего из Бурдаковых, попросил Науменко,— ты сядь верхом да кликни тех, кто дома засиделся...

— Не надо,— остановил Сазонов.— Не надо, сами придут.

Темнело. Нехотя, как капризный ребенок, которого мать укладывает спать, уходил шумливый день. Трескучие воробьи все еще рылись в колхозной ограде меж голубями. Вспугнутые входящими, они взлетели на крышу. Венька бросил в них хворостиной и побежал на конный двор седлать жеребца, чтобы вопреки запрещению Сазонова прогарцевать на нем через всю деревню под завистливыми взглядами ровесников.

Скоро по раздумчивой тишине февральских сумерек ударил звонкий дробящий цокот копыт. Осаживая уро-

сившего коня, ставшего на дыбки, Венька постучал к Коркиным.

— На собрание, тетка Агнея! Тебя одной не хватает!

— У меня кролы не кормлены...

— Небось с голода не умрут. Собирайся живо!

— Там Евтропий. Домой придет — мне перескажет.

— Ему недосуг,— приврал первое, что взбрело в голову, Венька.— На сеновале с Афанасеей тешится...

— Чего мелешь?

— Поди проверь.

Спятив плясавшего жеребца, Венька отпустил поводья. Конь прянул в сторону, едва не вышибив его из седла.

Отшвырнув к колодцу загремевшие ведра, Агнея, ходившая на сносях, пошла на конный, обеими руками придерживая низ обвисающего живота.

По переулку скрипели чьи-то сани. В другом конце деревни брехала беспокойная собачонка. Невидимые в темноте, громко переговаривались идущие на собрание колхозники. Агнея держалась в тени.

У конного не было ни души. Пройдя в пригон, она взобралась на сеновал, прислушалась. Внизу хрумкали сеном кони. Вот загремел засов. Схватив длинные вилы-тройчатки, женщина скатилась вниз, пристыла у дверей.

— Коркина к председателю! — хриплым, изменившимся от злобы голосом крикнула, не решаясь войти.

Створчатые двери чуть приоткрылись. Кто-то просунулся в щель между ними. Агнея взмахнула вилами. Выходивший, вскрикнув от неожиданности, оступился и упал, скатившись с уклона.

— Ах ты, кобелина бесстыжий! — накинулась на него Агнея.

— Сдурела? — перехватив вилы, проговорил кто-то, и по голосу Агнея узнала в упавшем Пермина.— Чего размахалась?

— Ты? А я ведь на моего подумала! Здесь он?

— Поищи, может найдешь. Да зорче гляди, а то опять не того ударишь.

Отпихнув его, Агнея протиснулась внутрь, едва не застряв между створками, и увидела Афанасею, дававшую лошадям корм.

Пермин почесал ушибленное место, усмехнулся и пошел в правление.

В конюховке было людно. Степенно переговаривались между собой старики, опираясь на костыли. В углах, повзвизгивая, возилась ребятня. На лестнице, наигрывая плясовую, устроился Прокопий. В тесном углу носилась Шура Зырянова, вызывая на пляс Евтропия, который и не подозревал, что его оклеветали.

— Уйди, шалопутная! — отбивался он.— Прилипла как банный лист!

— Дробани, чего там! — подтолкнул его Науменко.— Пусть знают наших!

— Сам-от не смеешь?

— Не приглашают.

Шура, пройдясь по кругу, рассыпала дробь перед председателем. Он отступил, примерился, резко выкинув ногу, часто и молодо застрекотал ладными хромовыми сапогами.

— О-от режет бес! — восхищенно протянул дед Семен.— Мастак, едри его в голяшку!

— Это, слышь, не колхозом управлять! — отозвался Панфило.— Тут мозгами шевелить не надо.

Отпыхиваясь, Науменко остановился напротив деда Семена.

— Спасибо, Проня! — поблагодарил он гармониста, будто между ними ничего не было, и обратился к старику: — Видал, как в колхозе пляшут?! Вступай, пока жив. На том свете гармошек нет.

— Колхозов тоже нет,— огрызнулся старик и отвернулся к Логину.

В круг впорхнула Катя. Она давно не плясала и, сторонясь людей, молча носила в себе свою беду.

Милый мой, к чему, к чему
Лишние страдания?
Разлюбил — скажи, пойму.
И навек расстанемся,—

пропела она с адресом.

Прокопий с шумом сдавил мехи, застегнул гармонь.

— Еще поиграй! — попросил Ефим, положив руку на ремень гармошки. Оттолкнув его, Прокопий молчком прошел к скамейкам, на которых кучно сидели парни. Катя, обидчиво закусив слинявшие, изогнутые сердечком губы и едва удерживая слезы, спряталась в угол.

— Заходить велено! — крикнула курившим на улице

Афанасея и села рядом с Агнеей. Они, как видно, уже успели объясниться, и все кончилось мирно.

— Второй месяц живем в тридцать четвертом году,— переждав, когда смолкнет гул, начал Науменко.— Весна в гости метит, а мы и не думаем о том.

— Думайте,— скрежетнул Ворон.— Помене пейте, поболе думайте!

— А ты разве не обязан думать?

— Мое дело телячье: поел — и в угол.

— Ну да, ты, конечно, ни при чем,— спокойно кивнул Науменко.— Вот если бы начали колхоз делить...

У стены под сбруей неприметно устроились Сазонов и Ямин. Они тихонько переговаривались о своем, будто собрание их не касалось. У противоположной стены сидели учитель и Пермин. Пермин что-то говорил, Иван Евграфович согласно кивал головой, отчего длинные, жирные волосы его метались по лбу пучками.

— Здесь базар или собрание? — прикрикнул Науменко.— Эй там, галерка, потише! Кто насчет весны говорить будет?

— Что о ней говорить? Сама придет.

— Дожить надо.

— Из пустого в порожнее переливает.

— Тоже занятие,— густым, рокочущим басом сказал цыганистый, стриженный под горшок Панкратов.— Больше говорим,— меньше о брюхе думаем.

— Ну, вам-то, Мартын, о брюхе не следует волноваться,— заходя сзади, негромко сказал Сазонов.— Осенью разжились на току...

— Ты видал?

— Он не видал, дак я примечал,— поднялся Коркин.

— Постыдился бы! Сам-то давно ли из-за колхозных овец с соседом дрался?

— Может, указать, где закопано?

— Не конфузьте его, Евтропий Маркович! — остановил Сазонов.— Он и сам понимает, что лишнего наговорил.

Сазонов вкрадчиво улыбался, поглядывая на затылки колхозников, отчего те беспокойно ворочали шеями, оглядываясь назад.

— Завелось два-три жулика и кладут пятно на все Заярье.— Сазонов явно приуменьшил, чтобы колхозники перестали нервничать.— Один отсиживает, другой, по

старости лет, на свободе, а третьего не сразу распознали... Как же мы им дозволили, товарищи? Очень нехорошо получается! Давайте вместе заботиться о колхозе! Вы не убегайте, Панфило Осипович! Дело прошлое. Люди вам простили, а бог, поскольку его нет, не заметит.

— Я до ветру,— буркнул Ворон и под смех колхозников скрылся за дверью.

— У тебя все, Варлам? — недовольный тем, что собрание отклонилось от повестки, спросил Науменко. И, когда тот кивнул, продолжал:

— Ежели кого из воров обошли, не обессудьте. В другой раз перышки пощиплем. Но уж зато так ощиплем, что вся срамота на виду окажется...

— Бурдакова почто не помянул? — спросила Фекла.

— С мертвых не спросишь. А дети не виноваты. Я как раз хотел просить собрание выделить ребятишкам пудов с пяток хлеба.

— Тут возражений не должно быть,— поддержал Пермин.— А то Науменко этим иждивенцам всю муку у себя выгреб. Марья из-за этого домой не пущает.

— Это моя тревога,— сурово оборвал Науменко.— С воровством пора кончать, товарищи! Стыд-позор! Никогда не водилось такого, и вдруг...

— А жить как?

— На трудодень не разбежишься...

— Не напрасно прозвали его — трудный день...

— Кабы один день, а то весь год...

— Ну что ж, давайте разделим колхоз,— не дожидаясь, когда смолкнет шум, предложил Науменко.— Вернемся к старому... Райское житье! Ребятне пример показали. Все гужи у хомутов обкарнили. Афанасея, выдь, доложи собранию...

— А что докладывать? Вон она, сбруя-то, на виду,— неохотно поднялась женщина.— Григорий... Григорий Иванович верно говорит. Испакостили сбрую. У меня не сто глаз — следить за каждым.

— Панкратов-меньшой плетеную шлею сволок!

— Этот не промахнется! Весь в отца!

— А твой Яшка? У меня на глазах гуж отпластнул...

— Тише! Тише! — поднял руку Сазонов, как бы зажимая в своем кулаке все выкрики.— Давайте по существу!

— Ну тогда я начну о весне? — опять предложил

Науменко. Ему никто не возражал.— В эту весну пустошь у Ракитов поднимать придется. Такая установка из района. Да и земля зря простаивает. А хлеба каждый год до нового урожая не хватает. Думаю, установка правильная. Какое ваше мнение?

— Мое мнение другое,— возразил Ямин.

На него заоглядывались, зашептались: Ямин на собрании говорит — такого еще не бывало.

— Скажу, как сумею. Гнем мы спину от зари до зари, а хлебушка досыта не едали. Жили же единолично, с голоду не помирали. Неужто в колхозе ноги протянем? Быть того не может!

— Не тяни, сказывай свои планты!

— Речистый стал!

— Видно, замок на губах испортился — не иначе...

— На то и заместителем задвинули, чтоб речи произносил...

— Речи пущай другие произносят, а я говорить буду. Вот вы зубы моете: дескать, заместитель, а я разницы не вижу... все мы колхозники!

— Есть разница! — крикнул Панкратов.— Ты на моем Рыжке ездишь, а я пешком хожу...

— Завидно? Занимай эту должность и езди на своем Рыжке. А я и пешком не пристану...

— Если ему народ доверит — займет,— вставил Сазонов.— Пока не доверили. И нечего попрекать за то, что Ямин в кошевке ездит. Все хозяйство не обойдешь... За ним глаза да глазоньки нужны.

— Верно. Велико наше хозяйство! За всем усмотреть не поспеваем. Оттого и бестолковщины много. А рук мало. Да и много ли сделаешь одними руками?

— Нынче два трактора сулили.

— Ты короче, а то заснем!

— Разохотился!

— Дайте сказать человеку. В кои-то веки разговорился...

— Скажу,— кивнул Гордей.— Ежели неправильно — поправляйте. Думается мне, пустошь у Ракитов поднимать необязательно. Наоборот, посевную площадь сокращать надо...

— А Камчук-то? Он тебе...

— Вот отмочил!

— Мы разве не сами себе хозяева?!

— Когда хлеб ростим — хозяева, вырастим — другие находятся...

— Поля забросим, а кормиться чем?

— А ему что? Уголек продаст,— сказал Панкратов.

— Ты, Мартын, мне глаза не коли! К моим рукам чужое не льнет. А поля забрасывать не надо. Токо — посевы сократить. Пока на одном поле хлеб растет, другое пусть отдыхает, потому как все сразу нам не осилить. Мы теперь и сеем не вовремя, и убираем как бог на душу положит. А хлеб под снегом остается. Для кого сеем? Для птицы? Она и без нас найдет чем кормиться. Лучше уж так: поменьше обиходить, да поусевистей. С этой земли после вместо сорока пудиков полтораста, а то и все двести возьмем.

— Красиво пишешь! — проворчал Панкратов.— Как на деле выйдет?

— Пиши по-другому! Я не один в колхозе. Воп сколь хозяев сидит. Не согласны — не надо. А токо к тому идем. Это насчет хлеба. Вторая сторона...

— Постой, Гордей! — взмолился Науменко.— Давай не будем горячку пороть. Подумать надо.

— Думай не думай — сто рублей не деньги! — выкрикнула Агнея. Она поддерживала брата: Гордей не может ошибиться. Прежде чем сказать, год думает.

— У тебя их сроду не бывало, ста-то рублей, потому и не деньги. Такие вопросы с наскоку не решаются. Я хоть и кавалеристом был, а подумать люблю.

Дугин бочком пробрался к столу и, не спрашивая разрешения, заговорил:

— Я тоже к тому склоняюсь... Разве не правда, что половину хлеба и картошки под снегом оставляем? Сколь в прошлом году заморозили? Я точно скажу. У Пустынного семь гектар да восемь у Земляного. Ежели бы все это собрать — каждый из нас получить мог дополнительно немалую толику. А Науменко по Камчуку думать будет, сколь бросовых полей засеять. Кому она нужна, такая наша работа? Ежели получше удобрить эти — хлебом завалимся. А удобрять не шибко хитро. Назем из пригонов в яр валим. Разве тяжело на версту или две дальше провезти, на поле высыпать? Земля за доброту нашу стократ отплатит...

— Теперь другая сторона,— недоверчиво покосился на него Гордей.— Колхозный скот падает. А на своих

сеновалах сенцо с запасом. Давайте, мужики, поддержим колхоз! С каждого двора по полвоза — не разоримся... Я воз выделяю...— Переждав крики, которые раздавались потому, что кричать привыкли по всякому поводу, Гордей продолжал:

— Это токо предложение. Не глянется — откажитесь. А все ж таки стыдно будет, ежели скот уморим. Коровенки, хоть и никуда негодные, а все же молоко дают. Мало, но сколь уж есть... Будь моя воля, я бы давно их на мясо пустил...

— Вот дак пожалел! — рассмеялся Пермин.— Как волк кобылу...

— На мясо! — твердо повторил Гордей.— А взамен — путных коров приобрел бы... Ну-ка скажи, Катерина, сколь с одного вымени надаиваешь?

— Шесть-семь литров.

— Ну вот. А моя корова худо-бедно дает по восемнадцати литров. Дак что выгодней? То ли кормить сотню худых, то ли полусотню добрых?

— Районное начальство за расширение фермы, за увеличение поголовья... А ты за сокращение голосуешь,— поежился Науменко.

— У нас свои головы на плечах...

— Как бы их за самоуправство не сняли...

— Если это делается в интересах колхоза — не снимут,— успокоил Сазонов.

— Кабы мы сами себе хозяева были...

— А вы и есть сами себе хозяева.

— Ты это Камчуку скажи.

— Скажу, когда понадобится. Продолжайте, Гордей Максимыч! — Сазонов давно и заинтересованно слушал Ямина.

— Есть и третья сторона. Лето, судя по снегу, должно быть теплым, с дождичками... Значит, всякая овощь уродится. Может, около Ярки парники раскинуть? Там земля такая, что без нашей помощи вырастит. Нам останется токо на базар увезти. Лишняя копейка в кармане не помешает. Все у меня. Ежели что не так, извиняйте. Говорю, как умею.

— Замечательно говорите! — похвалил Сазонов. Ему было приятно слушать этого большого, сдержанного человека. Если он заговорил, то, видимо, основательно обдумал сказанное.

— Мысли твои наскрозь верные! — сказал Пермин.

— Ты гляди, — удивился Евтропий.— Пермин подкулачника хвалит!

— Стало быть, есть за что. Умно говорил, токо бы все по-твоему вышло!

— Тут уж пущай всяк свое слово скажет. А то после, если что не так, все на меня валить будете...

— Это ты зря. Мы тоже не посторонние.

— Давайте все по порядку,— остановил Науменко.

Когда проголосовали за предложение Ямина, спросил:

— С фермой как будем?

— А как лучше? — он взглянул на Сазонова.

— Народ скажет. Голосуйте.

— Будь по-вашему,— вздохнул Науменко.— Ох, и нагорит мне за это!

— Ну, коли начали, давайте доводить до конца.

Проголосовали и за это.

— От Александры Яминой заявление поступило. Просит от яслей освободить. Правление не возражает. Я предлагаю назначить ее заведывать фермой. Как смотрите?

— Куда иголка, туда и нитка! Оба в начальство,— усмехнулась Фекла.

— Дорвались...— поддержал ее Панкратов, но не столь громко.

— Голосуй! Петухи поют, а мы все еще штаны протираем.

Глава 29

В Заярье пришла весна, горластая, беззаботная, как цыганка. Елочными игрушками свесились с крыш сосульки, загомонили ручьи, над которыми кагали гуси, поглядывая на мутную водицу красными удивленными глазами, заплясало по лужам косматое, холодное пока еще солнце.

Стосковавшись по родным местам, по смуглым весенним проталинам, вернулся Федяня. Свое возвращение отмечал шумными гулянками, сыпля в оттаивающие окна домов забористые частушки.

Весна будоражила не одного Федяню. С утра по деревне размашисто вышагивал Евтропий Коркин; лапая мослаковатой, загребистой горстью плакучие сосульки, крошил на репчатых зубах.

«Заневестилась, стерва!» — восхищенно рычал он и, сплевывая леденистую слюну, огромным коричневым сапогом расплескивал подстывшие за ночь лужи. Было ему необъяснимо хорошо, но запел он почему-то грустную каторжанскую песню.

Звенел звонок нащет поверки,
Ланцов задумал убежать...

У моста песня оборвалась. Коркин что-то замыслил и повернул обратно. Но там, в медпункте, после родов лежала Агнея. Он затоптался в нерешительности, пока не поскользнулся в лыве, упав пластью. Поднявшись, шагнул на мост, который сегодня странно выгибал бревенчатую хребтину. «Чудеса!» — бормотал Евтропий, балансируя на бревнах, как на канате.

На противоположном берегу, опираясь локтем на перила, дыбился Федяня; в левой руке его раскачивался шкворень. Евтропий пошел на сближение. Блаженно улыбаясь, Федяня опустил на него шкворень, и, уткнувшись друг другу в плечи, они задремали.

Их сладкий покой нарушил ехавший с фермы Венька Бурдаков. Огрев каждого по очереди плетью, он ускакал.

— Почто дерешься! — не разобравшись, толкнул приятеля Евтропий.

Дернувшись от тычка, Федяня взмахнул шкворнем, но не удержал его в неточных руках. С тополя, склонившегося над яром, сыпанули студеные искры. Со звоном дрогнули бескровные ветки.

— Айда ко мне! — добродушно зевнув, пригласил Евтропий.— Агнея парня родила...

— А я при чем? — задремывая, отмахнулся Федяня.

— Выпьем! Агнея-то в больнице...

Это воодушевило Федяню. Загромоздив улицу, гуляки двинулись к Евтропию, горланя о Ланцове, которому так и не удалось на этот раз убежать.

После медпункта Евтропий приложил к губам палец, замолк. Федяня зачарованно повторял все его движения, то грозя кому-то пальцем, то старательно вышагивая следом на цыпочках.

Из сельсовета за ними следили Пермин и Сазонов.

— Что это они?

— От Агнеи прячутся.

— Зря стараются. Даю слово, сейчас выбежит.

— Пожалуй что. Фельдшерица жалуется на нее: едва успела родить — домой засобиралась.

— Наши бабы не приучены по больницам рожать...

Из медпункта, легка на помине, вышла с ребенком на руках похудевшая Агнея.

— Уже накачался! — голос не предвещал ничего доброго.— Жена рожает, муж пьянствует. Ты хоть умри — ему дела нет...

Вобрав голову в плечи, Евтропий припустил от жены мелкой рысцой.

— Ты, Федьша, не сомущай моего мужика! Ты холостой, а у него семья... Евтропий!

Коркин обернулся на окрик и, не сбавляя скорости, зарысил назад.

— Сына-то прими! Твой ведь... — мягко укорила Агнея.

Коркин послушно принял крохотный сверток и, раскачиваясь из стороны в сторону, гордо понес его по земле. Был он пьян, вина пьянее, но сейчас его не уронила бы никакия сила.

— На кого похож? — заглядывая в щелку в одеяльце, спрашивал он.

— На тебя, на тебя, чудышко! — счастливо проворковала Агнея, подталкивая его в спину.

Федяня, растерянно постояв на дороге, пошел в сельпо.

— Не буянит? — спросил Сазонов, наблюдая за ним.

— Пока нет. Пить пьет.

Заверещал старенький телефон. Пермин снял трубку.

— Здорово, Константин Сергеевич! Что вдруг вспомнил о нас? Это верно: старый друг лучше новых двух. Да не заглядывают к нам старые друзья-то. Какие там намеки! Мы люди простые. Что на уме, то и на языке. Сазонов? Тут. А со мной поговорить не хошь? Я тоже ко всему причастен. Все-таки Сазонова? Ну, ладно. Передаю трубку.

Сазонов нехотя взял трубку, морщась при первых звуках зычного камчуковского голоса. В голосе этом он уловил плохо скрытые ликующие нотки. «Чему радуется?» — устало подумал. А Камчук говорил с ним длинно и весело и как бы между прочим поинтересовался собранием:

— Как прошло?

— Обыкновенно.

— Так уж и обыкновенно? — в голосе прибавилось неудержимого торжества, и Сазонов понял, что о решениях этого собрания ему еще не раз напомнят.

— Может, переиграть? — чтобы проверить свои догадки, с неискренней уступчивостью спросил он.

— Поздно. Собрание проголосовало «за»...

— Ну, как знаете.

— Да я как раз ничего не знаю, это твои идеи...

— Это идеи колхозников.

— Колхозников можно подправить, если они ошибаются...

— А вы уверены, что мы ошиблись?

— Заключений пока не делаю, но если из области заинтересуются, я должен быть в курсе.

— Вы можете опередить их.

— Это ты напрасно,— обиженно сказал Камчук и сразу же, по окончании разговора с ним, заказал обком.

— Началось,— тревожно вздохнул Пермин.— Зря ты в эту бучу полез. Ежели что, ссылайся на нас.

— В лес бы сейчас,— перебивая его, мечтательно произнес Сазонов.— К природе потянуло...

— За чем дело стало? Я мигом ружья достану.

При выходе столкнулся с Варварой. Она была встревожена.

— Логин потерялся! Вечор ушел и все ишо не воротился. Может, уж сгинул где?..

— С кем ушел?

— Один.

— С собой брал что-нибудь?

— Карандаш да бересту.

— Значит, в лесу заночевал.

— Да ведь он в одном зипунишке! — всполошилась Варвара.— Испростынет весь или, упаси бог, на зверя напорется. С им уж было...

Как-то, собирая бруснику, Логин и Варвара припозднились и устроились на ночевку в бору, в немудрящей землянке, должно быть сооруженной охотниками. Усталая Варвара тотчас уснула. Логин долго еще возился с птенцом, подобранным в разоренном гнезде синицы, и что-то наговаривал ему.

Внезапно кто-то загородил темно-синий овал входа.

— Цыля, мишка! — Логин шлепнул незваного гостя по мохнатой холке.— Цыля! Тут мы ночуем...

Медведь, всхрипнув, стриганул прочь.

Утром, выйдя из землянки, саженях в пятнадцати Варвара обнаружила издохшего медведя.

— Это — берлога? — ежась от запоздалого страха, спросила она.

— Угу,— сонно отвечал Логин, поворачиваясь на другой бок. На жердочке, безмятежно щуря крошечные бисеринки глаз, сидел птенец.

— Полушубок с собой возьмите, — посоветовала Варвара.

— Тащи,— кивнул Пермин и пошел в сельпо. Там, широко расставив ноги, у прилавка бугрился Федяня и указательным пальцем тыкал в товары.

— Это... сукно,— словно учась говорить и радуясь этому безмерно, неуверенно твердил он.— Почем?

— По деньгам,— усмешливо отвечала продавщица с испитым лицом и желтыми редкими волосами. Ее забавляло пьяное косноязычие парня.

— А соль... почем? — приставал Федяня.

— По им же.

— Селедка...— глубокомысленно продолжал открывать мир Федяня.— Она... почем?

— Дай бутылочку, Дора,— попросил Пермин.— Логин потерялся. Если найдем, отогревать будем.

Дора скрылась под прилавком и долго двигала там бочонки, банки, бутыли, пока наконец не извлекла из тайного закутка холодную, как роса, поллитровку.

— А я не фулиганю, Пермин! — пошатываясь на нетвердых ногах, решил обратить на себя внимание Федяня. Взяв Пермина за локоть, доверительно шепнул: — Это водка... почем?

— Иди спать,— высвобождаясь, посоветовал Пермин.

— Ссспать,— многозначительно поднял палец Федяня.— А с кем?

Дора стыдливо захихикала и опять полезла под прилавок.

Взяв с собою хлеб, водку и полушубок, они направились в лес.

— Почему вы решили, что он в лесу? — спросил Сазонов.

— Лес ему вроде академии... Пойдешь с им, дак не надивишься. Станет статуем у какой-нибудь кочки и стоит, пока не сдвинешь.

— Счастливый человек! — вздохнул Сазонов.— Много ему дано! А я вот ничего не умею...

— Нашел чему завидовать! По холсту мазилкой водить — большого ума не надо! Жизнь строить — посерьезней! Ее кистью не нарисуешь.

Они брели по серому пластинчатому снегу, обходя мощные стволы деревьев в янтарных наплывах смолы. Чуть слышно шелестели осыпающиеся иглы. Где-то неподалеку выстукивал дятел, невидимый в густых кронах. В вереске прыгала сорока, оставляя за собой крестики следов.

— Неуж в самую глухомань забрался? — сворачивая вправо, гадал Пермин.

Лес становился гуще, суровее, таинственнее. Все больше ощущалось его необозримое вековое могущество, все меньше проступало между соснами и теперь уже встречающимися елями небо. Верхушки деревьев терялись высоко над головами людей, маленьких, самонадеянных, запросто и без страха бредущих в таинственные глуби леса. В этом бесстрашии были то ли властное спокойствие уверенных в себе владык, то ли кощунственная неосторожность безумцев.

— Где он может быть? — прислушиваясь к лесным шорохам, спросил Пермин.

Сазонов молча продирался сквозь кусты вереска, жадно вдыхая тонкие и многообразные запахи леса. Казалось, он уж забыл, что идет на поиски заблудившегося человека, и шел, чтобы идти и не останавливаться... только не останавливаться! Потому что остановка — это сомнение, это боль и горечь от пережитого, стыд за ошибки, промахи.

На Логина наткнулись неожиданно.

Он скрючился под елкой, дуя на посиневшие руки. Рядом, натянутые на рамки, лежали куски бересты и фанера с набросками углем.

— Жив? Чего домой не идешь?

— Заблудился,— отвечал Логин. Но было похоже, что он и не пытался искать дорогу. Место вокруг было притоптано, а под елью тщательно очищено от снега.

Пока Пермин отпаивал его водкой, кутая в полушубок, Сазонов перебирал рисунки.

На одном — могучая сосна, навалившаяся на толпу маленьких сосенок. Она не упала, а легла, по-барски

развалясь на невзрачных деревцах. Толстый хобот со корня, распухая, алчно сосал земные соки.

Второй набросок был таким же, только близ сосны лежал раненый лось. К нему приближалась огромная тень охотника. Самого охотника не было видно. Да и нужен ли он, если видна тень?

Третьим был фанерный квадрат, крест-накрест изрешеченный углем. Лишь кое-где сквозь угольные решетки проступали кроваво-красные карандашные капли.

— Сохатого выдумал? — спросил Пермин.

— Вон там лежит. При мне кончился,— чакая зубами, отвечал Логин. Он так основательно продрог, что ни шуба, ни водка не могли его отогреть.

— Здоров чертушка! — увидев лося, восхищенно цокнул языком Сазонов.— И у кого на такое диво рука поднялась?

— Поднялась! — с болью вскрикнул Логин и зашелся в простудном кашле.— Звери! Как есть звери!

У него выступили на глазах слезы. Прислонясь тщедушным телом к стволу, он мелко трясся.

— Ты о ком? — оглядываясь по сторонам, спрашивал Пермин.

— Там,— неопределенно махнул рукой Логин и закашлялся еще больше.

— Идемте! — заторопил Сазонов.— Так можно воспаление легких схватить.

— Сперва схороним,— запротестовал Логин.

— Зачем? — возразил Пермин.— Не падаль — на мясо пойдет.

— Конечно, люди съедят.

— Ну, ешьте! — вдруг закричал Логин.— Ешьте! Готовы сами себя съесть!..

— Успокойтесь! — сказал Сазонов, запахивая на нем полушубок.— Если хотите, можно и похоронить.

— Не надо. Ешьте. В брюхе — не в сердце, переварится...

Сохатый, по-видимому, умирал спокойно. Окровавленный снег под ним не был разбросан, а только примят боками. И мертвым он был могуч и прекрасен. Склоненная к неживой мускулистой ноге венценосная голова придавала ему наивную, умиляющую в огромном животном кротость. Из-под лопатки свесилась застывшая струйка крови.

— Вот она — кровь-то,— указал Логин.

— Ему теперь не больно. Ему все равно...

— Зато мне больно! Мне не все равно!

— Идемте! — резко сказал Сазонов и, отвернувшись, зашагал по направлению к деревне.

Навстречу им ехал Науменко. Рядом, бледная, без кровинки в лице, сидела Катя.

— Куда?

— В больницу. До точки дошла, а чем больна — не говорит. Старик тревожится...

Катя безразлично отвернулась, тронула вожжу. Рыжко с места взял наметом и скоро скрылся из вида.

Их встречали Ефим и Варвара.

— Нашел? А я все утро с собакой бегал, даже след не взял...

— Не выйдет из тебя разведчика,— улыбнулся Пермин.

— Заходите,— пригласила Варвара.

— Как-нибудь в другой раз,— отказался Сазонов. Он был явно не в себе. И не мог скрыть этого.

— Давит тебя,— сочувственно сказала Варвара,— видать, присушил кто-то...

— Кому я нужен? — Они пошли в Совет.

— Я тоже это заметил,— сказал Пермин.— Смурной ты...

— Не обращайте внимания,— принужденно улыбнулся Сазонов.— Сам не знаю, что на меня накатило...

— Сердце в тебе шибко кровянистое! Щади его, а то истратишь до времени...

Ефим некоторое время шел за ними, потом свернул к отцовскому дому. Он решил наконец поговорить с Шурой, но, увидев в ограде рядом с ней отца, незаметно пригнулся, крадучись пошел прочь.

Вокруг призывно трубила весна.

Рыжее, непобедимое, буйное солнце дерзко ломало землю, тискало, грохотало, испуская в ее стареющее лоно волотистых зайчиков.

Все таяло.

Только чистая душа Ефима, чувствительно оцарапанная жизнью, стыла первым ледком.

Глава 30

После очередного разговора с Камчуком Науменко запил и пил всю неделю, не сознавая, где и с кем пьет. Не в глазах, а в мутном сознании хмельном мелькали лица Дугина, Марии, Ворона, Федяни и других знакомых и незнакомых людей. С кем-то чокался, кого-то бил, затем били его. Он не сопротивлялся, лишь по привычке протягивал пустой стакан.

— Совесть не выжжешь! — показывая на спину, истерически хохотала Мария.

— Хотел быть лучше меня? Кишка тонка,— кричал Федяня и бил его по голове. Удары отдавались в позвоночнике и почему-то в пятках.

— Нуль! — с презрением, которое не трогало, говорил кто-то, похожий голосом на Камчука.— Винтик! Куда надо, туда вверну!

— Бог все видит! — грозя пальцем, таинственно шептал Ворон.

— Доигрался? — шлепая по щекам, спрашивала Фекла.

— А ты скользи, скользи! Так и выскользнешь,— гундосо советовал Дугин, и Григорию мерещился длинный змеиный хвост. На каждом витке отпечатывалось: «Винтик!», «Кишка тонка!», «Бог все видит!», «Доигрался?!», «Куда надо, туда и вверну!»

Все кружилось, сплеталось в черно-красные клубки.

— Сгинь! — кричал Науменко. В ответ ему смеялась Мария, щекоча ожоги на спине.

— Сгинь! — на рот веским голышом падал кулак Федяни.

— Сгинь! — но его хватали цепкие руки Камчука и выкручивали то вправо, то влево.

Когда наступило просветление, услышал ласковый грудной голос Афанасеи:

— Ожил? Я думала — сгоришь... На-ко, переоденься! Все бельишко пропотил. Не можешь? Эх ты! До чего себя довел! Подымись — переодену!

— Сам,— натягивая лоскутное одеяло, слабо сопротивлялся Науменко.

Афанасея усмехнулась. Она не умела смеяться. И потому ее усмешка казалась мрачной, грозовой.

— Не стыдись! Я, баба, и то стыд одолела. Да и ви-

дела я тебя во всех видах...— вытряхнула из белья, переодела. Ей нравилось это в общем-то малоприятное занятие. Она разговорилась и отошла.

— Я на работу. Без меня не подымайся! Подымешься — побью.

Но едва ушла, Науменко встал и кое-как оделся.

Утро уже наступало, хотя еще не рассвело. Глухая темь плыла над селом, оплескивая темно-сизым бор за рекой.

Ноги сами привели к реке.

«Упасть туда, и все будет просто и ясно»,— подумал Науменко, но тут же пожалел о том, что, покончив счеты с жизнью, больше никогда не увидит, как весело плещется болтливая черная вода, игриво толкающая упругой волной сонный берег...

— Христос воскрес! — раздался за спиной веселый резкий голос.

Науменко не пошевелился.

— Думаешь? — присел рядом Пермин.— Под утро славно думается!

Науменко уж ни о чем не думал. Ему хотелось теперь уснуть, уснуть спокойно и чисто, и если проснуться, то ребенком, чтобы начать все сначала и по-другому.

— Пасха ведь сегодня! — напомнил Пермин.— Верующие яйца красят, куличи святят. А мы здесь кукуем, безбо-жники! Тяжело тебе?

Науменко не ответил и долго молчал, пока его не захватило неудержимое желание высказать, выплеснуть из себя все. Оно шло от земли, снизу, подплывая к сердцу, к губам, выше, наконец заполнило всего.

Не говорить стало невозможно, и он стал рассказывать о страшных ночах пыток, о Марии, которую все еще любил, об одиночестве и страшной черной тоске; о колхозе, которому отдавал все, потому что не умел что-либо делать вполсердца. Не упомянул лишь о Дугине; мысль о нем казалась настолько мелкой и ничтожной, что он высыпал в протянутые ждущие руки Пермина все, что было главным и важным.

Чувствуя, что нервы его напряжены до предела и вот-вот могут порваться, Пермин легонько нажал на опавшее плечо товарища, остановил:

— Полно, Гриша! Полно! Бывает... Остальное потом доскажешь. Спасибо за науку, друг! Я все понял. Все!..

Упав в едва проклюнувшуюся траву, Науменко зарыдал.

— Стрелять бы нас надо! — расстегивая ворот душившей его рубахи, тихо сказал Пермин.— Стрелять за то, что товарища в беде оставляем! Может, и будут еще расстреливать за это... Не научились мы доброте. А без ее жить никак невозможно! Вставай, друг! Пойдем, за весну выпьем. Добрая нынче весна, дружная... Урожай сулит...

— Пить больше не буду,— сказал Науменко.— Никогда не буду!

— Ну, все равно. К людям пойдем.

Глава 31

Деревня пробуждалась.

От продавщицы, озираясь, пробирался Федяня.

Стуча дугинской калиткой, с двоеданской всенощной выходили старики и старухи, осторожно неся на вытянутых руках освященные пасхи.

О чем-то упорно думал Ямин, шагая рядом с фургоном, нагруженным сырником. Это была первая всенощная, которую он пропустил, первое свободное утро, которое он решил посвятить домашним делам.

— В отступники, слышь, записался? — задрав черную лопату бороды, прокричал из дугинской ограды Ворон.— За сколь сребреников Христа продал?

Накинув вожжи на нечисто срубленный сучок на хлысте, Ямин шагнул к заплоту. Старик юркнул в сенки и уж оттуда вякнул:

— На том свете за все ответишь! А может, и на этом ишо...

Гордей задумчиво постоял, встряхнул головой и, догнав воз с дровами, взял вожжи. На поляне, у Пустынного, парни устанавливали колоду для игры в шаровки.

— Поставь для пробы! — сказал Прокопий, выбирая биту потяжелей.

— Попадешь? — усмешливо сказал Ефим, взвешивая на руке березовый шарик из корневища.

— Ставь — увидишь.— Нацелясь, поддел концом шаровки, и маленький шарик полетел в поднебесье.

— Эдак все шарики у меня размечешь,— следя за уменьшающейся крохотной точкой, проворчал Ефим.

— Кури, упадет не скоро,— посоветовал Федяня, подоспевший к игре, а сам побежал к бурьяну, над которым со свистом, становясь все больше, опускался шарик.

— Панфило с куличами идет! — увидел Ефим.

Дуя на руки, отбитые шариком, Федяня окликнул старика:

— Подойди к нам, дедо.

— Некогда, слышь.

— К Фекле торопишься? Давай, давай... как раз освятился...— Парни рассмеялись и стали делиться на команды... Федяне выпало галить. Раз-другой упустив шарик, он заскучал и начал озираться по сторонам.

Прямо над яром разгоралось светило, посылая на землю животворные лучи тепла и радости. Над озером семечками из горсти профырчали скворцы. На воде еще колыхались бледные листья льдинок. Они достигали запруды и, переплескиваясь, крошились на осколки в овраге. С увала громко торопились вниз запоздалые ручьи.

На мосту, задрав чисто выбритые ради праздника подбородки, поочередно прикладывались к «косорыловке» Панкратов и Евтропий. Поставив вместо себя какого-то мальца, Федяня поспешил к ним.

...Приятели втроем загремели по деревне, пугая зычными голосами чирикающих на деревьях воробьев.

О чем, дева, плачешь?
О чем, дева, плачешь?
О чем, дева, плачешь?
О чем слезы льешь?

Их голоса вдруг заглушил рев воды, хлынувшей в расползшуюся по сторонам запруду.

— Пруд прорвало!

Вода раздвинула землю, удерживающую ее, и рванулась к мосту.

Услышав бунт ревущего потока, к мосту бежали люди. Вода хлестала в мост, не успевая стечь между бревен, разливалась по краям и с грохотом низвергалась в яр, образуя в снегу черную круглую промоину.

— Лютая! — восхищенно бормотал Логин, вплотную подойдя к потоку. Серые брызги секли лицо. Он не замечал их, любуясь горбящейся у ног волной и пенящимся в яру водоворотом.

Пруд разорвало еще больше, и вода хлынула с новой силой, неся к мосту стоявшие на ее пути сани и телеги.

— Берегись! — хватая Логина за ворот, крикнул Гордей. Рука соскользнула. Логина понесло. Ноги его свесились в яр, но в это мгновение Ямин успел перехватиться.

«Глубоко!» — только успел подумать Логин, увидев в старом волглом снегу зловещую пасть впадины.

— Пусти! — попросил он, тронув посиневшую от напряжения руку Гордея.— Я сам...

— Теперь — сам,— икая то ли от смеха, то ли от страха, который пережил за друга, проговорил дед Семен.— С косой стервой повидался?

— Нне-ет, не успел...

— Вот блаженный!

— Иди домой — простынешь,— сказал Гордей.

— Ага, пойдем-ка! — подтолкнул его дед Семен.

— Вот и опять работа! — сказал Ямин.

— Прудить, что ли? — отозвался Евтропий.— На наш век воды хватит.

— Рыба уйдет.

— Ты бы хоть в праздники о работе не думал,— сказал Панкратов.— Выпил бы да повеселился.

А Заярье гудело.

Везде толпились колхозники. Многие были навеселе и поминали бога наравне с чертом. Кто-то брался за грудки.

Визжали девки.

Вопила гармонь.

На завалине, подле Тепляковых, грелись на солнышке старики. Дед Семен, уложив Логина в постель, вышел к разговору и надтреснутым тенорком плел побывальщинки, хитровато щурясь блеклыми льдинками глаз.

«...Дураку говорят: «Ваня, белые мухи летят!» А он ножкой дрыгает: «Не врали бы!.. Я с богом беседовал насчет того, чтобы покров отсрочить...» Выглянул на улку — зима супонит. А у его ни дров полена, ни сена навильника...»

— Ты про кого? — почесал переносицу Дугин.— Растолмачь.

— То-то и оно, что каждому толмачить надо. В колхоз влился, а все ждешь, когда коленом под зад пихнут. Хозяином был — не ждал небось?

— Тебе какая печаль? — озадаченно спросил Ворон.— Может, его душе кумыния не угодна?

— Ты за меня не расписывайся! — осадил его Дугин и оглянулся: кто слышал? — Я сам за кого угодно распишусь. Забыл, когда мамкину тить сосал...

— Тить забыл, а богачество не забудешь.

— Ну-ну! Ты не очень! Я и теперь не худо живу. Ишо подумать надо — теперь богаче или тогда...

— Чистое светопреставление! — дивился Ворон.— То пуще всех на голкоз косился, то за его же распинается! Хитришь ведь! Не куманисты ли у тя жену с сыном сманули? А? Нечем крыть? Всех перессорила Совецка власть. Брат на брата восстал. Сын на отца. Потому и пятятся от нее...

— Кто пятится? — пряча мимолетную тревогу, поинтересовался Дугин.

— Да хоть Семена Савельича взять... Его в голкоз тянут, а он лежит на печи, как тот Ваня, и в ус не дует. И ты, Матвеич... Разве ты о голкозе думал, когда вступал? О себе, о себе, милуша! Наверно, прикидывал, слышь, в миру легче поживиться. Грешишь ведь?

— Теперь нет. Раньше бывало,— скрывая большие грехи, Дугин не боялся признаться в малых.

— Слыхано ли дело: Дугин вор? А почто воровал?

— Все воровали.

— Отстать не хотел! Вот по этому самому и не жилец на белом свете их голкоз! Вор на воре...

— Ну и зануда ты, Панфилко! — рассердился дед Семен.— Весь в отца! Все из-за угла достать норовишь... Тот хоть тем лучше, что и в открытую бить не стеснялся. Однеж меня по уху съездил...— Дед Семен заливисто рассмеялся.— Я его за это опосля в балагане подпалил. Ох, и повизжал он! Чисто боров под ножом...

— Все ведь припомнится, Семен Саввич,— коротко вздохнул Ворон.— На одной чашке праведные дела, на другой — неправедные...

— Припомнится, это верно. Давно уж, поди, праведник твой в смоле кипит... Липкоглаз был! Сеструху мою в полюбовницы приглядел... На гумне завозжал ее. Ладно, Максим Ямин погодился! Едва откачали твоего батюшку! И ты весь в его выдался, Панфилко! Блудень, скупердяй!..

— Сам-то лучше? Не у тебя ли зимусь кросен допроситься не мог?

— А ты свои почто Митьше Прошихину за овечек променял?..

— Здорово, старички! — с краюшку подсел Сазонов.— О чем беседуем?

— О разном. Больше насчет политики,— поддел дед Семен.— А еще планты разрабатываем, как тебя оженить...

— Ну и как?

— Как ни кинь, все на Афанаску выпадает...

— Нет уж, увольте, почтенные! Мне с ней не справиться.

— В постеле сама поддастся.

— Солнышко-то, а? Глядите, какое веселое! Эх, кабы такая погодка на всю посевную! — перевел разговор Сазонов.

— Будет, будет погодка! Стало быть, и урожай будет...

— Не ошибись, слышь! — предостерег Ворон.— Об урожае судят, когда он в амбаре...

— А я говорю: будет! — повторил дед Семен.

— Твои бы речи да богу в уши...

— Молодой ты, Варлаха, а все к старикам мостишься. Шел бы к девкам на посиделки! Глянь, вон они, как цветки полевые! — показал Дугин, которому захотелось отослать отсюда Сазонова.

На лавочке, возле Коркиных, пестрели цветастые платья девчат, меж ними топорщились пронафталиненными поддевками парни; цвели на солнце малиновые мехи двухрядки, обрушивая на пляшущих лавину звуков.

— Крой, Шурена! — кричал Евтропий.— Ох ты, боже мой! Лихо!

Втеревшись в круг, оттер плясавшего с Шурой рослого парня.

— Ну-ка, посторонись!

— Давай, дядя! Тряхни потрохами!

— Эх, сыпь, полька, сыпь, полевая!

— Присушила ты меня, шмара дорогая! — неизвестно кому признался Евтропий. Ему незамедлительно озорной припевкой ответила Шура:

Мил-то мой, мил
Завалился в овин,

Я потопала, похлопала —
Полезла за ним...

Им не верили: не Шура присушила Евтропия. И не Евтропий мил Шуре. Но так уж принято: поет человек — значит радуется. Грустит — тоже поет. Но грусть нетороплива. А радость бьет через край, пока вся не выплеснется.

Евтропий выдохся... Обняв разгоряченную Шуру, ущипнул ее за упругую грудь и слегка привлек к себе...

— Эй, дядя! Это тебе не пожарная кишка! — шлепнув его по рукам, рассмеялась девушка.

— Отъяровал свое! — посочувствовал Федяня, подойдя в обнимку с Панкратовым.— Тут нора не для твоего бобра...

— Говори, да не заговаривайся! — потемнел лицом Прокопий и, сняв с плеча ремень, встал рядом с Евтропием.

— Драться хошь? Дерись. А я не желаю...— миролюбиво сказал Федяня.— А срок придет — подеремся. Бить есть кого...

Ощупав переносицу, Прокопий напружил мышцы, но сдержался.

— Не петушись! — строго сказал Евтропий.— Рассержусь...

— Айда ко мне, люди,— сказал Федяня,— всех зову.

— Ладно.— Взяв гармонь, Прокопий выжал из нее все, на что она была способна, и подождал девчат, которые выстраивались по бокам. Сзади басили парни; попадая не в такт, они старались перекричать друг друга.

Вытащив из избы пару столов, расставив табуретки, Федяня положил на них доски и усадил гостей. Шура тем временем достала из погреба капусту и соленые огурцы.

— Неудача вышла, гостеньки дорогие! — смешливо поджав губы, приговаривала она и косилась на Ефима, который впервые перешагнул порог отцовского дома как гость и теперь чувствовал себя неловко: уйти не хватало сил...

Праздник шагнул за вторую половину.

Близились будни, похожие на вчера, на завтра.

Будни, среди которых не так уж част праздник.

Тем дороже его приход.

Глава 32

С гулким отчаянным стоном с вышки сорвался колокол и от уха до устья разошелся трещиной. Ощупывая его потресканное тело, дед Семен удрученно покачивал головой, гадая в недоумении: то ли сам упал, то ли недобрый человек свалил.

— Эко дело! Сколь годов безотказно служил, покой людской оберегал!.. Видно, срок вышел,— решил он, потому что лихому человеку и ронять-то этого, столь же ветхого, как и сам звонарь, старика не было никакого резону.— Беспременно к лихолетью! Без причин и комар не помрет...

— Прокараулил, караульщик! — желтозубо оскалился Панкратов, пиная колокол.— Помене спать надо...

— Чо зубы-то скалишь, будто радость тебе?

— А мне завсегда радость. Горю не поддаюсь. И жаль в себе до самого корня высушил.

— Глупые твои слова! И сам ты, должно, невеликого ума! Зверь неразумный и тот человека в беде жалеет...

— На то он и неразумный! А я иначе смекаю. Людишки сами зверьем стали. За что ж их жалеть?

— Много я прожил, а вот экого псовства не знавал. Как обозвать злобу твою лютую — ума не приложу! Дикая она, черная... И говорить с тобой по-человечьи неловко: облик-то у тебя песий! Тьфу! — сплюнул старик и, расстроившись окончательно, пошел к Логину.

Там сидел Гордей.

— Мотри не подымайся! — уговаривал он, понимая всю бессмысленность своих уговоров.— Хоть бы ты на его повлиял, Семен Саввич! Хворый, а вон чо вытворяет! Лежи давай!

— Умру — належусь. Недолго уж осталось,— улыбаясь, отвечал Логин.

— Приспичило на тот свет?

— Чахотка у меня. Года не протяну.

— Это ты брось! Телом выправишься. В бору почаще бывай. Там все болячки зарубцуются. Да и Варвара, поди, знает какое средствие.

— Тут и она бессильна.

— Ну-уу!

Логин расположился рисовать.

Его лихорадило.

Маковым цветом пылали щеки.

Дрожали ослабевшие руки.

Но мазки — это были самые трудные, последние,— ложились уверенно.

— Загляделся? — заметив, что дед Семен разглядывает одну из его картин, спросил Логин.— По сердцу?

— В самое туда проникает,— признался старик.— Аж внутрях скоблит! И нарисовано-то: мужик с лошадью да клочок земли, а поглядишь — и зацепит. Великая сила в твоей кисти!

— Не в кисти сила, в тех, кого рисую: в тебе, в Гордее Максимыче, в мужике том, который пашет...

— Земля-то у тебя почто бунтует?

— Земля, она сродни человеку. А в человеке, ежели что не так — завсегда бунт полыхает.

— Мудрено-то как, — качнул головой Ямин.— Всю жизнь пашу — не примечал.

— Ты под ноги смотрел,— пояснил дед Семен.— А надо вокруг оглядываться...

— Широкий у тебя глаз, Логин!

— Что вижу, то рисую. Потом сравню: то и не то. Почто эдак — сам не знаю.

— Дал же бог таланту! — позавидовал Гордей, зачарованно глядя на картину. Ничего в ней особенного не было: вздыбившаяся черной волною земля и человек с плугом, готовый погрузиться в эту волну.

— Рисуешь ты меня больно долго...

— Не выходит. Меняешься ты скоро!

— Ишь ты! Стало быть, кисть-то тебе не всегда подвластна? — раздумчиво говорил Гордей, разглядывая себя на полотне.

...Было в нем что-то от Никиты Кожемяки, перепахивающего море, но в глазах затаилась робость, хотя могучие руки тяжело и прочно легли на поручни плуга.

Из-под крошечного плуга вился огромный пласт.

Распахнув настежь двери, взволнованно вбежала Варвара. Из-под платка — спутанные волосы, в которых в беспорядке сбился обычно ровный ремень седины. Подойдя к мужу, заглянула ему в глаза, отняла кисть.

— Живой, боль моя? Почто же она тебя на кажном шагу стережет? Не поддавайся ей, подлой! Не отдам! Не отдам! — она всхлипывала.

— Не мешай! — тихо отряхнулся от рук жены Логин.

— Да ты хоть погляди на меня! Жена твоя, не пустое место!

— После, Варя! Теперь недосуг,— невнятной скороговоркой, досадуя, отгонял ее Логин.

Волоча по полу платок, как птица подбитые крылья, она прошла к лавке, на которой дремала или притворялась, что дремала, Клавдия. С прикушенных губ сорвался стон, но очень уж крепко они были закушены.

Одна боль не пускала другую.

Не открывая глаз, Клавдия понимающе погладила ее руку, чуть слышно шепнула:

— Не изводи себя, Варя! Может, обманул дохтур... В смерти один бог властен. Токо ему известно, кому сколь отпущено. Они, дохтура-то эти, вон сколь меня мурыжили, а ты вот взяла и в кою пору на ноги поставила...

— Не обманул, Клаша! Я потому и позвала дохтура, что сама вижу: Логин не жилец...

— Не надо ек говорить! Нехорошо! — кротко упрашивала Клавдия.— Вдруг услышит! Испужаешь его... Испуг веку убавляет...

«Может, он уж сам догадывается?» — встречаясь с рассеянным, устремленным на себя взглядом мужа, думала Варвара. Логин молчал.

— Попробуй встать, Клаша,— предложила она.— Полежала, и будет.

— Рада бы... Сил нет. Шаг шагну — полдня отдыхиваюсь. Ноги не покоряются.

— Покорятся, дай срок! Встань-ко! Вот-вот... За стенку держись Постой маленько! Не бойся, доверяй ногам-то. Не враги ведь. Вот так ладно. Теперь ложись, а после опять походи. Так и выправишься...

— Скорей бы! Всем в тягость стала...

— Мели, Емеля! Кому в тягость-то? Лежанке, на которой лежишь? Или мне? Сын, поди, тоже куском хлеба не попрекал...

— Ой, что ты, золотко мое! Симушко у меня ангел! Кабы не он, сжил бы меня муженек со свету!

— Хватила ты с им горюшка.

— Удостоилась. Не всем Логины попадаются. Кому-то надо и с Михеями жить.

— Я бы всех Михеев в зыбке грудными удушила.

— А землю кто пахать будет? Род человеческий кому продолжать?

— Добрые-то останутся,— возразила Варвара.— Вот и пущай живут одни добрые.

— Добрые могут стать злыми. Я на первых порах Михеем нарадоваться не могла. Это он от жизни осатанел. Может, и кусает теперь локоть...

— Кому? Себе или Фекле Прошихиной? — зло усмехнулась Варвара.— Не раз примечала, как они занавески задергивают...

— Мыслимо ли дело в его-то годы? Да и грех...

— Грех не про всех. Ой да ладно! Вот и в слезы опять... Не серчай, товарка! Это я от злобы наплела. Поспи, сон лучше всяких лекарств.

— День сплю, ночь сплю...

— Вот и спи на здоровье. Спи... спи... спи...— внушала Варвара. Когда уснула Клавдия, она пошла к мужчинам.

— Скоро отмаешься,— думая, что Ямину надоело позировать, говорил Логин.— Самую малость осталось. Очень уж трудно рисовать тебя!

—А ты не спеши, делай как надо,— успокоил Гордей.— Это не молотом помахивать. Я, грешным делом, думал сперва — баловство, а получилось — радость. Вот и рисуй, чтоб всегда так было.

Проводив гостей, Варвара припала к кровати, на которую лег муж, и беззвучно заплакала.

— Ты не плачь, Варя! — худой, прозрачной рукой Логин гладил ее спутанные волосы.— Не плачь. Я все знаю. Может, и к лучшему это. Какой из меня муж! Умру — за другого выходи. Дите заведи. С дитем легче станет. Душой отойдешь...

— Жаль ты моя! Льдинка растаянная! — жалко и осторожно ласкала его Варвара.

Ей чудился дребезгливый звон упавшего колокола.

Глава 33

— Дед Семен и то не выдержал! — видя шагавшего краем поля старика, говорил Пермин.— Зовет земля!..

Взяв сизо-черный комок жирной земли, растер его в ладони, приложил к щеке и с грустной проникновенностью, удивившей Сазонова, сказал:

— И чем она привораживает к себе? Как черви, всю

жизнь в земле копаемся. И после смерти в ей тоже. Вот ведь всяко материмся: и в бога, и в креста, а ее, матушку, и разу худо не помянули... Почто ек, ну-ка, скажи, грамотей?

— Сами же говорите: матушка. Вот вам и ответ...

— Ишь ты! На слове поймал...

— Здорово были! — приветствовал их дед Семен.

— Доброго здоровья, Семен Саввич. В колхоз надумал?

— Примешь?

— Пиши заявление: дескать, опостылело в единоличии до невозможности.

— Ты уж сам заявляй. А я за сошкой лежалые кости разомну.

— Это заслужить надо. Соха-то колхозная...

— Вот моя заслуга,— старик поднял костыль.— Россией дадена.

— Это, конечно, так. Однако у нас тут дисциплина, а ты разнобой вносишь.

— Ну, будет, будет! — начиная сердиться, прикрикнул старик.— Язык-то без нужды не впрягай — износится...

— Ладно, ладно,— сдался Пермин.— Паши, да смотри в борозде не рассыпься!

— Тропушко, дай-ка я за тебя кружок обведу,— отмахиваясь от Пермина, попросил старик.

— Земля вязкая — не прильнешь? — отирая потный лоб, улыбнулся Коркин.

— В мои лета и в меду не вязнут, а завязну — ветер выручит.

Взявшись за поручни, будто за каравай, который с почетом подносят гостям, Семен Саввич цыкнул на коней и заковылял бороздой.

— Покури, Евтропий! — провожая старика потеплевшим взглядом, предложил Пермин.— Ишь как умаялся!

— Есть маленько. Ну, давай чем твой табачок завернуть, а то я спички дома оставил,— зацепив из кисета полгорсти табаку, скрутил цигарку и с наслаждением затянулся.

Останавливались и другие пахари, пахавшие кто на быках и коровах, кто на лошадях. Лишь Науменко и Гордей, докончив свои кулиги, начали новые борозды.

— Этим всегда больше всех надо! — сказал Панкра-

тов.— Нам, грешным, доказывают: дескать, для колхозу, не то что для себя,— коровы не жалко...

— А тебе жалко?

— Да уж зазря животную гробить не стану.

— Потребуется — станешь.

— Гляди-ка, ты! Строгая нынче власть! Раньше как было: хочу — пашу, не хочу — дома сижу.

— Я вот все думаю: чего это мы твое глумленье над собой терпим? Может, лучше дернуть тебя, как осот, с корнем, и поле чище станет? Тогда сразу поймешь, что к чему!

— До смерти испужал! Фатеева выпололи, а он на приисках вроде тебя, в начальниках. Дурак, говорит, был, что за землю держался.

— Никто тебя не пужает. Токо помни, что у нас нервы не из бычьих жил...

— Ты бы не сучил ногами-то, Мартын! — вступился Евтропий.— Охота к Фатееву — скатертью дорога. Взамен тебя ишо сотню таких найдем.

Уронив в борозду руки, к разговору молча прислушивался Сазонов.

«Чужой человек! Но ведь и у него есть своя правда. Мы ее топчем — вот он и бесится»,— думал он, глядя в злое, перекошенное лицо Панкратова.

— У крестьян одна правда — земля,— сказал он.— И я знаю, отчего вы злобствуете, Мартын! Обезземелили вас. Но ведь земли-то в колхозе больше! И вся она ваша... Вам только это нужно понять, Мартын! Семен Саввич и тот раньше вас понял...

— То-то и не можете его в колхоз затянуть...

Меж тем, сделав круг, подъехал дед Семен.

— Как пахнет-то! Ой, как пахнет! — очищая лемех, возбужденно говорил он.

— Ну что ж, Семен Саввич, пора и вам в колхоз вступать...

— А я разве против? Ежели загвоздка в заявлении, дак внучка хоть седни напишет. Да ведь колхозником-то не по заявлению считают...

— А вы как думаете, Мартын?

— Разно, — буркнул Панкратов.— Нечего рассиживать, робить надо.

На поскотине посвистывали суслики, которых зорили ребятишки. Один зверек, рассвирепев оттого, что его вы-

курили из норы, бросился на Веньку Бурдакова. Парнишка ткнул его суковатой палкой. Сверкнув острыми шильцами зубов, суслик закусил палку, но, придавленный к земле, покорился силе и, задрав лапки, злобно щерился на своих гонителей.

— Проглядели паразита! — сказал про Панкратова Сидор.— А ведь по ему давно Колыма плачет!

— Раз проглядели — будем в свою веру обращать...

— Мы его словами, а он нас из обреза в спину...

— В том и хитрость, чтобы не дошло до обреза. А дойдет — что ж, мы тоже стрелять умеем... Ну, я в школу. Погляжу, как там ремонт...

— Уж не к Марии ли салазки подкатываешь?

— Не болтайте глупостей!

Была большая перемена.

Ребятишки носились вокруг школы, играли в лапту.

В коридоре стояла покойная сумрачная тишь.

Сазонов постучал в учительскую.

— Войдите! — ответила Мария.

— Я опять за книгами...

— Давайте честно поговорим, Варлам Семенович!

— Говорите.

— Вы слишком часто приходите сюда. Не подумайте, что это мне неприятно,— наоборот. Но, видите, я...— она смутилась и не договорила. Сазонов понял: беременна.— А люди разное думают. И Проня сердится. Вы же знаете, как он мне дорог.

— Бросит он вас!

— Ну и пусть! И пусть! Мне хватит того, что было... А вы не каркайте! И больше не приходите сюда! — она разгневалась, хотя обидного в том, что сказал Сазонов, ничего не было.

Она и сама знала, что все будет именно так, и все-таки говорила, почти кричала:

— Больше не приходите! Слышите!

— Выходите за меня замуж! — бухнул Сазонов и после этого разговорился.— Беречь буду! На руках носить буду!

— У меня будет ребенок. Это его ребенок.

— Вместе растить будем.

— Нет. Я ЕГО люблю...

— Это пройдет, забудется! Ведь Григория вы тоже любили. И меня полюбите. Я добьюсь, вот увидите! Вам

муж нужен, семья... Женщина не должна, не может быть одна!

— Нет, нет! Уходите! Мне от вас ничего не нужно... Уходите!

— Мне теперь некуда. Без вас весь свет тесен,— с бессильным отчаянием сказал Сазонов.— Первый раз у меня так...

— Уходите. Перемена кончается,— сказала Мария и взялась за колокольчик.

— Не звоните! Дайте слово сказать! Вы будущего боитесь... Я знаю. А со мной вам станет спокойно. Оставьте его! Он моложе. Да и девчонка из-за него сохнет. Славная девчонка! Пожалейте ее! Отпустите парня, и мы будем счастливы. Ни за что не упрекну! Хоть сейчас, если хотите...

Мария позвонила. Сперва неуверенно, потом крепче, звончее.

— Я не уйду! — упрямился Сазонов.— Столько ждал — и вдруг потерять... Не могу! И ты пожалеешь, если прогонишь!

Но он знал, что уйдет и что все уже кончилось. Она просто терпела его и потому слушала.

Мария вышла, оставив Сазонова одного. В классы стайками сбегались дети. Последним вошел Иван Евграфович.

— Они ничего не поняли! — накинулся он на Сазонова.— Это же очень просто: как говорю, так пишу...— он ездил со своим проектом усовершенствования русского языка в район, и там его основательно высекли за то, что он вносит путаницу в установившийся порядок.

— Э-э, я тоже ничего не понимаю! — тоскливо сказал Сазонов.

— Как говорю, так пишу! Предположим, слово «сенокос»... Говорим «сенакос». Так и пишем через «а». Прислушайтесь: именно «а» в середине. Как говорим, так и пишем. Понятно?

— В том-то и собака зарыта, что говорим не так, как пишем.

— Все спешат куда-то! А кто детей учить будет? — грустно сказал учитель.

— Мы,— ответила Мария, заводя его в класс.

Она заметила, что, оставаясь один, Иван Евграфович разговаривает сам с собой. Иногда он забывался и пря-

мо на уроке начинал спор с воображаемым противником к общему удовольствию ребятишек.

— У них есть дела поважнее!

— Язык — начало всего! Что может быть важнее начала?

— Но он может подождать. А колхоз не может. И завод не может.

— Вы ослеплены! Слепота хуже врага! Наступит день, и все мы горько пожалеем, что видели только соринку в собственном глазу...— зловеще предостерег учитель.

Глава 34

Сазонов уныло плелся по улице, не зная, куда приткнуться. Не хотелось ни читать, ни думать, ни даже работать.

Свернув в переулок, пошел к ферме.

Логин выгонял из пригона колхозных коров. Они разбрелись по поскотине, оставляя позади себя примятую жухлую траву и дымящиеся лепешки. Логин шел стороной, точно животные были сами по себе, а он — сам по себе; шел и часто то оглядывался по сторонам, то склонялся над желтыми кустиками прошлогодней травы. Может, в мозгу его зарождались призраки новой картины?

— Не плачь, жалкая моя! — услышал Сазонов. Голоса раздавались из дежурки.— Знаю, что болит, да ведь сердце с сердцем ремнем не свяжешь...

— Оговорили меня, а он поверил...— всхлипывала Катя.

— От злости пыхтят! А ты помни, девонька, что свет не без добрых людей!

— Не нужны мне ни добрые, ни злые! Всех бы на одного променяла!

— Говорила я с им,— вздохнула Александра.— Крепко присушила учителка!

— Воровка она! Старая и бессовестная! Как он живет с ей, со старой-то, мужем брошенной?

— Она не старая, она красивая. Красивые не старятся. Они завсегда берут самое лучшее.

— А я некрасивая?

— Ты тоже красивая, да невезучая. Упустила свое...

Ну, не убивайся! Может, одумается он. В армию сходит, перебесится...

— Ой, не верю! Там другую встретит...

— Не бабник он! Запутался, это правда. Пока разберется что к чему — немало воды утечет...

— Иссохну я, силушек нет более...

— Выправишься, молодая. Погуляй с кем для виду, хоть с тем же Федором. Давно ластится к тебе. Вот и погуляй. Токо без баловства. Увидит Прокопий — сам прибежит. Мужикам это — нож в сердце...

— Все постылы! Никого не надо.

— А ты распрямись! Наплакаться в бабах успеешь! В девках веселиться надо. Иди умойся, уревелась вся!

Уткнувшись в теплые колени женщины, Катя истошно завыла.

«Откуда у них эти слезы берутся? — прислушиваясь, думал Варлам.— Мне бы хоть раз выреветься...»

Он еще долго топтался подле избушки, слушая горестные причитания Кати, должно быть перенятые ею у старух, а ими привнесенные из древней лучинистой старины.

— И куда теперь я кинусь, горькая сирота? — причитала Катя.— И куда же, горемычна, подеваюся?

Александра долго укачивала ее, потом расчувствовалась и сама начала подтягивать.

Выплакавшись, они успокоились и разошлись.

С пашни возвращался дед Семен, усталый, довольный, раскрасневшийся.

— Кулига в угол, Катерина! И не гляди, что старый! Молодым единого круга не уступил. Стало быть, ишо годок-два протяну. На меньшее не согласен!

— Не умирай, деда! Я без тебя совсем одна останусь!

— Голубка моя! — старик прижал ее голову к щуплой груди.— Рано с горюшком стакнулась! В твои-то лета токо соловушкой заливаться...

— Эх, деда! — девушка вырвалась и, зажав руками лицо, убежала.

— Вот так, Семен Саввич! — грустно сказал Сазонов.

— И ты попался? То, вижу, все к старикам льнешь! Пронька-то крепко крылышки вам подрубил! Неровные нонче люди пошли! Гордей вон какой дуб-корень! А этот... Да что говорить! — Старик махнул рукой и поковылял за внучкой.

Постояв в раздумье, Сазонов отправился к Ефиму, который оставался вместо него председателем сельсовета.

— Не боязно? — спросил он парня.

— Скажу: боязно — осудишь. Промолчу — за хвастуна примешь... Словом, страшновато. Тебе тоже теперь потрудней будет, райониище-то вон какой!

— Рассуждение верное! Я побаиваюсь. Но ведь и государством люди управляют...

— А ты бы на это решился?

— Не знаю. Едва ли...

— Да ну? Разве не лестно?

— Лесть и слава слабым головы кружит. А править целой страной — зрелость нужна...

— У тебя ее хватает. И ума не занимать.

— Вот уж и льстишь...

— Разве не так? Дурачку всю власть в районе не доверят.

— В этом ты прав.

— Хоть и доверили, а я не завидую.

— Что ж так?

— Шкура у тебя тонкая. Проколоть легко.

— Ну, а если не дамся?

— Тогда большим человеком станешь. Но там и бьют больней...

— Я и сам с усам.

— Шутишь? Шути — так веселее.

— Нравитесь вы мне, Ефим! Только вот с Шурой у вас...

— Теперь не до нее. Дел много.

— Вот и зря. Ради этого все дела отложите! Потом будет поздно. Слышите? По себе знаю...

Глава 35

— Здесь пашня моя была,— показал Гордей. Он и Науменко осматривали лесные деляны.— Помню, в парнях ходил, березы тут в два обхвата стояли. Все повырубили, а насадить не догадались...

— Как-то не до того было,— принял упрек на себя Науменко.

— Не ты один виноват. Все хозяева, и все лес зорим. Лучшие деревья жгем, а дома — смотреть совестно! — развалюхи...

— Только начинаем. Придет срок — и за дома возьмемся. Сперва ферму да клуб надо достроить.

— Нет, Григорий Иванович, это нельзя откладывать. У Зыряновых крыша провалилась. То же и у Семена Саввича...

— И твой не лучше.

— Мой терпит. Давай сперва о людях позаботимся, потом о себе...

— Ты не знаешь меры, Гордей! Ни к чему во всем себя ущемлять. Все людям, все людям, а себе когда? Весной вот корову чуть не угробил, а ведь никому не доказал...

— С коровой нескладно вышло. Александра сердится... А доказывать я и не собирался. Раз люди на коровах пахали, чем я их лучше?

Он привязал Рыжка к березе, бросил ему охапку сена.

— Саранками пахнет! — потянул воздух носом и стал шарить руками в старой жухлой траве.— Вот она! Сейчас мы ее добудем, голубушку.

Очистив клубень от земли, разломил пополам, протянул Науменко.

— Попробуй! Поди, не едал?

— Не доводилось,— разгрызая сочные хрустящие дольки саранки, сказал Науменко.

— В земле много чего есть. А мы топчемся и не видим.

— На земле-то еще не научились брать. В земле и подавно.

— Научимся.

— Жаловался ты: лес худой. А куда ни погляжу — везде березы-вековухи.

— Стучат! — прислушался Ямин.— И как не устает человек! От посевной не разогнулись, тут уж дроворуб настал, потом сенокос, уборка — так без конца. Где силам предел?

— Нету его, предела,— ответил Науменко. Крылья его тонкого носа раздувались, глаза возбужденно блестели: пьянил дух лесной.— А будет — ты достигнешь и остановишься. Другие дальше пойдут — тебе завидно станет.

— Выходит, зависть двигает человеком?

— Как хошь называй. А только человеку всегда больше надо, чем он имеет. Потому и предела нет...

Они приближались к делянам. Все громче стучали топоры, визжали пилы. С краю, у поля, немощными руками дергали пилу Фекла и Ворон. Береза поддавалась медленно.

— Снюхались! — усмехнулся Науменко.— Пара: гусь да гагара...

— Пущай! Люди же...— увидев Евтропия, Ямин закричал издали: — Бог в помощь, золовец!

— К нам на помощь. Сделайте почин!

— Разомнемся, Григорий Иванович?

— Давай.

Теперь отовсюду доносились визготня пил, стук топоров, шум падающих деревьев. Падая, они приникали к земле ветками. Сучкорубы тут же очищали их, стаскивали в костры. Березы лежали обнаженные, скорбно-прекрасные даже в своей неживой наготе. Их одежды дымились в огне.

— Шевелись! — подгонял Ямин. Его лихорадило работой. Кривой полумесяц ручки плотно прирос к ладони, рука набухла узлами вен, которые по-весеннему буйно раздувало кровью.

Вот и еще одну березу с зловещим визгом куснули стальные зубы, прошлись по ее телу, оставив рваный след.

Все гуще сыпались опилки, омоченные сладкими слезами — березовкой.

Все меньше становилось перерезанных жил.

Вот порвалась последняя.

Мгновение постояв, береза рухнула, издав отчаянный стон.

А Венька Бурдаков уже прицеливался к сучкам топором, сек крылья-ветки.

А Агнея с Александрой уже распиливали ее на части.

А Евтропий раскалывал куцые, в коричневых обводьях чурки.

Фешка оттаскивала их к поленнице.

Постоит, повянет на ветру поленница — на осень привезут ее, сложат у тына. Принесет хозяйка беремя дров, бросит поленья в печь. Весело запотрескивают они, ласково. Даже и мертвая березонька щедра и неунывна.

— Ты полегче, Гордей! — усмешливо советовал Евтропий.— Загонишь председателя...

Науменко разогнулся. Жестоко ныла спина, мозжали руки. Болел от напряжения затылок. Пропала силушка: вино подточило. А Гордей глыбился рядом, искоса взбуривал из-под рыжих бровей: прятал в огнистой бороде усмешку. Такой хоть кого упарит!

«А вот не поддамся!» — Науменко сбросил гимнастерку, рванул пилу. Гордей отпустил и, опережая его, потянул на себя: замается, непривычен.

— Угостись, тятя! — Фешка поднесла березовки.

— Будто знала, что пить хочу.

Науменко завистливо поглядывал на девчушку, тосковал глазами. Она уловила просящий взгляд.

— Теперь ты, дядя Гриша!

— Спасибо, умница моя! — принимая берестяную посудинку, погладил веснушчатую щеку-подушечку.— Ох, вкусна!

— Пей всю. Я ишо напоточу.

— Напился, доченька,— а сам подумал: «Доченька, да не твоя!» — Другим оставь.

И снова вгрызалась пила в пенно-белое тело березы; прирастала треугольными зубами; рвала, неистовствовала от злости и жадного нетерпения.

Евтропий и тот упарился. А Науменко молчал.

Уж высились рядом две полуторасаженные поленницы: точь-в-точь близнецы.

— Обед! — объявил Евтропий.

Агнея достала снедь.

Из кустов показались Пермин и дед Семен.

— Вот и гонись за вами! — всплеснул руками старик.— Три сажени набухали! А у меня — не у шубы рукав...

— Спи доле!

— В мои-то годы какой сон! С боку на бок перекатываюсь...

— Не оправдывайся! Мы свое возьмем. В лес опоздали — из лесу пораньше уйдем. То на то и выйдет,— посмеивался Пермин.

Семен Саввич прямиком прошел к своей деляне, и скоро оттуда донесся неуверенный стук топора.

— Какой из его дровосек! — покачал головой Евтропий, разрезая хлеб на крупные ломти.

— Вы бы взяли да помогли,— резко сказала Александра.— Колхозники, а всяк в свою дуду дует...

— Промашка вышла,— кивнул Евтропий.— Исправлять придется. А, Гордей Максимыч?

— Правильное замечание. Миром-то всем запросто нарубим...

Александра с легкой готовностью поднялась и скоро привела с собою деда Семена.

Он благодарно поглядывал на Гордея, которому приписывал все доброе, что делалось в колхозе.

— Вот угодил ты мне, Гордей, спаси тебя бог,— говорил он,— всем, хоть лоб разбей, не угодишь. Все одно вызверяться будут...

— Тут не я угождаю, Семен Саввич. Тут — колхоз. А кто на его вызверяется, тот и на себя волком смотрит.

— Может, поймут со временем,— отозвалась Агнея.— Кто сам себе враг?

— Кабы все люди доброе слово понимали — войн не было бы! — вздохнул старик.— Токо на их и гнемся. Взять хоть германскую... Сколь миру полегло!

— Подь на два слова, Григорий! — позвал Пермин.

— Про Святогора слыхал, золовец? — спросил Евтропий.— Не знал он, куда силу свою подевать. Что ни возьмет в руки, то рушится. Но и он наткнулся однеж. Видит, кольцо в земле. Дай, думает, вытащу. Потянул — не может. Сам увяз. Так и сорвал с пупа, а кольцо не выдернул. Не по силам взял, на том кольце вся земля держалась. И ты сорвать можешь. В одиночку мир от назьма не очистишь...

— Почто в одиночку, Тропушко? — возразил старик.— А ты разве не поможешь? За вами и другие увяжутся.

— Выпей молока, сказочник! — подвинула кружку Агнея.— Робить допоздна будем.

— Поробим, ясно море! Эдак и жить веселей!

— Те-то куда девались? — спросила Агнея о Пермине и Науменко.— Кроме них все обедали.

«Те» негромко переговаривались в логу.

— Тут уж так,— говорил Науменко,— либо партия, либо бог.

— Мы да от бога не отвадим?

— Сперва отвадь, потом и разговор веди. Сейчас рано.

— Я все же прощупаю, как он...

— Против этого не возражаю.

Подложив под голову руки, Ямин с наслаждением растянулся на телеге. На груди у него щебетала Фешка.

Все отдыхали. Лишь на деляне Феклы надоедливо жужжала пила.

— Без устали пластают! — прислушался Евтропий.— Так бы на колхоз робили.

— Своя рубаха ближе к телу.

— Колхоз-то, разве чужая?

— Поговорить надо,— сказал Пермин.— Я к тебе от всех коммунистов секретный вопрос имею...

— Не люблю я эту секретность. От кого скрываться-то. Не бандиты здесь — колхозники...— недовольно сказал Ямин, но все же отошел в сторону.

— Ты с богом-то все ишо в ладах?

— Не шибко же. Но и большой ссоры не было.

— Мы тебе советуем произвести полный расчет с небесной канцелярией да помаленьку к нашему берегу прибиваться.

— Я как будто не у чужого.

— Я говорю о партии.

— Об этом я не думал.

— Думай, но не долго. Время не ждет.

— Ты вот партейный, Сидор. А чем ты лучше меня, беспартейного?

— Тем и лучше, что партейный. Ты в одиночку, а я с партией. Она меня, как стригунка, на поводе ведет. Ежели я забузую, собьюсь с дороги — она направит... Помнишь, каким я был?

— Торопиться не стану. Погляжу на тебя, на прочих. Потом решу.

Ямин сказал это негромко, но с той непреклонной убежденностью, которой трудно, почти невозможно было возражать.

— Не так это просто, Сидор,— сказал Науменко.— Иной раз кажется: все ясно, сказал — и сделал. Скажешь, а сделать не можешь... факты нужны. Слов мало...

К вечеру Евтропию поставили еще четыре поленницы.

— Теперь твой черед, Семен Саввич,— сказал Гордей.— Потом Григорию.

— Мне не надо,— отказался Науменко.— Ни к чему...

Ямин хотел возразить, но, вспомнив о Марии и о сыне, промолчал.

Наутро все Заярье собралось на делянах деда Семена, Логина и Шуры Зыряновой. Старик ходил меж громко и весело гомонящих колхозников и постукивал посошком. Может, в последний раз соком березовым бродила в старческом теле стынущая кровь.

Домашнее дело — рубка леса — стало вдруг колхозным.

Ни сплетен, ни злоречья.

Точно братья и сестры собрались на милом своем угодье. И нечего им делить. Одни только шутки да смех да искорки в глазах.

— Логин! Логин! — звала Варвара. Он только что стаскивал в костер сучья и вот уже исчез куда-то. Бросив пилу, пошла разыскивать мужа.

Он стоял на коленях перед раскрывшейся медуницей и разглядывал ее, точно это была Василиса Прекрасная.

— Отвлекись ты! — тихонько окликнула Варвара, стыдясь того, что подсмотрела невольно и потревожила мужа.— Съезди, батюшка мой, за бражкой. Пущай мужики с устатку примут.

Логин тронул цветок, словно просил у него прощения, и молча отправился исполнять просьбу жены.

— Варя! — позвал Панкратов. Он крался следом за ней, поджидая, когда уйдет Логин. — Давай посидим!

— Отцепись, нечиста сила! Ишо раз подойдешь — в Совет пожалуюсь.

— Тянет меня к тебе!

— Уйди!

— Когда умрет — будешь со мной жить?

— Ты сам раньше его сдохнешь...

— Гляди, Варвара, скручу вязы!

— Люди! — дико и внезапно закричала Варвара. Страшно матерясь, Панкратов бросился в кусты, поволчьи поскакал прочь.

— Люди! — еще раз услышал он.

— Кто тут? — прибежал на крики Сазонов.— Кого зовете?

— Людей.

— Зачем они вам?

— Чтоб видели, как хорошо мне.

— Что это на вас накатило?

— Стих. Сейчас колдовать начну,— сказала Варвара и зашептала страстно и громко.— Сгинь от нас, сила

нечистая! В огне сгори, с дымом улети, обелись корой березовой, возродись из пепла радостью, в небо вспорхни птицей-певуньей...

— Давит на вас весна!

— Ох, давит! Так бы и пала на землю и миловалась до потери сознания.

— Я вот вам помилуюсь!

— А ежели с тобой? — Варвара подошла к нему, взяв горячими ладонями за щеки, поцеловала в губы. Сазонов побледнел, растерялся.

— Этим не шутят, Варвара...

— Я дите хочу...

— Ну и рожайте. У вас есть муж.

— Сила у него подорвана. А мне дите надо! Чтоб я за им, как за Логином...

— Перестаньте!

— Мямля! Ты и Марью так же упустил... Только и нужно-то от тебя... Эх!

— Варвара! Я могу... Я и в самом деле могу...

— Не нужен ты мне. Уходи. Да поскорей, а то ишо подумают, что шашни у нас. О, господи!..— она упала на землю и зарыдала.

— Ох ты сука! — это опять подкрался Панкратов.

Варвара повернулась к нему, жарко и ненавидяще посмотрела в глаза, но не встала.

Еще один день подходил к концу, а люди не заметили: так быстро пролетело время.

— Ты, Алеха, шагу не шагнешь, чтобы людей не стабунить,— щуря длинные глаза, говорил Дугин. Он взмок, на рубахе соль выступила.— Ишь как гудят! Пчелы, чисто пчелы!

— Где пчелы, там и трутни,— поводя плечами, усмехнулся Евтропий.

У него стягивало крыльца от усталости. Часто тукало сердце.

Одновременно на весь лес спустилась ясная тишина. Все подивились ей в душе, примолкли. Вдруг издалека донесся слабый стук топора: Панфилушко.

— Оженить бы их! — сказал Евтропий, кивая в сторону Панфила и Феклы.— Самая что ни на есть пара.

— Пара на все сто! Давайте тряхнем старика!

Подъехал Логин. На телеге стоял пузатый лагунок с брагой и ведро квашеной капусты.

— Ого! Вовремя подоспел!

— К самой свадьбе...

— Пошли, что ли?

Вывернув подкладками наружу армяки, Федяня и Афанасея выступали сватами.

— Сватать тебя пришли, Панфило Осипович! — грозя бровями, улыбалась Афанасея.— Для баб гож?

— Об этом, слышь, токо тебе одной вечерком скажу. Заходи после... А пока не лезь. У меня вон кака урочина!

— Возьмешь Феклу — мы твою урочину за полчаса выполним!

— Соглашайся, Алеха! Чего там! Два горошка на ложку. Да и тебе, Фекла Николаевна, хватит в девках вянуть,— посмеивался Дугин.

— А я что? Я за милу душу,— приняла их шутку Фекла.

— Ну, раз так — за дело! А потом и за свадебку...

И еще дюжине кудрявых берез снесли буйные веселые головы.

Панфило и удивиться не успел, а Дугин уже доводил последнюю поленницу.

— Вот, слышь, молодцы дак молодцы! Нам бы до троицы не управиться.

— Молодожены, в круг! — раскрывая бочонок, сказал Евтропий. Разлив брагу по туескам и кружкам, провозгласил: «Горько!»

Бабы, смеясь, подтолкнули Феклу к старику и заставили целоваться.

— Горько! Горько! — кричали они.

Но скоро шутка наскучила, да и брага кончилась. Все, кроме «молодоженов», отправились по домам.

— А нам как быть? — спросил Панфило.

— Пойдем и мы.

— Ко мне, что ль?

— А хоть и к тебе. Не боишься?

— Один я, слышь, совсем запарился. Баба позарез нужна. Ежели не против — пойдем.

— А ты это... дюж? — хохотнула Фекла.— Я на любовь шибко лютая! Ежели что — вытурю...

— Батюшка, покойна головушка, меня в шестьдесят годов на свет произвел. Кровь-то одна...

Подступал вечер. Усталый. Терпкий.

Оголенная березовая роща неровно окутывалась тьмой.

Над нею выгнулся тонкий серпик молодого месяца. Пахло летом.

Глава 36

— Вы огорчены? — намекая на свое повышение, спросил Сазонов.

— Мешать ты мне будешь,— признался Камчук.

— Но ваше место осталось за вами... Так что нет худа без добра.

— Это верно. Да и ты всегда под рукой. К тому же я не теряю надежды, что найдем общий язык. Найдем?

— Не знаю. Мне трудно говорить с людьми, которые неискренни. Ведь куда проще сказать в глаза и плохое и хорошее. Кстати, вы не задумывались над тем, сколько энергии люди тратят на обман? Если бы половину того они тратили на правду, жить стало бы намного легче...

— Легкая жизнь не для нас,— шутливо сказал Камчук.— Но и осложнять ее не следует. Нам с тобой не к лицу играть в «любишь — не любишь», — он протянул, руку, которую Сазонов без колебаний пожал.

Камчук казался усталым. И у Сазонова душа была неспокойна.

«Что значит этот жест? — думал он.— Скорее всего благодушие медведя, который только что пообедал. Он наверняка здесь время зря не терял...» Таким образом, решил он, повышение поставило его в еще более сложные условия. Но это была лишь одна из причин, вызывавших его смятение. Здесь придется ходить по струнке и быть всегда начеку. Неизвестно, где и когда Камчук даст подножку. В том, что это непременно случится, Сазонов ни на йоту не сомневался. И от этой невеселой уверенности тоска по людям, которых оставил в Заярье и которые стали ему дороги, сделалась еще больше. С ними он чувствовал себя просто и уверенно и получал от этого общения много радости.

Камчук тоже тревожился, понимая, какого сильного, непреклонного, потому особенно опасного союзника приобрел он в лице нового председателя райисполкома. Где-то в глубине души он уважал тонкую прямоту Варлама, его умение при любых обстоятельствах оставаться самим

собой. Но знал и другое, что для него это не подходит. Был он гибок, оставаясь внешне грубовато-прямолинейным, и отлично ориентировался и владел словом, которое говорится к месту. Можно ли было сказать о нем: служил людям? Пожалуй. Поскольку в конечном счете к этому сводилась вся политика. Холодный, расчетливый эгоист, он руководствовался тем, что диктовали обстоятельства, и, калеча свою сущность, учился не обращать внимания на уколы совести. Он отождествлял свою будущность с будущим государства. Одно без другого ему казалось нелепым и бессмысленным. «Так нужно! — думал он.— Кому?»

— Ну, а если не поладим... драться будем! Я и к этому готов,— резко выдернув свою короткопалую руку, сказал он.

Сазонов молча пожал плечами.

На абажуре, висящем над столом, дремала большая черная муха. Проворный паук выткал над ней тончайшую паутину. Проснувшись, муха попыталась взлететь, но застряла в узорчатой сетке и натужно звенела крылом. «Кто кого?» — думал Сазонов, наблюдая за ее усилиями.

— Чего молчишь? — мягко спросил Камчук.— Рад, наверно, а?

— Еще не разобрался.

— Разбирайся. До побачения. Меня люди ждут.

В приемной бойко стучала на машинке молоденькая белокурая секретарша. Бывая здесь по делам службы, Сазонов не раз любовался ее точеной тонкой шейкой, на которую из-под короны тяжелых кос, обвитых вокруг головы, опускались пушистые невесомые волосинки. Иногда он испытывал желание дунуть на них, как на одуванчик, и от этого улыбался за ее спиной. Но, встретив мягкий светящийся взгляд ее огромных доверчиво-серых глаз, отворачивался. «Одуванчик...»

— Видел, какая у тебя секретарша? — уже на улице спросил Камчук.

— Это не для меня.

— Э-э, брось! Ты не на трибуне...

Вернувшись к себе, Сазонов уселся на широкий подоконник, долго думал о чем-то. Над большим лбом нависли светлые пряди волос. Ниже их обозначились три тонкие неглубокие бороздки. Они появились совсем недавно... Видимо, брал свое возраст, хотя в общем-то стареть еще рано.

Соскользнув с подоконника, свернул старую «Правду» и смахнул паутину, а вместе с ней и ленивую муху и проворного паука.

— Начнем хотя бы с этого...— оценивающе осмотрев свой кабинет, подхватил огромное кожаное кресло и вынес его в приемную.— Это для посетителей...— пояснил он удивленной секретарше.

Вошел Пермин. Здороваясь, сочувственно заглянул в лицо: вроде бы ничего.

— Чудак ты! — мелкими частыми шагами меряя кабинет, говорил он.— Сиденье выбросил... Кому оно мешает? Оно безвредное... Вот с Камчуком будешь работать... Это, по-твоему, верно?

— Думаю, что верно. Он крепко вырос за последнее время.

— Значит, больнее бить будет.

— Если заслуженно — не обижусь; незаслуженно — сдачи дам.

— И выйдет — не работа, а мордобитие.

— Это спасает от ожирения.

— Тут что-то не то... не то.

— Где есть большое то, там всегда найдется маленькое не то. К этому пора привыкнуть и принимать как должное.

— Непонятно мне многое. Ну, хотя Камчука возьми... Мужик боевой, говорливый, этого не отнимешь. Но ведь он токо пенки снимает...

— Вы ему свое мнение высказывали?

— Не пришлось как-то.

— Побаивались?

— Не то что побаивался, а воздерживался. От слова он не умрет, зато при случае вспомнит.

— Вот, вот,— усмешливо погрозил пальцем Сазонов.— Между прочим, партбилет обязывает говорить правду всем без исключения.

— Это ты, брат, кому другому скажи! А я учен: не раз битым ходил. Теперь, до того как сказать, думаю, стоит ли говорить.

— Я всегда говорил и буду говорить то, что считаю нужным.

— Все до поры. Иной раз и помолчать можно.

— Ерунда! Говорить правду не просто, вы правы, но ведь без этого невозможно жить...

Пермин зябко поежился, отодвинулся в угол, куда не доставало солнце, ярко слепившее глаза.

— Вы Науменко поддержите, — Сазонов переменил тему разговора.— Он как раз разгибается...

— Да уж не бросим.

— Я всегда жалею, что нам вечно некогда...

— Этим и спасаемся. Днем накрутишься — ночью спишь без задних ног.

— Я не о том. Второпях о друзьях забываем. Вы не задумывались, отчего он пьет?

— Пристрастился, вот и пьет. Что вино, что баба — одна сатана. Раз попробуешь — всю жизнь охота.— Пермин простовато хохотнул, решив про себя не рассказывать того, что ему доверил Науменко.

— Не кривляйтесь! Вам не пристало Ваньку валять. Я ведь понимаю, что все не так просто.

«Неужто и об этом знает, черт долгий?» — подумал Пермин, сказав вслух:

— Да ну тебя! Умничаешь много! Умничать поменьше надо!

— Не надо. Нет, нет, я не осуждаю. Но умничать все же надо. На то и головы на плечах носим.

— Умникам их в первую очередь остригают... Бывает, что и до шеи.

— С таким клеймом и умереть не страшно.

— Иди ты к бесу! — Пермин хотел что-то сказать еще, но махнул рукой, неожиданно сорвался и выбежал из кабинета.

— Чай готов! — заглянула секретарша.— Будете пить, Варлам Семенович?

— Не беспокойтесь, Нина,— он прикрыл глаза и прислушался, как нежно звенит в нем это имя.— Чаю мне больше не носите. Я буду ходить в столовую.

— А Василий Романович пил в кабинете,— сказала девушка о его предшественнике.

— У каждого свои причуды.

— Вы меня не уволите?

— Ну, что вы! Мне, наоборот, приятно с вами работать.

— Спасибо. Я очень хочу остаться. У меня мама на иждивении.

— А у меня вот нет матери. И никого нет...— Нина впервые за весь разговор увидела широко раскрытыми

глядящие на нее глаза Сазонова. В них плескалось нечто необыкновенное, грустно-синее.

— Вы такой молодой. И такой печальный...

— С чего вы взяли?

Девушка покраснела и потупилась. Она немало знала о Сазонове, хотя за время его работы председателем сельсовета едва ли более двух раз говорила с ним.

— Идите отдыхайте. Я тут займусь кое-чем...

— Я помогу вам. Можно?

— Нет! — сухо сказал Сазонов, и глаза его прикрылись, спрятав дорогую синеву.

Его вдруг потянуло к этой девушке, доброй и милой, которую он звал про себя Одуванчик, и, боясь, что Нина заметит эту минутную слабость, он хмурился, по привычке опуская веки. Они плохо слушались. Нина огорчилась, но послушно вышла.

Сазонов достал из стола документы и сидел над ними не отрываясь до глубокой ночи. Все эти цифры, скупые, неуклюжие фразы обрели в его воображении материальность, превратясь в гордеев, мартынов, евтропиев. За это он и любил деловой язык отчетов и докладов, и порой, забываясь, разговаривал с ними вслух. Они загадочно помалкивали и мелко разбегались по бумаге. Сазонов прекрасно понимал, о чем они молчали.

В полночь он услышал в приемной чьи-то осторожные шаги. Это была Нина.

Глава 37

— Живой? — освобождая рядом с собой место, спросил Панкратов.— А тут слух пустили, будто Фекла тебя заездила.

Панфило горделиво распушил бороду и уселся на бревно перед конюховкой.

— Его заездишь! — хмыкнул Федяня.— Бедная баба дозваться не может. Как женился, так между гряд прячется...

Панфило ухом не вел, невозмутимо покашливая, свысока посматривал на насмешников.

— Говорят, в Совет жаловаться ходила,— подхватил Евтропий.— Дескать, или другого мужика давайте, или этого из огурешника вытащите. Ефим сулился меры принять.

Евтропий давно помирился со своим соседом. Кобель, которого он купил для Тарасова, оказался выхолощенным и совсем не лаял. Был он добродушен, толст и перед каждым вилял хвостом. Панфило гневался на это и даже пытался утопить. Но у самой реки его догнал Евтропий.

— Купать повел? — поинтересовался он, косясь на камень с веревкой, которые старик держал в руках.— Надо, надо... Пес благородных кровей. Не то что пустолайки твои. Он у прежнего хозяина кажную субботу в баню ходил.

Сердито шипя в бороду, Панфило спустился к реке и старательно вымыл пса, выслушав все те полезные советы, которые щедро рассыпал перед ним Евтропий.

— Не оступись, тут склизко. Сам утонешь и пса утопишь. А он в сельсоветском поминальнике записан. После греха не оберешься, затаскают. Ефим страсть как собак любит. Так что корми, пока не околеет.

Но выхолостень и не собирался помирать. Жилось ему не хуже, чем богатому барину; отъелся до того, что едва в конуру влезал. Панфило не привязывал его, думая, что пес убежит на улицу и там его загрызут собаки. Но пес был домосед. А еще был он ласков, глаза умные; все понимают, только сказать не могут. Увидит хозяина в добром расположении духа, подойдет, встанет на задние лапы, а передние на грудь положит. Старик сперва злился на это, потом привык. А Фекла души не чаяла в собаке.

— Фекле-то жалко, поди, что пес без мужчинских достоинств? — косился на старика Панкратов.

— Эко болтаешь! Я ишо сам в силе покамест...

— А бабы сказывают, что она Михея в пай к тебе пригласила...

— Пустомеля! — рассердился старик и, поднявшись, ушел домой.

В огороде переругивались между собой соседки.

— Всю рассаду измяла! Ишо зайдет — ноги переломаю! — грозилась Фекла.

— У своей ломай! — добродушно отбрехивалась Агнея.

— Моя по огородам не шныряет.

— Рассады пожалела! Да зайди ко мне — дам, сколь в подоле унесешь.

«Видно, опять ихняя свинья набедокурила! — дога-

дался старик.— Ну, погоди, сосед! Теперь мой черед шутить...» Взяв пешню, спрятался за рассадником и стал поджидать хавронью. Ждать долго не пришлось. Подкравшись тихонько, со всего маху ударил свинью по задним ногам и столкнул ее в яр.

«Уж бил бы насмерть, старый козел!» — ворчал Евтропий, вытаскивая из яра свою живность.

— Аспид! — голосила Агнея.— Я тебе все припомню! Так и знай, что опять головешек в бороду натычу!

Евтропий посмеивался.

— Не я ли говорил, что свинья не ко двору?

— Другие мужья в драку лезут, а у его полон рот смеху.

— Да из-за чего драться-то? Она без ног-то лучше. Больше сала належит.

— Вот сдохнет, тогда и тебе худо будет!

— Выходим! К дяде Лавру свезу.

Завалив свинью на телегу, привязал ее и поехал в Бузинку. Можно было бы дорезать, но летом мясо скоро портится, да и появился предлог навестить дядю, с которым Евтропий жил душа в душу.

— За кролами поглядывай! — наказывал он жене. Кролы — дядин подарок — дали второй приплод.

Евтропий ехал не спеша, зная, что Лавр по старости лет редко отлучается из дому, чаще сидит за самоваром, поджидая нечаянных гостей. На божнице у него, за иконой, всегда припрятана одна, а то и две нераспочатых бутылки.

Схоронив последнюю жену, он принял на квартиру старую деву из монашек, плоскую и зубастую, как пила. Была она сварлива и привередлива. Несколько недель старик терпеливо сносил ее руготню, но после того как она обнаружила его тайник и выбросила оттуда бутылки, не сдержался и прямо в сморщенный нос квартирантки сунул по всем правилам сложенный кукиш. Хоть и по правилам, а не угодил. Горюха удивилась и с того дня занемогла. Лавр свез ее в больницу и теперь по четвергам носил передачи, радуясь своему одиночеству.

— Хлеб-соль, дядя! — поздоровался Евтропий.

— Садись,— пригласил ветеринар, веселея: ожидание не было напрасным.

— Я к тебе по делу,— для приличия отказался Евтропий, блудя глазами.

— Сядь рядком, потолкуем ладком.

Призывно забулькала водка; быстро потекло за разговорами время. Евтропий не скоро вспомнил, что на телеге привязана свинья.

— Какими судьбами? — доставая другую бутылку, спросил хозяин.

— Попутье было,— не желая отвлекаться от столь важного дела, уклончиво сказал Евтропий. Ветеринару и это пришлось по душе. Переговорив обо всем, что допустимо за столом, они запели.

Песни перемежались разговорами, которые были сперва неторопливы, а потом и невнятны.

— А кк-кролы... кролы мои... как? — костенея языком, спрашивал старик.

— Плодятся! — Евтропий еще не заикался.

— Вооо... Наследство доброе до... ддосталось.

— В самый раз. Ох, язви те! Я ведь к тебе с задельем! — спохватился Евтропий.

— Не егози. Сиди, пока сидится.

Эх, пить будем
И гулять будем!
А смерть придет —
Помирать будем!

— Свинья-то уж околела, поди?

— Какая свинья?

— Моя. Ноги у ей повело. Лечить привез.

— Ты ее кальцием...

— Кальцией! Эт-та можно!! — гаркнул Евтропий.— Звенеел звонок нащееет поверкиии...

— Ланцов заддумал убеежааать! — подхватил старик.

К ночи они притомились и уснули прямо за столом, как засыпали все, кто приезжал к ветеринару в гости.

Когда рассвело, Евтропий поднял голову, слил в стакан остатки водки и тряхнул дядю.

— Чем, говоришь, свинью-то пользовать?

— Кальцием,— пробормотал ветеринар и снова засвистывал носом.

— Кальцией,— повторил Евтропий, чтоб не забыть это мудреное слово.

Свинья давно примирилась со своей долей.

— Тоскливо тебе, свинка?

Хавронья грустно повела пятачком: хоть бы покормил, но хозяин решил насыщать ее пищей духовной:

— Ты не расстраивайся. Сейчас домой поедем. Петь будем!

Он был верен своему слову и пел всю дорогу, делая передышку лишь для того, чтобы уговорить свою печальную спутницу подтягивать ему. Она упрямилась.

— Не хошь? Так и петь сроду не научишься! Без песен какая жизнь, сама подумай?

Но свинье было не до песен. Перебитые ноги распухли, краснота поднималась к брюху.

— А я ишо ка...альцию тебе выхлопотал,— обиделся Евтропий.— Вот не куплю — и пропадешь. Пропадешь ведь?

Свинья обреченно хрюкнула: с тобой все возможно.

— То-то,— удовлетворенно кивнул он.— Ладно, жив буду — куплю...

Ближе к Заярью он замолк, заскучал.

За околицей ждала Агнея. Будто и не заметив ее, понужнул лошадь, проехал мимо.

— Не узнал, христовый? А ну, дыхни! — велела она, но тут же отпрянула.— Ой, не могу! Сивухой разит!

— Не сивухой, а кальцией,— внушительно пояснил Евтропий.

— Кем?

— Кальцией, дура-баба! Лекарство такое. Свинью лечил и сам принял. Дядя от ревматизма присоветовал.

— И легче? — отнимая у мужа плетку, спрашивала Агнея.

— Это не сразу скажется. Велено покой блюсти. И чтоб никаких волнений! А с бабами, говорит, ни-ни... на одну плаху не становись! Придется, как Панфилушке, в баню запереться,— искоса поглядывая на жену, вдохновенно врал Евтропий.

— Верно, что ли?

— Я тебя хоть раз обманывал?

— А нализался с чего?

— С горя. Мыслимо ли: от родной жены в бане прятаться!

— Я к тебе приходить буду.

— Дядя Лавр строго-настрого воспретил! Чтоб на одну плаху не ступал, говорит...

— Вот ужо придет, старый колпак! Я ему такую плаху покажу... Сам износился и другим не велит... А ты, может, шутишь, Тропушко?

— До шуток мне! — страдальчески морщился Евтропий.— Раз покой прописан — точка. Блюсти надо. Он ученый, в этом деле собаку съел.

— О, господи, твоя воля! Неуж по-другому нельзя?

— Нельзя, Агнея. Свинье и той покой требуется... А мне подавно.

— Да пропади она пропадом, твоя свинья! — Евтропий ради этого и огород городил.— Заладил: свинья, свинья... Как я без тебя жить буду?

— Да уж и не знаю как. И помирать неохота, и тебя жалко, лапушка моя! Ты ведь не удержишься, пилить станешь...

— Чтоб у меня язык отсох!

— И самогону для растираний у тебя не выпросишь...

— А самогон-то разе дозволено?

— Эко сморозила! Первое средствие...— Евтропий не выдержал, рассмеялся и тут же получил звонкую затрещину. Но теперь и Агнея смеялась, и удары от этого теряли свою пробойную силу, Евтропий пошевеливал лопатками и направлял лошадь по ухабам, чтобы жену побольше трясло.

Глава 38

Гордей вздрогнул, увидев это странное широколобое лицо.

— А-а, старый знакомый! — следователь с улыбкою шел навстречу, протягивая руку.— Не в обиде на меня?

— Кто старое помянет, тому глаз вон,— ответил Ямин, прикидывая в уме, что могло здесь понадобиться Раеву.

— Так и должно быть,— кивнул следователь.— Садись.

— Пущай Митя сидит, а я постою.

— Ха-ха-ха! А ты шутник! — следователь пошлепал подушечками пальцев по бритому черепу и сказал: — В твоем совете нуждаюсь.

— Ты, однако, не в ту дверь стучишь. Я ведь из подкулачников.

— Перестань! Я знаю, что говорю. Науменко хорошо знаешь?

— Вместе робим — как не знать.

— Что он за человек?

— Худого не примечал.

— Ладишь с ним?

— Иначе нельзя.

— На него донос поступил. Написан явно измененным почерком. Как думаешь, кто написал?

— Я не ворожея — угадывать.

— А ты мог бы написать?

— Ты вот что, гражданин хороший, говори, да не заговаривайся! А то я могу и по шапке...

— Но-но! — погрозил пальцем Раев.— Впрочем, прости. Знаю, что это не в твоем характере.

— Знаешь, а говоришь. Неладно получается, гражданин Раев?

— Не обижайся! Я просто хотел, чтоб ты поставил себя на место того доносчика... Мысленно. Мне это нужно.

— Не выйдет.

— Но мысленно!

— И мысленно не стану!

— Да, трудный ты человек! На слова прижимист.

— От слов пользы немного. Потому я и не бросаюсь ими.

— Не ершись. Я с тобой по-хорошему.

— Разве можно по-хорошему допрашивать! Допрос он и есть допрос.

— Не допрашиваю, а советуюсь. Один-то я ничего не добьюсь. На помощь людей рассчитываю.

— Люди тоже разные бывают. Одни правду скажут, другие оговорят.

— Как-нибудь разберусь, не мальчик.

— Ты Дугина спроси. Он давнее меня Науменко знает.

— Почему давнее?

— Они воевали вместе, и Камчук с ими же был.

— Так-так,— рассеянно кашлянул следователь, и пальцы опять заиграли на бритом черепе.— А с Дугиным они не ссорились?

— Не слыхал.

— Проводи меня к Дугину.

— Айда.

На улице услышали выстрелы, затем — душераздирающий вопль.

— Кажись, у Тарасова,— встревожился Гордей и прибавил шагу.

— Вот и опять кого-то придется допрашивать! — не-

хорошо улыбнулся следователь. Тонкие губы его вытянулись в ниточку, глаза глядели зло и колюче. От прежнего добродушия не осталось и следа.

Подойдя к огороду Тарасова, увидели хохочущую во всю глотку Агнею, орущего Ворона и растерянного Евтропия. Поодаль, в капустных грядках и картофельной ботве, лежали несколько убитых кроликов.

Эта нашумевшая история была следствием вражды, возникшей между Агнеей и ее соседкой. Агнея заприметила, что стоит Евтропию появиться в ограде, как Фекла тотчас находит заделье и оказывается по другую сторону забора.

Возможно, это были всего лишь случайные совпадения, но Агнея ревновала и, мучаясь от ревности, даже похудела.

— Вот псовка! Навязалась на мою голову! — негодовала она.— И ты хорош! Глаза на нее пялишь!

— Глупая! Я тебя на трех Фекл не променяю! Ну, погляди на нее: вобла воблой. А у тебя всего в достатке.

Этот неотразимый довод на время успокаивал Агнею, но проходил день-другой, и червь сомнения снова начинал скоблить ее душу.

К тому времени у Коркиных развелось десятков до трех кроликов. Эти кроткие обжоры уничтожили все запасы прошлогодних овощей, и Агнея втайне от мужа подумала — не лучше ли избавиться от них.

В то утро, увидев у своего забора Феклу, разговаривающую с Евтропием, она записала на текущий счет соседки еще один грех.

Сарай, в котором сидели кролики, выходил одной стеной в огород к соседям. Пробив в этой стене дыру, Агнея выпустила зверьков наружу. Они тщательно обработали все капустные грядки и перешли на брюкву, но в этот момент появился Панфило. Нашествие кролов повергло его в апокалипсический ужас.

— Аааа-оооо! — завопил он и кинулся за ружьем, которое заряжал на ребятишек солью.

На звуки выстрелов прибежал Евтропий.

— Эй, сосед! За что мою скотину истребляешь? — вскричал он.

— И тебя истреблю, ирод! Не подходи! — взбешенный старик с очевидным намерением повернул ружье в его сторону.

— Не балуй! Это не палка.

— Панфило! — испуганно крикнула подбежавшая Фекла.— Охолонь!

Евтропий цепко ухватился за ствол и вывернул у старика ружье. Оно выстрелило. Старик взвыл, подпрыгнул и покатился по земле, приминая ботву.

— Сам нарвался,— сказал Евтропий, едва удерживаясь от желания пнуть в его широко раскрытую бородатую пасть.— А мне отвечать за тебя...

Агнея хохотала, еще не проникнувшись всей серьезностью происшедшего. Бросив ружье, Евтропий пошел навстречу следователю.

— Маленько подстрелил,— сказал он Раеву.— Сухари брать?

— Без сухарей сухо будет,— с грозной многозначительностью сказал Раев.

— Много присудишь? — с обезоруживающей готовностью поинтересовался Евтропий.

— Не обижу,— краем тонких губ усмехнулся следователь, торопясь уйти от все еще смеющейся Агнеи и орущего старика.

— Ты куда, Тропушко? — жалобно крикнула Агнея, перестав смеяться.

— Теперь одна дорога. Бельишко приготовь.

— Пущай и меня берут. Я одна во всем виновата.

— Не ерунди.

В сельсовете сидел Ефим.

— Что опять натворил? — спросил он.

— Ворона подстрелил.

— Ну-у? А как?

— Допрос входит в мои обязанности,— сухо сказал Раев.— Думаю, справлюсь без посторонней помощи.

Когда Евтропий и Раев скрылись за дверью, Ямин рассказал о случившемся.

— Только и всего,— рассмеялся Ефим.— Я уж думал до убийства дошло.

— Дело-то подсудное.

— Это ишо неизвестно. Все от Ворона зависит.

Напялив на пышные бронзовые волосы кепчонку, Ефим поспешил к Тарасову, над которым хлопотала Фекла.

— Скоро освободишься, тетка Фекла?

— Куда торопишь?

— Отец занемог, просил тебя зайти.

— А,— заторопилась Фекла,— счас зайду.

— Худо мне! — заохал старик.— Вдруг кончусь без тебя?

— Так уж и кончишься! Кабы весь заряд попал, а то три солинки. И те к вечеру столетником вытянет.

— О-ох, не верю! Видать, смертушка моя пришла! — подвывая, говорил старик.

— Ушла она,— усмехнулся Ефим.— Не стони.

— Рад бы, да больно. Так вот и палит огнем...

— Скорей других поймешь. Соль-то на кого заряжал?

— Известно на кого, на пакостников... Которые по огурцы лазят.

— Они ведь тоже люди... В суд подавать будешь?

— Оклемаюсь — подам.

— Подавай, может, на душе полегчает. Что-то я твоей собаки не вижу...

Собака потерялась. То ли прибил кто, то ли сама ушла, заскучав от сладкой жизни.

— Не знаю, слышь. Убежала куда-то.

— Она заактирована,— многозначительно сказал Ефим, доставая из кармана какую-то затертую бумажонку.

— А мне что? Моя собака. Хочу держу, хочу продам.

— Неправильное твое понимание, гражданин Тарасов! Заактирована — значит, не только твоя, но и государственная.

— А куда она государству-то? Всего мужчинского лишена...

— Так где твой кобель-то?

— Не знаю, слышь! Видит бог, сохранить хотел!

— Плохи твои дела! Отвечать придется... И Евтропьеву свинью туда же приплетут.

— Она, стерва, весь огород у меня выполола!

— Может, и другие делишки всплывут... Были ведь?

— А спастись никак нельзя, Симушко? — заметно пугаясь и переставая охать, спросил старик.

— Ты на службе называй меня Ефимом Михеичем. Так положено.

— Прости Христа ради, Ефим Михеич! По глупости я, по неразвитости...

— Жалко мне тебя! Попадешь ты с Евтропием в одну тюрьму. Уж там-то он спуску не даст.

— Не даст, твоя правда, Ефим Михеич! Выручай давай! Век за тебя молиться буду.

— Я тебе вот что присоветую. Иди к следователю и скажи, что на Евтропия не в обиде. Но про меня молчок!

— Ясно-понятно! — кое-как одевшись, старик нараскоряку поковылял в сельсовет и со слезами просил Раева, чтобы тот отпустил Коркина.

— Да почему? Боитесь, что ли?

— Не по-божески это,— смиренно отвечал Ворон.— Христос учил кротости...

— Чудной ты, право! — сердился следователь.— Я бы на твоем месте не простил. Рана-то серьезная?

— На ногах стою, дак кака сурьезная?

— Ну, как знаешь,— выпроваживая его за дверь, вздохнул Раев.— Глупо это! Бога приплел к чему-то! Не бога ведь подстрелили — тебя.

— Эдак нельзя говорить — грех!

— Иди, иди! И ты тоже! — отпустил он Евтропия, удивленно молчавшего в течение всего этого разговора.— Да винись перед ним.

— Он угодил под выстрел, а я виноват?

— Все равно извинись.

— Как бы не так! Я из-за его тоже немало пострадал. На одну кальцию сколь денег ухлопал!! — сохраняя простодушную серьезность, возразил Евтропий.

— На какую еще кальцию? — недоуменно взмахнул бровями следователь.

— А на ту, которой свиньям перебитые ноги лечат. Она больших денег стоит...

— Убирайся!

Глава 39

Хлеба взошли густо, радуя взор. «С хлебцем будем! Дай бог! Дай бог!» — счастливо вздыхали старики, в который раз оглядывая поля близ деревни.

Солнце полоскало золотым ливнем. Земля за ночь не успевала остыть, и шел от нее дух парной.

Тихо перешептывались всходы, которые ласкал ветерок, то морщивший сонную гладь Пустынного, то шевеливший копьевидные стебли камыша. Горласто любились утки, прячась в осоке. Степь разостлала тонкого много-

цветного узора травяной ковер... На берегу покачивалась мать-мачеха. Лениво потягивалось на полянах зверье. Чесали шелковые косы березы, хорошея с каждым днем. Девки вытаскивали из сундуков свадебные сарафаны; молодухи, тяжелея, шили распашонки. Забавно взбрыкивали жеребята, тычась в налитое кобылье вымя.

— Будет хлеб! — сулило поле.

Утром выпадали серебряные росы.

В траве шелестели востроглазые серо-зеленые ящерки.

Во ржище, забивая гомон кузнечиков, кутькурутили перепелки.

Кусты смородины навесили красные и черные бусы. Подле них томились голосистые вдовы, с горько-завистливой насмешливостью распугивая таящиеся в кустах парочки...

Полыхало шумное разбойное лето.

Сизый бор, разомлев на жаре, лениво досказывал мудреную сказку о жизни, начатую неизвестно когда. Солнце и на него обрушило неистовую мощь своей благодатной десницы, высветив все глухие места. Лопалась кора растущих деревьев. Повизгивали суслики, прячась от жары в темень удушливых нор.

Земля взрывалась сухими трещинами; пучилась болотной тиной; скрежетала галькой дорожной колеи, издолбленной копытами и колесами.

«Что-то будет!» — истово творя дремучую, мрачную молитву, мозжали старухи.

«Экой сухоты за сто лет не упомню! Разохотилось солнышко!» — плеская на себя водой из кадочки, бормотал дед Семен.

«Беда будет! Беда будет!» — из черных зарослей бороды бубнил Ворон, ненадолго выглядывая из-под навеса. Жара гнала его обратно.

Заглушая мрачное карканье воронья, малиново звенели под молотками литовки: колхозники готовились к сенокосу.

Забивая в колышек клин наковаленки, Евтропий напевал под нос «Златые горы».

— На покос собрался, Тропушко? — пропела через ограду Фекла.

— Туда.

— Печет?

— До самых печенок пронимает, едри его в жар!

— А ты кваску испей, да пойдем на речку выкупаемся...

— Нечистики-то! Они вам...— из-под крыши отозвался Панфило.— Меня вчера за гайтан дернули...

— Трусливому везде черт мерещится! Поди, за корягу задел...

— Добро за корягу! Сам видал: ручищи волосаты да студены, как у покойника.

В ограду вошла распаренная Агнея. Фекла нырнула под забор и спряталась в избе. Евтропий снова запел.

— Опять с Панфилихой лясы точишь? — грозно спросила Агнея, вытаскивая из тына палку.

...и реки, полные вина,—

невозмутимо выводил Евтропий.

Все отдал бы за ласки взора,
Чтоб ты владела мной одна-аа...

Палка опустилась на его спину.

— За что, ягода? — кротко спросил Евтропий.

— Не я ли упреждала, на Феклу и смотреть не моги!

— Да где ты ее видела, Феклу?

— А у заплота кто стоял?

— Это от ревности у тебя помутилось! Мы вон с соседом разговаривали...

— Неуж примстилось? Ну, не серчай. Я теперь во всякой бабе кровного врага вижу. Так что на грех не наводи...

— Тиранишь ты меня! Другие жены и приголубят, и бражки поднесут, а ты вечно напраслину возводишь...

— Дыма без огня не бывает. Скоро отобьешь?

— Кончаю. Паужнать готовь. Скоро, поди, подъедут...

Достав из погреба глиняную корчагу со сливками, Агнея до краев наполнила ими берестяной туесок с инициалами «К. Е.».

— Молоко кажин день присылать буду. С голоду не замрешь. Прячь от жары в колодец, чтоб не сселось. Да не балуй там. Услышу — на глаза не показывайся!

— Разве я тебе изменю, буренушка ты моя!

— То-то. Уезжаешь, значит? — верная привычке всплакнуть при проводах, пригорюнилась Агнея.— Кабы не дите, сама полетела бы с тобой сизой горлинкой...

— Что ты, что ты, Агнея! — ужаснулся Евтропий.— Где я тебе столь пера наберу на крылья? Придется весь

колхозный курятник порушить. Накладно это... Так что воздержись пока, не летай...

В окно забарабанили. Это подъехали покосники. Проглотив последнюю ложку окрошки, Евтропий вышел из-за стола, склонился над зыбкой, в которой спал младенец.

Снова застучали по раме.

— Успеете! — вытерла сухие глаза Агнея.— Проститься не дадут.

— Имей совесть, Агнея! — кричал Панкратов.— Другим бабам маленько оставь!

— Вот ботало! — Евтропий опасливо покосился, повел лопатками, которые все еще жгло.

Не разобрав, что он сказал, на улице рассмеялись. Смеялись просто так. Покос — пора веселая, звонкая. Евтропий знал это и не сердился на шутки.

— Ну вот я и готов! Поцелуемся? — он обулся, молодецки притопнул ногой.

— Подь ты к лешему! — огрызнулась Агнея, но сама же гулко чмокнула мужа в кустистую пегую щетину.

— Долго обнимался! — иронически встретил его Панкратов.

— Ее за один раз не обнимешь, по частям приходится,— сказал Федяня.

— Сапоги ссохлись,— объяснял свою задержку Евтропий.— С утра не мог отмочить.

Федяня словно сидел на иголках, заерзал, спрыгнул с телеги, начал приплясывать:

Ах он, сукин сын, камаринский мужик!
Снял штаны и повдоль улицы бежит!

— Он бежит, бежит, бежит, бежит, бежит! — понужнув лошадей, подпел Панкратов. Федяня отстал и, поругиваясь, затрусил вдогон. Бежал до самой Одины, пока Венька, догнав ехавших впереди других покосников, не придержал коней.

— Вытряс дурь-то? — помогая ему усесться, проговорила Афанасея.

— Что вытряс — не заметил, может, и дурь была,— огрызнулся Федяня и тут же подавился крупным подзатыльником.— А легче нельзя? Лен сломишь!

— Поговори ишо! — пригрозила женщина. Федяня умолк, не желая связываться с ней.

Часам к шести подъехали к Земляному, которое счи-

талось дальним покосом. Здесь жили неделями, по очереди выезжая в баню и за продуктами. Издали, на большой елани, увидели Прокопьев трактор. На косилочном прицепе сидел новый председатель сельсовета, Ефим Дугин. Он не утерпел и тоже выехал на покос.

На малых еланях трещали конные косилки с гусевщиками.

Рушился сочный пырей.

Оседали кудрявые визили.

— Высоко выбухала! — увязая по самые колена, шагала по травам Афанасея.

— Травинка на «ять»,— кивнул Евтропий.— Разгружайтесь да за балаганы!

Здесь же, среди оживленных покосников, переминался с ноги на ногу учитель, не зная, к кому приткнуться.

— Ты бы не лез под ноги-то! — проворчал Федяня. Когда-то учась у Ивана Евграфовича, он частенько получал от него «плохо» и «очень плохо», а теперь сам решил оценить его практическую сметку.— Бери топор, да виц наруби!

Иван Евграфович отошел к кустам и неумело замахал топором, оглядываясь на парня: «Не смейся!»

— Я бы тебе кур щупать и то не доверил! Гляди, как наш брат, колхознички, на вас робят!

Отняв топор, стал сокрушать гибкие сочащиеся талинки.

— Ну, как? — сложив в кучу всю нарубь, спросил.

— Отлично.

— Тащи к балаганам!

Учитель кряхтя поволок прутья, теряя их по пути.

Через час подле болота вырос балаганный городок, уложенный сверху и с боков травою.

— Меня к себе пустишь? — робко спросил учитель.

— Шибко надо! — отвечал Федяня.— Я лучше девку приглашу. Пойдешь в артель, Шурёна?

— А продавщицу-то куда?

— Туда же, куда и отца...

— Ох ты!.. О-ох...— девушка подавилась обидой, хлебнула ртом воздух, показав с крошечной щербинкой зубы.

— Иди сюда, Александра! — позвала Афанасея.— А ты, выродок, с глаз скройся, пока я добрая!

Парень забился в балаган и, высосав там бутылку водки, сгинул в лесу.

— Врет он все! Злится на меня, вот и врет! — всхлипывала Шура, скобля ножом картофель.

— Что он, что отец... Любят под кожу лезть,— кивнула Афанасея.— Да ты не расстраивайся! Суп впересол будет. Придет время, и они поплачут...

— Гли-ко! — указала Фекла на косцов, которые маячили вдали.— Ровно ласточки на проводе.

Ее и Шуру назначили поварихами. Афанасея, отставшая от косцов, им помогала.

— Согласно идут! Пойти покосить, что ли?

— Сиди — накосишься. Наше дело бабье...

— Бабы-то мы в постели. А на работе поболе их гнемся...

Теплою водицей брызнули поздние сумерки.

Задремали кузнечики.

Примолкли в камышах утки.

С торжественной медлительностью возвращались косари. Развесив на ветки берез остывающие косы, неторопливо смывали с себя пот, курили. Парни и девчата, не успев присесть, сновали вокруг балаганов, плескались водою. Иные подсаживались к костру, который, дразнясь, показывал бесчисленные красные языки.

Порхали редкие приглушенные фразы, пока в ночи не повисла песня. И хоть запевал ее немудрящий жестяной голосок, но лилась она задушевно и трогательно.

Вы не вейтеся, русые кудри,
Над моею больной головой,—

выводил Евтропий. Ему сразу же отзывались женщины и бережно несли нехитрую мелодию через весь белый свет.

Куда подевалась пьяная горластость, сопутствующая всякой песне в праздничные дни! Удивительную светлую грусть источали голоса. Песня плыла над одиноким костром, над тихим лесом и где-то далеко и неслышно терялась в ночи.

...И вдруг раздумчивую тишину расколола другая песня, пьяная, разгульная...

...Я ручки-ии и ножки сло-ооааамммаю
И жи-илочки-иии порвууу...

— Уже хватил! — сказала Шура и насильственно рассмеялась. Ей почему-то было стыдно за Федяню, который где-то успел в одиночку напиться и теперь своими разуха-

бистыми выкриками сломал тесную задушевность, не такую уж частую гостью.

— Ну и варначище! — рассердился Евтропий.

— Сколь живу, сроду на покосе пьяных не видывал,— сказал Панфило.

— Выгнать его, да и только.

Подойдя ближе, Федяня протолкался к костру.

— Хватить ныть! — сказал он.— Давайте веселую!

— На первый раз прощу! — сурово сказал Евтропий.— На второй спуска не жди. Теперь спать. Утре до свету подыму.

— Хы! Спать! Ноне вся Сибирь бессонницей мается... Сыграй!

— Спать!

— Ишь ты! Кочка на ровном месте! — удивился Федяня и, удаляясь, пропел:

Девчонки, я вас не хвалю, не хаю,
Юбчонки на вас шире малахаю.

— У-жжинать! — позвала Фекла.

За болотом отсчитывала кукушка.

Глава 40

Утром Евтропий поднял косарей до зари. Молодых без церемоний вытягивал из балаганов за ноги, обливал водою из бочки.

Вышли по росе. Первый прокос по неписаной традиции начинал сам. Косил чисто, травинка к травинке. Под ровным рядом ни одного уса.

Жжжааажж-аххх...— выводила коса, под самый корень срезая траву. Волнисто и плавно нырял носок. Пятка мощно отбрасывала кошенину в валок.

Жжжаахх-аххх... ххжааххх-ааххх...

— Пятки ожгу! — возбужденно кричал Панкратов, идущий вторым.

Евтропий сквозь зубы сплевывает, не отвечает.

Через пять минут Панкратов начинает отставать и, горячась, прокашивать нечисто. Сзади на него наседает Федяня, который не знает, что такое усталость, смятое дыханье, точно родился без легких. Но и ему нелегко угнаться за Коркиным.

— Иди к бабам! — насмешливо советует он Панкратову.— Это как раз по твоим силам.

— Молокосос! — сердится Панкратов, с еще большей яростью налегая на литовку.

Но работа не любит гнева. Трава не слушается, ускользает из-под жала. Панкратов бранится, все чаще правит литовку, доставая из-за голенища оселок. Тем временем Евтропий заканчивает прокос, медленно движется обратно своим же следом, чтобы не примять траву у других косцов. Подле Панкратова останавливается: приподнимает валок: усы.

— Охредь! — вполголоса роняет он и видит, как буреет лысеющий затылок Панкратова.

— Может, все-таки меня вперед пустишь? — с уничтожающей вежливостью спрашивает Федяня.

Панкратов, не в силах что-либо сказать от стыда, кивает.

Вырвавшись вперед, Федяня ухает во всю мощь. Прокосище, хоть и не такой ровный, как у Евтропия, зато шире. По самое колено вздымается встрепанная грива валка. Идет он стремительно, будто не косит, а поле меряет, и чем дальше, тем быстрее. Вдруг под косой пискнули перепелята, рассыпались, как муравьи: попал в гнездо. На прокосе трепыхалась окровавленным горячим тельцем подраненная перепелка.

— Сама смерть искала! — склоняется над ней Федяня.

Но трава сохнет.

Солнышко взбирается выше.

Поправив литовку, парень виновато вздыхает и снова сокрушает сочную траву.

— Живодер! — кричит ему вслед Панкратов. Федяня не оглядывается. Литовка стонет в его руках, выгибается.

— За что птаху сгубил? Эх!..

Панкратов жалостливо мотает кучерявой в проплешинах головой и бормочет над птицей, уже закрывшей глазки; бережно относит в сторону.

Солнышко поднялось.

Радостно затрепетал осиновый колок.

Кто-то вспугнул стадо диких коз. Они метнулись к черемуховым зарослям, среди которых затесалась старая дуплястая сосна, и повернули обратно. На сосне, изогнувшись, дремал человек. Просыпаясь, тревожно всхрапнул, потянул хищным хрящеватым носом: пахло костровым дымком.

«Покосники! — определил он.— Щец бы похлебать!»

Человек не заметил, что из кустов за ним давно уж наблюдает Фекла. Громко зевнув, он показал железную верхнюю челюсть и стал спускаться с дерева.

«Неуж Фатеев?» — подумала Фекла и спросила:

— Змей не боишься!

Он метнулся за дерево, озираясь побелевшими от страха глазами, затаился: если кто с ружьем — не уйти.

— Не узнал?

— Ты-ы! — Фатеев в два прыжка подскочил к ней, схватил за горло и опрокинул.

— Погоди! — хрипела Фекла и махала руками.

— Чего годить? Все одно донесешь,— но Фекла почувствовала, что пальцы ослабли.

— На зятя-то?

— Черт тебе зять! — он рывком повалил ее на траву, повинуясь безотчетному желанию, зажимая ладонью рот, проговорил:

— Пикнешь — задушу!

— Пусти! Молчать буду.

Немного погодя спросила:

— Откуда бог несет?

— Будто не знаешь? Сама благословила!

Фекла высвободилась, оглядев его с ног до головы, удовлетворенно булькнула смешком:

— Хорош! А ведь когда-то первым богатеем был!

— Не выдашь?

— Какой резон?

Как ни странно, Фатеев поверил ей.

— Наталью где оставил?

— Сгинула,— угрюмо поник он.— На другую зиму схоронил.

— Жалко! — равнодушно пожалела Фекла.— Есть хошь?

— Два дня маковой росинки в роту не бывало. Да ведь ты раззвонишь...

— Дурной! — рассмеялась Фекла.— Мы с тобой теперь два раз родня. Будь спокоен — не выдам. За едой схожу...

— Горяченького принеси. Все в брюхе ссохлось...

— Спроворю. Я ноне за повариху, так что голодным не будешь.

Покосники тянулись на завтрак. Логин — он перегнал

коров на покосы — уже успел срубить обеденный стол и принялся за волокуши. Ребятишки-копновозы помогали ему. Принеся охапку вершинок для волокуш, Венька Бурдаков сбросил их на тепляковского Букета. Пес обиженно взвизгнул и отошел к кустам, оттягивая ушибленную лапу.

— За что, ребятки? — с кротким удивлением спросил Логин.— Разве можно животную обижать? В ей тоже душа имеется...

— У собаки-то? Эко сморозил!

— Ты в глаза ему погляди! Там все видно. Пес боле человека понимает, токо высказать не может.

— А я почто по-собачьи не понимаю? — спросил Венька.

— Ты и по человечьи-то понимать не выучился... Собаку вот ударил. Зверство это!

Косари усаживались за стол. Евтропий спустился к колодцу за туеском. Взглянув на инициалы, удивился: свежи больно. То ли от воды? Следом за ним шел Федяня. На его посудине были те же буквы.

Приняв от Феклы по чашке супа, уселись за стол. Федяня, вытащив огромную ложку, зачерпнул из туеса сметаны. Черпанул и Евтропий, но в его ложке оказалась пахта.

— Что за чертовщина! Были сливки, стала пахта. То ли Агнея подшутила?

— А у меня наоборот,— похвалился Федяня,— брал пахту, образовалась сметана.

— Это у кого какая корова,— усмехнулся Панкратов.— У Мити Прошихина коза, сказывали, вовсе маслом доила. Угости сметанкой, Федор!

— Греби. Я страсть люблю угощать. Угощайся, Евтропий. Хватит и на твой пай.

— Та-ак,— Евтропий пригляделся к туеску Федяни.— Мои-то буквы как к тебе перешли?

— Наверно, в воде отпечатались. В колодце рядом висели,— предположил Федяня.

— Я те так отпечатаю, век помнить будешь! — рассердился Евтропий, поняв, что его провели. Федяня вырезал на своем туеске те же инициалы, и Евтропий перепутал туеса.

— Кто ел сметану — будьте свидетелями! — воззвал Федяня.— Это он мой туес украл...

— Винюсь! — отошел Евтропий и рассмеялся. Он и сам любил проказничать и прощал проказы другим.

Мужики, слушая их незлобливую перебранку, посмеивались.

— Тетка Фекла, вчерась корова на ферме сдохла. Суп-то не из ее? — спросил Венька, вылизывая свою чашку.

— Из ее, милок, из ее.

Евтропий и Афанасея, оба брезгливые, выскочили из-за стола.

— Ишь, какие привередливые! В других странах, говорят, бычьи копыта варят, а тут — мясо.

— Постыдилась бы, Фекла Николаевна! Всю выть людям испортила. Не слушайте ее! Корову при мне резали,— вступилась Шура.

— Я тебе, сучий сын! — погнался за Венькой Евтропий.

После завтрака, разбившись на звенья, стали готовиться к метке. Копновозы запрягали лошадей в волокуши с еще не повянувшими листьями.

— Позоревать бы часок! — потянулся Федяня.

— Надо с вечера пораньше ложиться.

— А с девками кому миловаться?

— Молодым токо и поспевать,— поддержала Фекла.— После хватятся — поздно будет.

— Ты, поди, много грешила, тетка Фекла?

— Что было, то было. Теперь осталось грехи замаливать.

— Подвернется — не упустишь,— ввернул Панкратов.

— Так оно. А пока перебиваюсь чем бог послал.

— Нахваталась божественного-то...

— С кем поведешься...

— С кем ты токо не водилась,— буркнул Евтропий.

— С тобой, Тропушко, с тобой, свет! Разе я виновата, что Агнея глаз с тебя не спускает?

— Делом займись! — нахмурился Евтропий.— Шурена, ты за главную. Трактористов накорми.

— Она скорее тебя голодным оставит, чем трактористов.

Шура пошла будить Ефима и Прокопия, до рассвета косивших при включенных фарах. Подождав, когда удалятся покосники, Фекла налила в кастрюлю щей, сунула за пазуху хлеб и крадучись пошла в лес.

Парни сладко посапывали на пахучей, умятой ими траве. Шура долго сидела над ними, перебирая пальцами жесткие бронзовые кудри Ефима.

— Ты где, Александра? — очнулась она от голоса Феклы.

Отозвавшись, Шура растормошила ребят и, пока они умывались, собрала завтрак.

Вымыв посуду, подошла к Ефиму.

— Ефим Михеич, можно тебя?

— Нет, нельзя.

— Может, она по комсомольским делам? — лукаво прищурился Прокопий.

— Так и есть,— благодарно кивнула ему девушка и, отойдя в сторону, жарко зашептала: — Люблю тебя, Симушко!

— А на маминой постели кого любишь?

— Как у тебя язык повернулся сказать такое? Да я лучше утоплюсь...

— Отец не дозволит! — голос Ефима перехватило обидой. Губы дрожали.

— Я даже и в мыслях ни о ком, кроме тебя, не думала! — давясь рыданиями, бормотала девушка, протягивая к нему руки.

— Отстань... мачеха!

— Зря ты ее! — сказал Прокопий, увидев приниженный, полный отчаянной мольбы взгляд девушки.— Как бы не сотворила чего над собой...

Ефим не отзывался.

— Не верю я этим наговорам,— продолжал Прокопий.— У нас такого наплетут, что сам себя не узнаешь...

Они залили горючее, и трактор, пуская веселые сиреневые дымки, зарокотал по елани. Что-то, должно быть, озорное, кричали копновозы. Но сквозь шум мотора не разобрать.

Выбрав посуше площадку, Федяня ссаживал с волокуши копны. Евтропий немецким штыком заострял зубья стогометных вил. Рядом стоял Панфило, прикидывая, не пора ли утаптывать сено. Зацепившись граблями, попробовал взобраться на зарод, но скатился обратно.

— Это повыше, чем на Феклу,— сказала Афанасея, копнившая неподалеку, и, подняв старика, забросила наверх.

— Ух, чтоб тя вспучило,— вытаскивая набившееся под рубаху сено, ворчал он.— Родила мать бабу,— получилась кобыла...

— Поговори ишо! Живо в мотню травы напихаю!

— Я те напихаю! — для приличия огрызнулся старик, но отступил подальше: эта может! Стащит наземь и опозорит прилюдно. Такое и не с ним бывало.

— Ну, я с вами, мужики,— сказала Афанасея.— Примете в компанию?

— Нашим легче.

Зарод завели широкий, но к полудню Панфило топтался на пятачке, гладко завивая верхушку. Вершил он искусно. Стог получился ладным и убористым. Связав крест-накрест четыре веслака, уложил их и на вожжах спустился вниз.

— Вон, слышь, начальство пылит!

— Ну, молодцы удалы, крепко работнули! — похвалил Гордей.

— Не молодцы бы, дак акульками звали.— Из ходка, покряхтывая, вылез Дугин. За ним выскочил Науменко.

— Как живешь, Федор?

— Не тужу. Головных капель не привез дорогому сынку?

— Кажному слову место знай! — осадил Дугин.— В эку жару токо квас пить, милое дело.

— Солнышко низко, а у вас уж зарод выше сосен,— обмерив стог, сказал Гордей.— Эдак вас надолго не хватит.

— Отдыхайте, рванули крепко,— подключился Науменко и напомнил: — Нам пора.

Их вызывали в район.

— Раз начальство велит — отдохнем,— сказала Афанасея.

— Никаких тебе отдыхов! — засуетился Панфило.— С вами на портки не заробишь.

— И без портков проживешь. Все одно, кроме Феклы, никто не обзарится,— усмехнулась Афанасея и придвинулась к Науменко.— Посиди с нами перед дорожкой!

— В дороге насижусь,— слегка отстранился Науменко.

— Стыдишься? — подалась за ним Афанасея.— А я весь стыд потеряла. И добрая стала, хоть веревки из меня вей.

— На людях-то не липни... неловко.

— Думаешь, Марье передадут? Не нужен ты ей. У ей Пронька есть. А у тебя я. Так и знай.

Афанасея пристроилась в кустах, вытянув усталое тело. Федяня задумчиво грыз былинку, сплевывая обкуски.

Издали доносился рокот трактора, без устали носившегося по елани.

— Неказистая машинешка, а нам за ей не угнаться,— сказала Афанасея.— Умно сделана!

— Ну уж и умно! — возразил Венька.— Кабы она ишо сено за нас метала...

— Придумают и такую. Всяких напридумывают.

— Вот житуха-то начнется! Лягу я на берегу Ярки, а трактор мне огурцов у деда Панфила наворует. Лежи да хрумкай,— фантазировал Венька, шарясь у Афанасеи в носу былинкой. Она чихнула, не открывая глаз, схватила его за ухо. Парнишка завизжал от боли. Ухо заалело и вспухло.

Глава 41

— Такого уговора не было, Алеха! — говорил Дугин.— Своим детям я отец...

— Кобель ты, а не отец! — резко оборвал Науменко.— Давно вижу, на девку облизываешься. Не про твою честь!

— Я ведь не спрашиваю, про чью честь Афанасея. Так что давай не будем, Алеха!

— Иду вечор по елани,— ревет кто-то,— будто самому себе рассказывал Науменко.— Подхожу — Шурка. Ты ее не трогал, Дугин?

— Опомнись, бог с тобой! В мои ли годы?

— На годы не спирай! Знаю тебя — мытарь! — приближаясь к нему, говорил Науменко.— На меня писал что-нибудь?

Дугину стало страшно. Вокруг никого не было. Зашли далеко.

— Эко придумал! Мы с тобой одной веревочкой связаны,— стараясь не отводить глаз, отвечал он.

— Сазонов ко мне круто переменился... Стало быть, не без причины. Знай, если меня возьмут — ты следом загремишь!

— Я тебе не мешаю. Колхозу пользу приношу. И ты мне не мешай.

— Ладно. А девку не тронь! Не про тебя. Жени их и приданое выдели, чтобы нужды не знали... Слышишь?

— Слышу, Алеха! — отозвался Дугин, думая про себя: «Ловко распорядился чужим-то... Ишо неизвестно, как дела повернутся...»

— Иди и не забывай, о чем говорили!

Науменко медленно повернулся и зашагал к станам.

Через день к Земляному подъехали два милиционера. Они разыскивали Науменко. Тот, в нижней рубахе, пропитавшейся потом, вместе с Яминым и Афанасеей метал сено. Афанасея была разговорчива и шутила. Куда-то исчезла у бабы суровина. Губы растягивало улыбкой, глаза излучали мягкий необычный свет.

— Есть силенка,— говорила она.— Не всю в вине утопил...

— С вином покончено, знаешь ведь,— тихо, словно это было тайной двоих, сказал Науменко.

— Знаю, а все одно следить буду!.. Как за дитем, пока оно... не появилось...

— Науменко? — спросил один из милиционеров с толстым бабьим лицом.

— Вот и все,— еще тише сказал Науменко.— Прощай, Афанасея. Больше, пожалуй, не увидимся. Завязался мой узелок.

— Пройди к машине,— приказал милиционер.

— Все идет как надо, Гордей! Ты не теряйся,— сказал Науменко.— Марье поклон передай... Прощайте. Пока жив, помнить буду...

— Шевелись! — сердито подтолкнул его другой милиционер.

— Это Дугин...— не успел договорить Науменко. Его втолкнули в машину. Рыжко, словно чуял, что совершается что-то непростительно горькое и нелепое, печально ржал, поворачивая голову вслед уходящей машине.

— За что его? — спрашивал Панфило.— В чем провинился?

Ямин ожесточенно грохнул вилами по березе, зашагал прочь.

Было душно. И тихо.

Так бывает перед грозой.

Из-за стогов вышли все, кто близко работал. И все молчали.

Никто ничего не знал.

Никто ничего не понял.

«За что?» — с вялой пугливостью шелестели деревья. Кто мог ответить им?

За Яминым увязался Евтропий. Ноги его подгибались, вязли в кошенине. Он то широко шагал, то останавливался и топтался на месте. Догнав Ямина, ни о чем не спросил... Оба долго и потерянно глядели друг на друга, не замечая, что из кустов за ними следит чужой человек. Они повернули к кустам. Человек склонился и по-ужиному пополз в заросли, стараясь не шуметь.

На следующий день в Заярье позвонил Сазонов. Пермин после его звонка прискакал к Земляному.

— С повышением тебя! — весело поздравил он Ямина.— Сазонов велел остаться за председателя. Того отзывают куда-то...

— Отозвали... за решетку.

— Вот те на! А я, дурной, летел, радовался... Как же это, а?

— С Марьей не дали проститься,— сказал Евтропий.— Она в тягости...

— За ее не хлопочи. Баба как шапка: кто купил, тот и надел.

— Надо к Сазонову ехать. Может, он ясность внесет?

— Поеду,— решил Гордей.

Бузинка.

Не бог весть как далека она, но для Гордея — чужая сторона.

На пригорке два кирпичных здания. Одно — райком, другое — бывшая церковь — тюрьма. В ней и сидел когда-то Гордей. А теперь, вероятно, сидит Науменко. Ямину даже показалось, что темная фигура в тюремном окне и есть Григорий и что это он внимательно и тоскливо смотрит на волю, которой лишен, словно пойманная птица.

«За что? — думает Ямин.— Ведь наш он...»

— Сейчас доложу,— поднялась миловидная райисполкомовская секретарша.— У него товарищ один...

Гордей нетерпеливо топтался, остерегаясь ступить на нарядный ковер.

— Не терпится? — приветливо улыбнулась девушка.— Сейчас еще спрошу.

«Не таким был Сазонов!» — осуждающе подумал Гордей.

Прошел час. Нина снова зашла к Сазонову. И вот на-

конец обитая кожей дверь открылась, выпустив сперва Раева, потом Сазонова.

— Ко мне? — спросил следователь.

— Бог миловал! Не позовешь — не приду.

— Не заслужишь — не позову,— выходя на улицу, усмехнулся Раев.

— Заходите, Гордей Максимыч! Прошу извинить за задержку.

— Недосуг мне штаны-то протирать в передних! Люди сено косят...

— Не надо ворчать. С Раевым разбирались.

— Теперь все ясно?

— Если бы! Сейчас чайку соображу. Нина! — заглянула секретарша.— Чаю нам принеси!

Ямин удивленно покосился: породнились, что ли, на «ты» обращается к секретарше.

— Женился?

— Рискнул на старости лет.

— Какие твои годы! Почто в Заярье глаз не кажешь? Забыл?

— Где там! Вижу его во сне и наяву. Рассказывайте, как живете...

— Живем, хлеб жуем,— неопределенно сказал Ямин.— Изменений вроде никаких.

— Так уж никаких.

— Науменко вот...

— Знаю. Со следователем о нем говорили. Как думаете, виноват он?

— В чем? Нам ведь не сказали. Молчком взяли — и все.

— Обвинения серьезные. Очень серьезные...

— А ты им веришь? — мягко упрекнул Ямин.— Не может быть, чтобы человек, который за власть воевал, против этой же власти выступил... Может, обидела она его? Дак нет вроде... Вот и выходит, что ошиблись. Или я неладно говорю?

Сазонов молчал, тихонько дуя в стакан. Не дождавшись ответа, Ямин глотнул чаю и продолжал:

— Я так думаю, что разберутся...

— И мне так кажется,— Сазонов прикрыл глаза. Голос его был тусклым, меркнущим, Ямин заметил, как постарел он за это время. Под глазами дымилась синь. Лоб пересекли рубцы раздумий.

— Ты вот коммунист, Варлам Семенович. Но ведь и Науменко коммунист. Ты на воле, а его арестовали... Как так? Стало быть, разные у вас правды?

— Есть только одна правда, которой я буду верен до гроба,— тихо сказал Сазонов.— А он изменил...

— Не мог он изменить...

— Не ручайтесь. Мне одно письмо показывали... Чудовищное письмо. Я не верил. Но Науменко сам не отрицает этих фактов.— Сазонов, волнуясь, приподнялся. Гордей понял это по-своему: пора и честь знать.

— Куда вы? — прижал его к столу Сазонов.— Не затем столько верст отмахали, чтобы чайком побаловаться...

— Твоя правда,— снова присел Гордей.— Люди о Науменко знать хотят. Что им сказать?

— Скажите, что разберемся.

— Жалко мужика! Привыкли к нему. С другими трудно свыкаться будет.

— Другим будете вы...

— Уволь. Я в председатели не пойду. Грамоты мало. Да и не по мне это. Подыщи другого.

— Колхозники вам верят?

— Не спрашивал.

— Верят, я знаю. Вот вам и карты в руки.

— Нет, я на это несогласный!

— Боитесь?

— А как же! Тут не об одном себе думать надо — обо всех! Всем и не угодишь, хоть того лучше будь...

— И не надо угождать. И сомнения ваши я понимаю. Давайте вместе одолевать их. Сейчас немало найдется таких, которые забоятся, побегут. А мы назло всем выстоим! Мне ведь тоже боязно. Раньше сельсовет был, теперь — район. На других — область, государство... Что ж, всем в кусты? Нет, не к лицу нам это, Гордей Максимыч! Так что оставайтесь на своем месте. Будете мне великой поддержкой, другом будете. Согласны?

— Обошел ты меня! — усмехнулся Гордей, а внутри защемило: «Сам себя захомутал...» Но говорить об этом не стал: Сазонов и без того чем-то озабочен.— Ну, бывай к нам! Отдохнешь маленько, а то посерел весь, съежился... Как после хворости. Вместе с женой приезжай.

— Непременно. И даже сегодня. Но без жены. Вас утвердить надо.

— Это не к спеху.

— Подождите меня. На машине уедем.
— У меня лошадь.
— Тогда поезжайте. Я вас догоню.
К Земляному Гордей ехал не спеша, думая о разговоре с Сазоновым, и приехал почти одновременно с ним.

Глава 42

Собрание состоялось после обеда.
Густая тягучая жара поднималась волнами. Стрекозы прозрачными крыльями-ножницами стригли горячий воздух. Муравьи спешно закупоривали свои жилища.
Надвигалась гроза.
— Поторапливаться надо,— сказал Евтропий, с тревогой поглядывая на небо, вот-вот готовое сморщиться облаками.— Сено не дометано.
— Тогда начнем,— поднялся Сазонов.— Вопрос один, товарищи. Надо утвердить Ямина председателем. У кого есть другие предложения?
— Какие могут быть предложения, Алеха! — развел руками Дугин.— Он и так фактически председатель. Науменко для фасону числился.
— Чем он не угодил тебе? — Афанасея бросила на него угрюмый, подозрительный взгляд.
— Мне что? Я человек маленький. По мне хоть Ямин, хоть Науменко,— увел Дугин хитрущие глаза.
— Не соглашайся, Гордей! — шепнул Коркин.
— Сазонов просит. Отказаться неловко.
— Покаешься. Тяжелые времена настают!
— Раз обещал — отступа нет. Ему тоже нелегко.
— Хватит тянучки! — крикнул Евтропий, поняв бесплодность своих увещеваний.— Погодушка торопит.
— Других предложений нет?
— Ямина знаем,— сказал Панкратов,— насквозь видный.
— Тогда голосуйте.
— Токо без меня,— заупрямился Евтропий, увидев густо поднятые руки.— Я воздерживаюсь...
— Почему? — удивился Сазонов.
— Воздерживаюсь, и все.
— Ну что ж, при одном воздержавшемся председателем избран Ямин. Теперь выберите ему заместителя.
— Дугина,— предложил Панкратов.— Мужик грамотный.

— Не возражаю. А вы, Гордей Максимыч?

— Как народ, так и я...

— Голосуйте.

— О Науменко ничего не известно? — спросил учитель, когда собрание закончилось.

— Пока ничего. Будет известно — сообщу.

— Я уезжать надумал.

— Куда? — не слишком удивился Сазонов.

— Сам не знаю. Отпустите?

— Уезжайте, черт с вами! Покоя захотели! Не будет покоя! Нет его на земле...

Понуро расходились колхозники, тихо переговаривались между собой.

— Опутали тебя по рукам и по ногам,— Евтропий сочувственно поглядывал на Гордея.— Я против голосовал, а что толку?

— Пошли, что ли? — буркнул Гордей, вскидывая на плечо связку граблей и вил. За ними плелся Ворон, с трудом передвигая путающиеся в визиле ноги.

— Гроза идет,— бормотал он.— Шибкая гроза!..

Над головами собирались тучи. Из-за леса наплывали громадные рваные облака. Они крутились, клокотали, сталкивались, отбрасывали друг друга.

Люди лихорадочно спешили. Кое-как прибрав сено, побежали к станам. А потные тела уже просекал косой сумасшедший дождь, ударивший вслед за налетевшим вихрем.

Грозно молчавшие небеса взроптали, взбурлили, опрокинув вниз прорву воды.

Свет молний, таившихся за толщей непроницаемых облачных наслоений, пока еще не достигал земли. Мокрые и оробевшие люди спрятались в хлипких, ничтожных перед мощью природы балаганах.

— Успели все-таки! — отжимая насквозь промокшую рубаху, говорил Евтропий.

Сквозь шум дождя и раскаты грома прорвался приглушенный рокот трактора.

— С ума сошли! В грозу на тракторе — это разве дело?

— Сами понимать должны — не маленькие,— проворчал Гордей, но немного погодя накинул дождевик и пошел за трактористами.

Отдаленный глухой гром приближался.

— Ближе. Ближе! Еще ближе!!

Рраз! — верескнула молния, вполнеба раскинув ослепительно пылающий хвост. Ворон приник в углу балагана, укрылся пологом и немеющим языком лопотал молитву. У входа сидел Логин, впитывая грозовой озонистый воздух.

— Оглох, что ли? — безуспешно зазывал его Евтропий. Логин не шевелился.

Вскоре появился Гордей. За его спиной — клочкастые, точно вымокшие щенки, трактористы.

— Ну-у, натерпелись страху! — возбужденно говорил Ефим.— Молния в елку жахнула, а мы рядом стояли... И ведь не задела!

— Молния, она тоже понимает, где председатель, а где разная шоша-ероша,— хмуро пошутил Евтропий. Рявкнул где-то над головами гром. У балагана вспыхнул невыносимо золотой свет. Загорелся стол; звенькнула посуда, свертываясь в комочки. Пластом растянулся Логин.

— Дядю Логина убило! — крикнул Прокопий и выскочил наружу. За ним Гордей и Евтропий.

— Жив?

— Оглушило,— Гордей приложился к Логиновой груди: сердце стучало.— Яму копать! Все вылезайте! Скорей! Скорей! Все до одного.

Мужики с неохотой, но быстро — человека убило! — подчинились зычному голосу Ямина, и через несколько минут яма была готова. Логина зарыли, оставив открытым только лицо.

— Нашел господь...— бормотал Ворон.— У его рука длинная...

— Да замолчи ты! — замахнулся на него Панкратов.— Истинно — Ворон!

Часа через два Логин болезненно сморщил рот и застонал.

— Ожил! — ликующе закричала Афанасея и руками стала расшвыривать липкую землю. Логин еще долго лежал без движения, медленно вращая помутневшими глазами.

— Встать можешь?

— М-ммогу,— он через силу поднялся. Одежда разошлась в разные стороны, обнажив худое бледное тело.

— Да он голый совсем! — ахнула Фекла и залилась хохотом. В ткани сгорели поперечные нити. Продольные при каждом движении колыхались кистями.

— Ты токо это и видишь! — сплюнул Панкратов, дивясь причудливой работе молнии.

— Куда его? Домой или в больницу?

— Доммой,— сказал Логин.

— Сегодня твой черед, Афанасея,— сказал Евтропий.— Отвезешь его. И ты поезжай, Федор! Серпы направишь...

Пока Афанасея укладывала пострадавшего в телегу, Федяня запряг пару лошадей.

Большую часть пути молчали. Федяня, правя лошадьми, осторожно миновал ухабы. Афанасея поддерживала ладонями голову Логина, матерински гладя его шелковые волосы.

— Добрая ты,— сказал Логин.

— Это я для тебя добрая. Для других злая...

— Не наговаривай на себя. Я все понимаю. На ноги встану — рисовать тебя буду.

— Ты мне лучше человека одного нарисуй.

— Зачем? — ухмыльнулся Федяня.— Картину под бок не положишь. Лучше живого пригласить.

— Уж не тебя ли?

— И я не откажусь.

— Опять чай опрокинешь,— ядовито усмехнулась Афанасея и повернулась к Логину: — Нарисуешь?

— Кого?

— Ясно кого — Науменко,— захохотал Федяня.

— Дай-ка сюда вожжи,— сказала Афанасея.— А теперь слезь.

— Зачем?

— Затем, чтоб язык не распускал. Слезай! — столкнув его, прикрикнула на лошадей и, не оглядываясь, отъехала.

Логин заснул на ее коленях и спал до самого Заярья.

Варвара развешивала белье.

— Принимай муженька,— открыв калитку, сказала Афанасея.

— Что с ним?

— Громом ударило.

— Ойё-ёченьки! — Варвара всплеснула руками и выронила белье.— Горюшко ты мое! Испужался?

— Не успел,— сказала Афанасея.— Сразу на том свете оказался. Едва откачали...

— Как хоть было-то?

— Не помню. Ссидел, ссмотрел... Потом — огонь... И — все.

Они занесли Логина в избу и, раздев, уложили.

Предоставив Варваре хлопотать над больным, Афанасея разглядывала травы. Большая часть из них была известна: стародубка, вереск, паровица, белена, мята...

— Этой пользовала кого? — Афанасея указала на казак-траву.

— Приходилось. Женское дело: просят — не откажешь. Кому охота в девках дитем обзаводиться.

— Помогает?

— Занеможешь — приходи.

— Давно неможется. От тоски есть средствие какое?

— От всего есть.

— Обманываешь. Мою тоску никакой травкой не заглушить. Ну, выхаживай своего рисовальщика. Он мне короля трефового нарисует, который на сердце упал. Сердце теперь на всю жизнь ранено.

— Может, отпустят его...— сказала Варвара.

Афанасея горько вздохнула и вышла.

Дав Логину выпить дымящийся отвар, Варвара усыпила его и беззвучно заплакала.

Глава 43

В Заярье пришла беда. Первый удар ее принял на себя Семен Саввич. В это время Гордей и Панкратов ехали домой, не подозревая о том, какие бедствия принесла колхозу стихия. Еще с утра Семен Саввич предчувствовал перемену погоды.

— Всю спинушку изломало! — жаловался он Кате.— Должно, к ненастью.

— Не похоже,— Катя выглянула в окошко. По небу плыли редкие дымчато-серые облачка.

— А вот поглядишь! Старые кости не обманут...

Выйдя из дома, он засеменил к полю. Приставил козырьком ладонь к бровям — краю не видать. Где-то кричали ребятишки, потерявшиеся во ржи. В рост человека хлебушко выбухал! Колосок к колоску! Упругие полированные стебли гнулись под тяжестью налившегося молодою силой зерна. По краю голубели васильки.

— Матушка ты моя! Кормилица! — исступленно шептал старик. Растерев в горсти несколько колосьев, щекот-

нул восковым языком ржинки и рассыпал остье по ветру.— Экое диво уродилось! И время: наголодался народ...

Рожь вдруг затрепетала.

Припала к земле.

Ветер дунул суровым нелетним холодом.

Упали первые капли дождя. Были они холодны.

— Град! — тревожно поднял глаза старик.— Как бы хлебушко не посек!

Он раскинул слабые старческие, с черными прожилками руки, словно хотел оградить поле. Но много ли могли сделать эти руки!

А град широкой полосой подступал со стороны Бузинки.

Сперва падала резкая, скрипучая крупа, секла лицо старика, раскрылившегося над рожью. Был он мал и немощен, но велик и грозен. Он обвинял стихию, бросая ей вызов, который она приняла, глумясь над его бессилием; приняла и обрушила на спокойную обильную землю частую ледяную картечь. Градины рубили и мяли стебли; крошили и отряхивали колосья, ударяя деда Семена по плечам, по голове, по худой сморщенной шее; таяли на его лице, ручейками стекая на серебряную патриаршую бороду и перемешиваясь с кровью и горючими слезами.

Наконец природа сжалилась над стариком. Круглая свинчатка льда ударила его в висок. Падая, он едва различимым шепотом вопросил:

— Ты-то куда смотришь, господи?! Эй!..

Отходил по земле еще один честный и строгий боец.

Он умер в сражении, которое продолжалось сто один год. Он не победил, но и не проиграл его.

Рыжко ввез Гордея и Панкратова в полосу градобоя, который прошел по всем урожайным полям, точно знал, что это самое ценное из всего, что есть в колхозе.

— Переждем? — вытаскивая из-под сиденья потник, спросил Панкратов.

— Гони! — хмуро бросил Гордей, и жеребец, прогибаясь могучим крупом, понес их сквозь чудовищное ненастье. Ледяные камни отбивали Ямину, державшему над головой потник, руки.

— Гони! Гони! — кричал он.

Рыжко летел, разметывая в стороны ставшие грязью градины. Внезапно он остановился и заржал, обнюхивая лежавшего на дороге человека.

— Подверни к березе! — приказал Ямин. Подойдя к Семену Саввичу, медленно склонился над ним, вытер с виска кровь.— Остыл уж... Вот и отжил свое!

— Все там будем,— невесело отозвался Панкратов и с горечью добавил: — Силен человек, а непогодь посильнее. Раз пошутила — и мы без хлеба. Вот те и владыки мира...

— Поехали! — укрыв покойного кошмой, сказал Ямин.

Наливную ядреную рожь изувечило, иссекло, обтрепало. Пустые разбитые колосья отчаянно взывали о милосердии. Немыслимо спутанным, изогнутым и сломанным стеблям не хватало сил подняться...

— Тут и соломы не накосишь...

Лишь одна маленькая полоска подле леса уцелела. Весною здесь пахал дед Семен.

— Хоть память о себе оставил,— указал на полоску Панкратов.

Ямин, застыв над холодным телом старика, молчал. Внутри болело: казалось, град, утихший на улице, теперь клокотал в его душе, каждым ударом увеличивая тупое бессмысленное отчаяние.

На поскотине, близ Ярки, виднелись трупы побитых овец. По реке уносило чьих-то гусей. Они били крыльями, стремясь выплыть на берег. Вода рыча закручивала их своим бурливым течением. Взбеленилась Ярка.

Вот и еще одну стаю гусей понесло. За этими, как за судьбою своей, бежала Катя. Опередив их, прыгнула с моста в воду, намереваясь перехватить, но не рассчитала, и гусей пронесло мимо. Течение подхватило девушку, завертело, втянуло в себя.

— Спаси-ите! — закричала она, но, хлебнув воды, умолкла.

Слыша ее вопль, с горы мчался Федяня.

— Я сейчас, Катюха! Я счас... Не тони! — кричал он. Прыгнув с разбега, поплыл к тонущей.

Медленно поднимался в гору Рыжко. В ходке из стороны в сторону качалась голова старика. Встречные снимали картузы. Семен Саввич лежал с открытыми глазами, но смотрел не на людей — на небо. Этот немигающий взгляд укоризненно спрашивал: «За что? В чем провинились перед тобой люди?..»

А люди, вздыхая, осматривали свои хозяйства. Почти в каждом был убыток: сорвало крыши, размыло огороды,

унесло птицу или прибило скот. Но не это более всего огорчало заярцев. Они знали, отчего насуплен Панкратов и гнется к земле негнущийся Гордей.

Заметив из окна понуро бредущего мужа, Александра послала Фешку:

— Отец приехал! Встречай!

Гордей тяжело опустился на табурет, обессиленно снял сапог, раскачивая его в руке, задумался. С голенища червячком сползла грязь. Впервые Александра услышала, как он скрежещет зубами. Взглянула: на рыжей бороде серебрились слезы.

— Почто плачешь, тятя? — прильнула к отцу Фешка.

— Не я плачу,— Гордей погладил ее пшеничные волосенки, принюхался: и они пахли хлебом, полем пахли.— Беда моя плачет...

— А у нас чо было! — звоночком зазвенела Фешка. Своим маленьким детским сердчишком она чувствовала, что отцу сейчас нелегко и что говорить с ним надо не о том, отчего нелегко.— Я окно запирала, а градина как бахнет в стекло! Чисто все раздробила!..

Александра все время подглядывала из-за двери.

— С приездом! — будто и не знала, что он приехал, сказала.— Есть будешь?

— Не хочу.

— Молочка с костяникой похлебай,— с мягкой настойчивостью говорила она и деловито кружилась по избе, наполняя ее бодростью и светом.

«Умницы мои, разумницы!» — благодарно подумал Гордей о своих утешительницах, разглаживая межбровье. Что бы ни отпускала ему судьба, как бы ни колошматила, он крепко знал одно: семья — несокрушимая опора. Она не зависит ни от погоды, ни от случая...

— Ты молочко-то хлебай...

— Некогда, Сана! Пойду Семену Саввичу гроб делать.

— Умер?! До чего же славный старичок был. Это почто же хорошие-то люди помирают?

— Все помирают.

— То и худо. Я бы для хороших веку прибавила...

* * *

Погибшего хоронили на следующий день. Провожать его пришли все заярцы. Из Бузинки приехали Лавр Печорин и Сазонов. Дед Семен, будучи при жизни челове-

ком веселым, наказывал всем в день его похорон напиться допьяна, вопреки обрядовым строгостям староверов. Катя, выполняя его наказ, каждому поднесла вина.

— Не могу! — отказался Евтропий и прошел к покойнику, лежащему под божницей.— Прости, Семен Саввич! В горло не идет...

— Раньше сроку помер,— упрекнул покойного друга Лавр, грудастый, басовитый старик.— Такого уговору не было, Семен! Кто мне теперь петуха купит?

Он вылез из-за стола, надел через плечо полотенце и приготовился провожать друга в последний путь, самый дальний из всех известных. Путь, у которого есть только начало.

Со смертью Семена Саввича из Заярья уходило что-то бесконечно большое, чего люди не могли выразить словами.

— Речь скажешь? — спросили Сазонова.

— Речь? — он встряхнулся, задумчиво потер переносицу, сказал как живому: — Спасибо тебе, дорогой наш Семен Саввич, за то, что жил. Мне повезло, потому что я знал и любил тебя... И все любили...

Он плакал, не стыдясь своих слез, и оттого был еще ближе и роднее людям, которые его окружали.

Семена Саввича похоронили над яром, под веселой черемухой. При жизни старик не умел грустить и просил не горевать на поминках. Но не в силах выполнить его волю, мужчины начали тереть кулаками глаза, женщины отчаянно заголосили, когда Катя бросила на опущенный гроб первую горсть могильной земли.

Глава 44

Ребенок родился мертвым. Это подкосило Марию. Она постарела и подурнела. Седина, которую раньше удавалось прятать, выступила густо. Глаза — в них любил смотреться Прокопий — потускнели и выражали одно только равнодушие к жизни.

«Кончено! — тупо думала женщина.— Все кончено!» Ночью ей приснился страшный сон. Будто идет она по полю, а из пшеницы навстречу выбегает стая волков. «Вот и хорошо! — радуется Мария.— Это смерть моя!» Но волки промчались мимо. Впереди них бежал матерый гривастый зверь, который что-то держал во рту. «Голова!» —

разглядела Мария и ужаснулась. Другие звери накинулись на вожака, и он уронил свою добычу. Голова подкатилась к ногам Марии. Синие губы раздвинулись, спросив: «Не узнала?»

— Григорий! — закричала она и в ужасе попятилась.

— Не бойся! — сказала голова.— Я хочу проститься. Поцелуй меня!

— Нет! — закричала Мария.— Нет!

А волки уже схватили голову и, разрывая ее на части, стали драться.

Мария вскочила и зажгла свет. Взглянув в зеркало, не узнала себя. Лицо было морщинистым и желтым. Волосы развились и посерели. «Что это? — коснувшись волос, услышала, что они хрустят под пальцами, словно пересохли над огнем.— Теперь он бросит меня,— подумала о Прокопии.— Ну и пусть. Одна доживу...»

Но жить одной не хотелось. И вообще не хотелось жить. Все стало уныло и бесцветно, точно окружающий мир выварили в кипятке. И смерть и жизнь стали одинаково безразличны. До сих пор она жила, спрашивая себя: «Что будет завтра?» Это было любопытство от боязни. Теперь оно пропало. Место тревожных предчувствий заняло удивление тем прежним страхам за грядущий день. «Мне нечего терять, потому что ничего не было. Я все выдумала: и любовь, и страх,— думала она.— Ничего нет. Все стало ничем».

В эти самые безрадостные дни ее жизни в школу пришла Катя.

— Он один у меня остался,— сказала она.— Отдай!

— Возьми,— безразлично и тихо прошелестела Мария.— Возьми и будь счастлива, если сможешь... Я не смогла.

«Какая она страшная! — думала Катя, глядя на постаревшую, лишенную жизненных соков соперницу. Вся седая...»

— Не нравлюсь тебе? — мертво улыбнулась Мария.— А вот ему нравилась.

— Любишь его?

— Теперь нет. Нечем. Оставь меня одну. Я его больше не пущу.

— Не сможешь.

— Смогу. Он твой, я знаю. Но я тоже хотела счастья. Теперь не хочу, потому что не знаю, какое оно...

— И со мной оно разминулось...

— У тебя все впереди. Прощай! И не держи на меня зла. Я всего лишь слабая баба.

— Жалкая ты моя! — обхватила ее Катя.— Обездолил он нас...

— Нет, меня не обездолил. Он дал мне очень много. Все, что было отпущено, я израсходовала... Остальное твое. Бери и больше не растравляй меня.

Когда постучал Прокопий, она не впустила его. Не открыла и во второй раз, и в третий; лежала на кровати и слушала его сердитый голос и стук.

Он колотил настойчиво и долго, но Мария не открывала, не двигалась, точно это был не любовник ее, а ветер в ставни.

«Я строила из песка. Из песка строится на один миг. Вот и рассыпалось. Теперь ничего нет...»

В дверь больше не стучали.

Глава 45

— Я за тобой, Катерина,— сказал Федяня, выставляя на стол поллитровку.

— Как это — за мной?

— Сватать пришел...

— Ты не туда попал, Федя.

— Не подхожу?

— Не подходишь.

— Если не секрет — почему?

— Потому что у меня на сердце другой.

— Ну, это не причина! Он тебя и знать не желает.

— Это уж не твоя печаль. Бутылку-то убери. Зря выставил...

— Стало быть, от ворот поворот?

— Стало быть, так.

— А ведь я тебя люблю, Катерина,— тихо сказал Федяня.— Больше жизни люблю.

Это безыскусное признание тронуло девушку, что-то хорошее, теплое шевельнулось в ее душе.

— Не надо, хороший мой! И тебе больно, и мне... Ты же все знаешь.

— Ты не гляди, что я фулиганистый,— не понял ее Федяня.— И что пью — не гляди. Женюсь — все брошу.

Вот те крест. Это я с виду такой пустой. А я не дурак, Катерина. Верно говорю: не дурак!

— Ты умный. И ты мне нравишься. Но не больше его.

— Я убью его.

— Ну и чего ты этим достигнешь? Я ведь все равно за тебя не выйду...

— Зато и ему не достанешься!

— Уходи, Федор! Я думала, ты по-доброму пришел, а ты... Уходи!

— Погоди, Катя... Катенька! Это я сдуру! Никого не трону! Токо скажи мне: можно надеяться? Я подожду. Я терпеливый...

— Не надейся. Так лучше. Девчат много. Выбери себе по душе и женись. А я свою долю ждать буду...

— Это твое последнее слово?

— Последнее, Федя.

— Лучше бы я утопил тебя тогда...

— Это и сейчас не поздно.

Федяня схватил ее за руки и, стиснув, стал целовать лицо, глаза, губы. Она не кричала и не сопротивлялась. С молчаливым отвращением смотрела на него, и это его отрезвило.

В избу незваной и нежданной вошла Фекла.

— О, тут уж без меня сговорились! Вовремя опоздать лучше, чем прийти безо время! Мир да любовь!

— Заткнись ты, мымра! — рявкнул Федяня.

— Нету здесь ни мира, ни любви, тетка Фекла,— сказала Катя.— И никогда не будет!

— А чем плох парень? И лицом пригож, и умом не обижен. Ты, девка, не ерепенься. Года-то уходят... Не век молодой будешь...

— Хватит об этом.

— Что хватит? Ты пойми, дура, что мужики на нас на молодых зарятся... А молодость — она как дым: раз — и улетела.

— Я сказала: хватит!

— Проньку ждешь? Ты ему сто лет не нужна. Ему белоручки глянутся. Так что нос-то не задирай!

— Пошли отсюда! — сказал Федяня и подтолкнул ее к порогу.

Они ушли, забыв прихватить с собой свою бутылку.

— Не выгорело, сватьюшка! — сказала Катя и вымученно рассмеялась.

Глава 46

На большом поле жать было нечего. Путаясь в иссеченной ржи, школьники собирали колоски. Иван Евграфович, ведя счет собранным корзинкам, отмечал карандашом в тетрадке.

Мария в поле не вышла.

— Иван Евграфович, можно я на лобогрейке поезжу? — спросил Венька.

— Да как же, Веня? Ведь это трудно!

— Очень даже легко. Разрешите, я уже пять корзинок набрал...

— Ну иди.

Задирая босые ноги в цыпках, парнишка побежал к дальнему полю, на котором трещали лобогрейки. На одной из них сидел Федяня.

— Дай разок прокатиться! — Веньку влекло к работе, которую выполняли взрослые. Он торопился, хотя впереди была — жизнь, то есть великая возможность насытиться всякой работой.

— Разок можно. Токо сперва к Панкратову за волосянкой сбегай, а то у меня рычаг отвязался.

Не догадываясь о подвохе, Венька стремглав кинулся выполнять его поручение.

— Дядя Мартын! — закричал он еще издали.— Федяня волосянку просит.

— Кого? — не понял Мартын.

— Волосянку! Давай скорей!

— А-а, счас дам.— Схватив парнишку за вихор, начал теребить его, приговаривая: — Вот тебе волосянка! Вот волосянка!

Венька вырвался и с ревом бросился наутек. Отбежав, показал язык.

— Я тебе, змееныш! — пригрозил Панкратов.

Волосянка — шутка жестокая, выдуманная для забавы. Некоторые, попадаясь на это, надолго запоминают урок, преподанный в детстве.

Придумывая месть, Венька медленно брел к Федяне, который уже забыл о нем.

У вороха ликовал Пермин, радуясь первому обмолоту. Подбежав к подавальщикам, отмочил что-то соленое. Зарделись девчата, захохотали бабы. А Пермин уже отнимал у Кати сноп и совал его в жадный зев молотилки. За ним наблюдали веяльщицы.

— Наверно, быть свадьбе,— сказала Афанасея.

— Ишь, как разыгрался.

— А она и не поглядит на него. Опала как цветок на снегу,— сказала Агнея.

— Опадешь! — усмехнулась Фекла.— Племянничек твой потешился и бросил.

— Дурной, потому и бросил.

— Нынче это просто делается.

К ним подъехал Федяня.

— Опять заделье нашел?

— Я без вас, как пиво без дрожжей.— Он спрыгнул с вершины и, обхватив женщин, повалил их на ворох.

— Вот выматерел, бугай! И мне уж теперь не под силу! — сказала Афанасея.

Немного погодя примчался Панкратов, второпях забыв расхомутать лошадь.

— Фатеева видел,— зашептал он, отозвав Афанасею.— Про тебя спрашивал.

— Ну?

— На фатеру примешь?

— Пущай к тестю идет.

— Так и сказать?

— Так и скажи.

Она не удивилась и не обрадовалась, услышав о Фатееве, хотя всего лишь несколько месяцев назад только о нем и думала. Если бы раньше он лишь пальцем поманил ее, Афанасея пошла бы за ним на край света. Но с ним была Наталья, которую он предпочел ей, Афанасее... А теперь вот вернулся и ворошит то, что умерло. Поздно! Сердце Афанасеи теперь болит о другом. И под сердцем бьется его ребенок. Слишком поздно, Петро!

— Поздно! — сказала она вслух и взялась за рукоять веялки.— Давайте веять, бабы!

Между тем одна за другой уходили на элеватор подводы.

— Вот он, хлебец-то, а на зуб не попробуешь — чужой...— наполняя мешки, говорила Агнея.— Хоть бы нам фунта по два дали!

— Кабы все поля засеяли — от града не пострадали...

А обозы все шли и шли по пыльной дороге мимо Пустынного, мимо Заярья.

В глубинке и в амбарах было пусто. Озоровали мыши

в сусеках, да недовольно позванивал ключами Дугин, расхаживая из угла в угол.

Как-то под вечер на ток наведался Раев.

— Устали, товарищи? — пожимая руки, говорил он.— Ничего, теперь уж недолго осталось...

— Ого! — следователь выдернул свою маленькую отечную ручку из большой, не по-женски широкой ладони Афанасеи.— Полегче нельзя?

— Такая уж я нелегкая,— нехорошо усмехнулась Афанасея. Она считала этого человека виновным в аресте Науменко.

— Ну и силища! Мужчине не уступите!

— Ежели мужчина стоящий — уступит,— ввернула Фекла.

— Ох и язычок у вас! Это хорошо. Я тоже люблю шутки. Но сперва о деле... С планом справитесь?

— Вы разве не знаете, что у нас хлеб выбило?

— Знаю. Но, во-первых, я в этом не виноват, а во-вторых, выбило не весь хлеб...

— Нам-то ведь тоже надо!

— В первую очередь государству! Потом вам... И потом, товарищи, у вас есть председатель. С него и спрашивайте. А я уполномоченный...

— Все с председателя спрашивают... Видно, председатель всех безответней...— Агнея болезненно переживала упреки, хотя бы и косвенно направленные на брата; его еще не бранили вслух, но недовольство, копившееся годами, нет-нет да и прорывалось наружу: жить впроголодь всем надоело. И этот год не обещал быть сытым.

С согласия Сазонова в первые дни уборки Гордей начислил по сто граммов на трудодень. Но это было ничтожно мало. И теперь вопрос стоял так: выполнять план или делить оставшийся хлеб между колхозниками.

«Уменьшим план»,— обещал Сазонов, но пока что помалкивал, а зерно шло на элеватор. Из района раздавались тревожные, потом угрожающие звонки. Чаще других звонил Камчук, приславший уполномоченным Раева.

— Что положено — сдадите. Больше того государство не потребует,— говорил Раев.

— Все о государстве пекутся,— сказала Афанасея.— А мы разве не государство?

— Мы, выходит, пасынки,— с горечью сказала Агнея.

— Чепуха! — не очень искренне рассердился Раев.—

Хлебороба без хлеба никто не оставит. Будьте уверены, И если что — звоните мне... Я приму меры...

Он уехал, внеся смуту неопределенностью своих ответов. Значит, район не запрещает выдавать хлеб? Кто же виноват в том, что его не выдают? Председатель? А он на район ссылается, на градобой...

— Приятный мужичок! — сказал Панкратов.

— Мягко стелет! — желчно усмехнулась Агнея.

Раев в это время накачивал Ямина.

— Медленно сдаете! Очень медленно!

— Сазонов сулил план уменьшить.

— Он чересчур много взял на себя. И, где нужно, получит за это соответствующее внушение...

— С народом-то как быть? Не с голоду же ему помирать...

— Хлеб должен быть сдан любой ценой. И он будет сдан. Этому никто не помешает...

— Ясно-понятно! Я тоже мешать не стану. А ежели колхозникам маленько подкину, дак это на пользу...

— Опять бодаешься, Ямин? Видно, зря тебя отпустил... С таким характером на воле долго не пробудешь...

— Каюсь, товарищ Раев, виноват в том, что людей жалко! Ежели за это можно посадить — сади. Другой вины за собой не знаю...

— С меня тоже требуют, дурень! А я всего только человек! — обессиленно сказал Раев и, не простившись, вышел.

Узнав от Агнеи о разговоре на току, Гордей на свой страх и риск приказал начислить колхозникам еще по сто граммов.

На следующий день его вызвал Камчук.

Глава 47

Отголубели по-детски чистые да погожие дни. Завзбуривала осень. С утра до вечера сыпали дожди. Уймется проливной — начнет бусить, будто через мелкое сито, нудная изморось. По улицам — лывы, в которых плещутся горластые, разжиревшие гуси, еще не подозревающие, что догуливают последние денечки.

— Ранний гость до обеда, с обеда — до утра,— макая оладьей в сметану, говорил Панфило.— В поле, слава богу, управились.

— Град за нас управился! — сердито буркнула Фекла.— Вчерась бабы на Ямина криком кричали, хлеб требовали...

— То ли ишо будет! От бога отступился, вот и воздается ему сторицей...

— Ты хоть при мне своего бога не тереби...

— Оладушки сгорят! К печке стала, дак поглядывай! Моя покойница у шестка, бывало, юлой вертелась...

— Надоел ты мне со своей покойницей! Скоро ли сам к ей отправишься?

— А это не видала? Думаешь, мое хозяйство тебе достанется? Не рассчитывай! Помирать стану — все сожгу! И тебя в огонь брошу. На свою голову смерти молишь, лапушка!..

Стукнула калитка.

На высокое крыльцо поднимался Ямин.

— Хлеб да соль!

— Присаживайся к столу, Гордей Максимыч! — придвинул табуретку хозяин.

— Не откажи, отведай оладушек! — расстилалась Фекла.

— Недосуг, Николаевна. Я к тебе, Панфило Осипович. Ток посторожишь?

— С оружией?

— Можно и с оружием, хоть оно и не понадобится. Твоя отвага всем известна.

— Хвастать не буду, а в германскую два Егория заслужил...

— Стало быть, согласен.

— Можешь на меня положиться — не подведу! — растроганно сказал старик: сам председатель просит, а мог бы просто приказать. Это льстило.— Вот так, Фекла Николаевна! Я ишо при полной боевой выправке! Мафусаила переживу, а уж тебя-то — и говорить нечего...

— Позорче гляди, Панфило Осипович! — наказывал Гордей.

— Мухе не дам пролететь!

— Ну, ежели будешь стараться, зимой снова в сторожа определю.

В конторе Ямина ждали Пермин и Дугин. Михей был навеселе.

— Нашел время шары заливать! — бурчал Пермин.— Народ и так взвинчен!

— А я не народ? Может, у меня какая гайка в душе раскрутилась. Потому и выпил. Досадно мне, ох, досадно! Все прахом пошло. И жизнь пошла прахом...

— Раев звонил,— сказал Гордей.— Ишо сто центнеров требует...

— Хватит! — взорвался Пермин.— И так все выкачали!

— За что робили? — бормотал Дугин.— За фигу с маком?

— Прилетел, сокол ясный! — выглянув в окно, усмехнулся Пермин. Из ходка вылезали Ефим и Митя Прошихин.

— Отслужился, страдалец? — участливо спросила Агнея, топившая в конюховке печь.

— Вроде того.

— Шапку-то куда подевал? — Митя был одет по-городскому: при галстуке и картузе.

— Шапка мне ни к чему. Раньше она за меня думала, теперь — сам большой...

— В колхозе останешься или поедешь куда?

— Сперва с начальством посоветуюсь.

— С возвращением,— сказал Пермин.— Не рано?

— Кому рано, а мне — в самый раз.

— Ответь мне, Митрий,— подошел к нему Ямин,— почто оговорил меня?

— Хотел, чтоб ты за мир пострадал.

— Пострадал-то не я, а ты...

— И ты пострадаешь...

— Та-ак... Видно, не переломила тебя тюрьма.

— Я не соломинка. Куда на жилье определишь? Дом-то занят...

— Освободим. Без жилья не останешься.

— На работу примешь?

— Ежели воровать разучился — приму.

— Я теперь поумнел — не попадусь.

— Попадешься. Токо на этот раз я до суда не допущу... Имей в виду.

— Я от Камчука,— сказал Ефим.— Приказывает хлеб досдать.

— А мы тут посоветовались и решили не сдавать.

— Под суд хочешь?

— Лучше под суд. Зато перед людьми буду чист.

— Правильно! — одобрил Митя.— Там тоже нехудо

живут. Вот,— он вытащил из кармана пухлую пачку денег, бросил на стол.

— Митрий! — нахмурился Пермин, сметая со стола деньги.— Тебе выйти велено!

— Вам легче не станет.

— Выпускают кого не надо...

— Как вы хотите, а я против,— сказал Ефим.— На слона ниткой не замахиваются...

— Ты на людей погляди, Ефим! Ни в ком живинки не осталось...

Выданных двухсот граммов хватит ненадолго. Кто поосторожнее, тот приберег на черный день. Но что было делать Веньке с братьями? Взяв эту жалкую горстку зерна, парнишка снес его на мельницу. Намололось немного. Съелось быстро. Что же дальше?..

— Надо искать выход,— шагая к току, говорил Пермин.

— Жили хуже,— буркнул Ямин. Он стал раздражителен.— С голоду не помрем.

— Теперь надо жить лучше, чем раньше, а у нас — наоборот.

— Кабы знал, где упадешь — соломки подостлал бы...

— Вот я и говорю, когда от разных разностей зависеть перестанем?

— Сам хочу знать про это.

— Злой народ стал. Косятся друг на друга.

— Помолчи, Пермин!

Бусила тоскливая серая влага. Разбухшее от дождей небо давило на людей, на землю. В траве копошились черви.

— Ты все ишо сердит на меня? — на Пермина накатило. Бедственное положение не давало ему покоя, он — Гордею.

Пермин пнул попавшую под ноги лягушку. Переворачиваясь, она полетела в яр. Там кто-то испуганно вскрикнул. Захлюпала под ногами вода.

— Венька мешок волокет! — ахнул Пермин.— Не иначе — с тока! Ну вот как с такими не материться? — он шагнул вниз, но Ямин удержал его.

— Не тронь.

Пригибаясь к осоке, парнишка тащил на спине мешок, таясь от встречных.

— Вот что,— сказал Ямин.— Надо раздать хлеб кол-

хозникам. Пущай сами сушат, сами и за сохранность отвечают. Колхозной сушилки все одно не хватит.

— Усушки не будет?

— У Дугина не будет.

— Не глянется мне, как ты заговорил.

— Спьяна.

Увидев их, Панфило вылез из шалаша и начал вышагивать с ружьем наперевес. Подпустив ближе, вскинул берданку и закричал:

— Кто такие? Замрите!

Пермин шутливо поднял руки.

Ямин прошел под крышу и, вытащив из-под соломы вицу, огрел ею сторожа.

Старик взвизгнул и яростно заклацал затвором.

— Убери пукалку! — сурово предупредил Ямин и сунул руку в сырое недомогающее зерно: оно температурило.

— За что?

Вытащив нагретую хлебным жаром руку, Ямин сказал:

— Я тебя ставил сторожить, а не разбазаривать! Поди, и сам руку приложил?

— Да что ты! — испугался старик.— Бог свидетель, ни зернышка не взял!

— Иди домой, пошлешь сюда Дугина.

— Со сторожей-то снимаешь?

— На тебя надежа, как на козла в огороде.

— Дак ведь сироты! Без отца, без матери,— бормотал старик.

— Много вас добреньких за счет колхоза...

Глава 48

— Я все видел, Вениамин! — сурово сказал Гордей.— По худой дороге идешь...

— Дак ведь я... Дак я не для себя, крестный! Я для Пашки с Колькой. А сам я хоть сколь без хлеба проживу...

— Ладно! Когда просохнет — сдашь все, до единого зернышка Дугину. Ясно? А для еды у меня возьмешь.

— Панкратов тоже сдаст?

— Он разве брал?

— Брал. Я сам с крыши видел. Два куля нагреб...

— Панфило где был?

— Он в балагане спал.

— Та-ак, ну, беги в школу, да помни, что сказано.

— Ну уж теперь-то он у меня попляшет! — сказал Пермин.

— Посадишь?

— Без разговора. По ему давно тюрьма плачет.

— Это никогда не поздно. Тюрьмой его не доймешь, не тот человек. Отсидит — за прежнее возьмется. Ты его лучше опозорь принародно. Это страшней всякого суда...

— А как?

— Да вот хоть зерно отбери и вели идти с мешком через всю деревню... Пущай люди пальцами показывают... Это он навеки запомнит.

— И это сделаю. А потом Раеву позвоню.

— Ну, ступай.

Гордей прилег на ворох, раскинул руки. Тепло горячего хлеба и тепло человечье слились воедино. Зерно дышало и двигалось. Дышал и не двигался человек. Одно зернышко попало ему под ноготь. «И поглядеть-то не на что! — выколупнув зернышко, думал Ямин.— А сколь горя из-за тебя принимаем!» Он вспомнил тот год, когда Бурдаков спалил скирду, оставив Яминых без хлеба. Гордей подался на прииски, но дальше Омска не уехал.

Ожидая поезда, он ходил по переполненному вокзалу. Кричали голодные дети. Тенями слонялись худые обозленные люди. Присев на краешек скамьи рядом с молодой изможденной белорусской, поехавшей искать сытые края, Гордей задремал.

«Хлеба хочу!» — кричал парничешка на руках у молодой цыганки, сидевшей неподалеку.

Ямин достал из старого солдатского мешка краюху суррогатного хлеба, взятую в дорогу.

— Дай мне! — попросил цыганенок.— Я тебе спляшу за это,— и засеменил тонкими искривленными ножками.

— Хватит! — Гордей остановил мальчугана и, попотчевав, погладил его по кудрявой головке.

— Куда собрался, золовец? — услышал за спиной.

— На прииски, Тропушко.

Евтропий возвращался из армии.

— А семью на кого бросил?

— На бога.

— Ненадежный помощник. Не езди! Как-нибудь перебьемся...

И снова вернулся Ямин в свое Заярье.

Перебились.

— Дорого стоишь, на крови всходишь! — он шевельнул пшеничинку заскорузлым пальцем и сдунул с ладони.— Егору Сундареву живому брюхо вспороли... Бурдаков повесился... Э-эх, божья коровка...

— Зачем звал? — неслышно подошел Дугин.

— Установи весы. Раздадим хлеб на просушку. Так надежней...

Сходив в Заярье, собрал всех, кто был свободен, и отослал на ток.

Дугин аккуратно взвешивал, проверял веса и отмечал в ведомости, кому и сколько отпущено.

— Два центнера,— сказал Евтропий.

Взглянув на весы, Коркин оторопел: там было два с половиной.

— Забирай, Алеха! — подмигнул Дугин.— Ты у меня не один.

— Два с половиной,— сухо уточнил Евтропий.

— Разве? Ну вот! Есть же на свете честные люди! — презрительно усмехнулся Дугин.— Спаси тя Христос, Алеха!

— Купить хотел? Не продаюсь.— Коркин отъехал в сторону.

Вскоре подошел Пермин, и Евтропий что-то сказал ему, показав в сторону Дугина.

Под крышей суетились Прошихин и Панфило, помогая женщинам нагружать мешки.

— Покажи ведомость,— сказал Пермин.

— Гляди,— Дугин равнодушно протянул листок и захлопотал у весов:

— Как усушку будешь учитывать,— покосившись на Митю, шушукавшегося с Панфилом, спросил Пермин.

— Как-нибудь учту. Погоди, Митрий! Я с тобой... Ты с нами поедешь, Пермин?

— Мне с вами не по пути,— садясь к Евтропию на телегу, сказал Сидор, вложив в эти слова иной, более глубокий смысл.

— Тебе токо смерть попутчик,— подождав, когда они отъедут, проворчал Дугин.

Недалеко от конторы их встретил Панкратов.

— Ты, говорят, влип, голубчик? — спросил Дугин.

— Оплошал маленько. Вроде бы никого на току не было, а доглядели. Токо бы узнать, кто донес...

— Раз не умеешь — не берись. А взялся — делай с умом. Ты думаешь, мешки воротил, дак этим все кончится? Лесина! Пермин с тебя заживо шкуру снимет!..

— Не стращай! Ишо неизвестно, кто с кого снимет...

— Против власти пытаться — у тебя коленки слабы. Так что сиди и посапывай в две дырочки.

— Стало быть, упекарчат меня?

— Ты им — бревно в глазу.

— Как быть, советуй.

— Иди домой, что-нибудь придумаем,— заторопился Дугин, увидев, что на них оглядывается Пермин.

Глава 49

Афанасея ворочалась на сене, вставала, подбрасывала корм лошадям, снова ложилась. Не спалось. Вот и дождалась Фатеева, о котором думала когда-то день и ночь. Потом, сойдясь с Науменко, стала забывать. Нежданно-негаданно нагрянул. Постучал ночью. Войдя в избу, плотно прикрыл дверь, задернул занавески.

— Лампу не зажигай! — встрепанно шикнул, хватая ее за руку, в которой были спички.

— Не бойся, не увидят,— Афанасея выкрутила фитиль, оглядела гостя. То ли лампа светила неровно, то ли постаралось время — Фатеев вылинял: лицо стало длинным, волчьим. Когда говорил, во рту тускло отсвечивали казенные зубы.

«Не таким тебя знала!» — подумала.

— Не рада? — он просительно вильнул глазами, лязгнул челюстью.

«Волчина!» — подумала Афанасея. Но это был уже немолодой, с годами потерявший мертвую хватку волк.

— Вот я и пришел.

Афанасея молчала.

— Ежели не ко двору, могу уйти.

— Оставайся. Некуда тебе идти,— она старалась не показать своей жалости, говорила нарочито грубо.

Науменко, как бы ему ни было тяжело, не искал поддержки у баб; за гордость и полюбила его. И еще за ласку. Фатеев тоже гордостью покорил когда-то. Пообтер-

лась, порастерялась фатеевская гордость! Видать, хватил лиха!

— Умывайся! — собирая на стол, сказала.— Я баню истоплю. Поди, обовшивел?

— Не без этого. Спал где попало,— накинувшись на еду, он не замечал горестно-презрительного взгляда Афанасеи.

После ужина долго тешился в жарко натопленной бане; ждал, что Афанасея заглянет к нему, потрет спину, как, бывало, терла жена.

Заглянула.

— Наденешь вот это! — чуть приоткрыв дверь, бросила белье и ушла.

«Для меня берегла!» — благодарно думал Фатеев, натягивая никем еще не надеванные кальсоны. Афанасея купила их для Науменко.

— Законно или так? — спросила, постелив постель.

— Законные не прячутся.

— По родине затосковал?

— Надо кое с кем счеты свести. Да и золотишко мерзнет — вынуть пора.

— А я думала, обо мне вспомнил...

— Поминал,— спохватился Фатеев.— Снилась ты мне! — запоздало обнял, приник губами.

— Оно и видно,— насмешливо процедила Афанасея; отпихнула.— Золото всего дороже... Ложись!

— Ты со мной?

— Нет.

— Тогда какой резон в доме меня держать?

— Долго не продержу.

Но она не гнала, и Фатеев не уходил, живя у нее третью неделю. К ней не приставал. Днем спал. Ночью исчезал то к Панкратову, то к Дугину.

— Вот и опять зима пришла, Рыжко! — вздохнула женщина, гладя жеребца по шее. Он моргал большим диковатым глазом, тряс гривой, прислушиваясь к ее голосу.

Заскрипели ворота.

Не закрыв их, ввалился Федяня. Ни слова не говоря, схватил Афанасею, повалил на сено. Обидчиво заржал Рыжко, ударил копытом. Афанасея молча била Федяню кулаком по лицу. Он сопел, обнося ее густым и душным перегаром; рвал одежду!

— Кричать буду! — пригрозила, высвобождаясь.

Федяня нащупал пристяжной валек, опираясь на него, поднялся на ноги.

«Убьет!» — она прижалась к стене. Стало страшно.

— Вот вы чем занимаетесь! — прервал жуткую, с лошадиным перехрустом тишину Дугин. Услышав отцовский голос, Федяня бросил валек и выбежал на улицу.— На молоденьких потянуло?

— Замкнись, короста! А своему зверенышу скажи: ишо раз пристанет — башку топором проломлю!

— Женить его собираюсь. Не сбивай с пути...

— Кабы кто путний! — Афанасея оправила одежду. И вдруг присела: в животе больно торкнулся ребенок.— О-ох!

— Забрюхатела?

— Хоть бы и так...

— От Федьки?

— Уж лучше от Рыжка, чем от твоего выродка.

— От кого?

— Много будешь знать — скоро состаришься.

— А ведь знаю... Ну, рожай. Ишо одна безотцовщина будет!

— Не твоя забота!

— Лошаденку бы мне.

— Бери.

— Федька-то давно липнет?

— Как выпьет — так сюда. Трезвый не смеет.

— Дора узнает — ворота вымажет.

— На сосунков не зарюсь. Так что Дорино достанется Доре...

— А тебе что?

— Про то сама знаю.

— Гляди, перезреешь...

— Уходи-ка,— зыркнула на него Афанасея и, завернувшись в тулуп, прилегла на сено и уснула.

Утром, по первой метелице, идя домой, увидела Федяню, подметавшего улицу.

— Когда на дежурство придешь? — Он был сменным конюхом.— Сегодня на смену не явишься — Гордею пожалуюсь.

Федяня замахнулся метлой и погнался за ней: опять был пьян. Забежав за ограду, Афанасея взяла стоявшую у колодца пешню, встретила его у калитки.

— Чаевничать пришел? Счас попотчую! — двинув парня по загривку, сунула носом в снег и, не дожидаясь, когда он очухается, ушла.

— Чего ему? — угрюмо спросил Фатеев.

— Известно чего. Все вы одинаковы.

— Дора теперь следить будет.

— Мне-то что.

— Придется в другое место перебираться.

— Давно пора. Чего ждешь?

— Своего часу.

— Уезжай! Застукают — и плакало твое золотишко.

— На золото плевать. Тебя боязно подвести...

— Я, может, сама того желаю! — сказала это спокойно, усмешливо.

— Дура ты, Афанаска! Не токо тебе — врагу своему не пожелаю там оказаться... Все из меня высосала Колыма! Одна злоба в сердце жива. Утолю — тогда и помереть не страшно...

— Врешь: страшно! Знаю тебя!

Федяня не пришел на дежурство и в эту ночь.

Афанасея не спала, рядом с собою положив топор. Пьяный кинется на спящую — пикнуть не успеешь. Вон как выматерел за осень, словно на опаре замешан.

Под утро услышала — у амбаров кто-то возится.

«Воры!» — подкралась ближе.

— Чего прячешься? — спросил из темноты Дугин.

— И ты не выдержал?

— Жить-то надо.

— Не боишься — донесу.

— А я разве без языка? Тоже кое-что знаю.

«Сатана гундявая!» — подумала с ненавистью.

— Хлеб на базар?

— А хоть кому предложи — оторвут с руками, с ногами.

— Разбогатеть хошь?

— Не до жиру, быть бы живу. Но, милая! — Дугин негромко прикрикнул на конягу и спокойно, словно нагрузил в своем амбаре, уехал.

— Из наших мест куда ссылают? — спросила Афанасея своего квартиранта.

— Когда как. Бывает, что и на Колыму.

— Велика она, твоя Колыма?

— За месяц не обойти.

— Это ничего. Я думала — больше...

«К чему она?» — подумал Фатеев. Он заметил, что Афанасея уже не в первый раз заговаривает с ним о Колыме.

Глава 50

Против обыкновения Ямин в это утро провалялся в постели до самого рассвета. Он слышал, как Александра ушла на ферму, как Прокопий, управляясь со скотом, скрипел во дворе воротами, как Фешка, ступая на цыпочках, собиралась в школу.

— Спит? — вернувшись с фермы, спросила Александра.

— Тсс...— Фешка приложила пальчик к губам и притворила дверь.

Но день уже заглядывал в окна.

За его спиной лупили глаза заботы.

Немного погодя пришел Евтропий; потом — Дугин.

— Ты на перину-то за что рассердился? Ночь давил, день — давишь,— проговорил Коркин.

— Надо хоть раз отоспаться.

— Зерно-то будем сдавать, Алеха? — спросил Дугин.

— Надо бы, да ведь нечего...

— Нечего, нечего.

— Может, наскоблим центнеров пятьдесят-шестьдесят?

Евтропий недоверчиво покосился на свояка, не доверяя этой неожиданной уступчивости.

— Тогда я собирать начну,— сказал Дугин.

— Собирай помаленьку.

— Не торопиться, что ли?

— Время терпит,— и Дугин ушел.

— Чо опять замыслил? — спросил Коркин.

— Хлеб-от попридержать надо,— сказал Гордей, утаив от зятя, что мысль эта ему внушена Дугиным. Гордей сперва противился ей, поскольку она вступала в столкновение с законом, но, видя растущее недовольство людей, все чаще задумывался о том, что Дугин не так уж и неправ. Ему хотелось сделать этим изнемогшим от долгого недоедания людям что-то доброе, даже, если понадобится, пойти против себя, против собственной совести. Он старался заглушить в себе голос рассудка. Еще недавно он

бранил сторожа Панфила Тарасова за то, что тот, поддавшись слабости, отдал Веньке Бурдакову мешок колхозного зерна. Это была доброта за счет колхоза, и Гордей ее не признавал. Но сам он хотел отдать колхозникам по дьявольскому наущению Дугина не мешок, а все зерно, и всю вину за это принять на себя. Он знал, на что идет, какие будут последствия, но иного выхода для себя не видел.

— Ты что? — услышав это признание, оторопел Евтропий.— Хлеб-от не твой,— колхозный...

— А люди разве чужие? Люди тоже колхозные...

— И ты хошь...

— Я ничего не хочу. Я токо говорю: люди-то не чужие. С чем они зимовать будут?

— Ну и раздари им весь колхоз! С дорогой душой примут. А отдуваться тебе придется.

— За что отдуваться-то? — простовато спросил Гордей.

— Брось, золовец! Не дело говоришь! Не дело! — рассерженно закричал Евтропий.— Сам себе яму роешь. И колхоз губишь...

— А как быть, советуй, Евтропий!

— Как хошь, а про это и думать не моги!

— Ты, Сана, шепни бабам, мол, хлеб сдавать не то что не надо, а необязательно,— мало обескураженный его гневом, сказал Гордей.— Необязательно — и все... Поняла?

— Понять-то я давно поняла! Да нам от этого какой прок? Мы же ничем не попользуемся...

— Мы теперь не для своей выгоды живем, Сана. Что не попользуемся, дак это к лучшему: в глаза тыкать не станут.

— А я думаю, что это он не встает сегодня? Лежал, лежал — и надумал на свою голову!

— Голова у меня крепкая, Сана, выдюжит и не это...

Дугин не торопился собирать зерно. Он прекрасно понял, что Ямин решился последовать его совету. Сам он ничего не выгадывал от этого, но и ничего не терял. Все, что можно было взять, он взял. Об этом знают только темная ночь да Афанасея, и обе будут молчать. Если какая-либо из его махинаций станет явной, он, воспользовавшись шумихой, сумеет замести следы. А что вокруг этого дела подымется трезвон, он не сомневался.

Раньше других он зашел к Евтропию, который когда-то отказался принять от него подачку и которого — Дугин был в этом уверен — Гордей, конечно же, посвятил в свой замысел. Теперь ему хотелось поглядеть и потешиться тем, как Евтропий, известный своей щепетильностью, оберучь уцепится за колхозное добро, точно за свое. На это стоило посмотреть!

Самого Коркина не было дома.

Но и Агнея немало поразвлекла его.

— Не отдам,— сказала она.

— Почто? — притворившись удивленным, спросил Дугин.— Я ведь токо на просушку давал, а не насовсем... Так что сдавай!

— Нечего сдавать. Усох дотла.

— Кому другому скажи, а я эти шутки знаю.

— Знаешь — и уходи! Знаешь — и скатертью дорожка! От меня ни зернышка не отколется...

— Да ведь с меня спросится! — в притворном ужасе замахал руками Дугин.

— Спросят — ответишь. Наверно, немало прикарманил?

— Ты меня за руку поймала, что ли?

— И ловить не хочу. Знаю, что у хлеба без хлеба не останешься.

Неизвестно, как долго бы они еще препирались, если бы не появился Евтропий.

— О чем разговор? — хмуро спросил, догадываясь, зачем явился Дугин.

— Твоя благоверная бунт учинила: хлеб не отдает.

— Ты разве Агнею не знаешь? — разыгрывает...

— Я так же подумал, Алеха.

— Сейчас привезем. Кони у ворот стоят.

— Ну вот,— разочарованно вздохнул Дугин.— Давно бы так...

— А я вот что скажу...— уперев руки в бока, крутнула широким подолом Агнея.

— После... после скажешь! — с яростным остервенением осадил Евтропий, и она покорилась, быстро сообразив, что возражать на этот раз не только бесполезно, но и опасно.

— Ты что это конфузишь меня, чертобрюхая? — вскричал он, спровадив Дугина.— Да ишо перед кем? Перед этим жуликом!.. С им совпадешься — век не расхлебать...

— Да ведь я, Тропушко, как лучше хотела. Александра сказала, что...

— Дура ты! И Александра твоя дура! Гордей из-за вас в тюрьму сядет. Все до единого зернышка выгреби! Сама и свезешь...

Но только одна Агнея и возвратила зерно. Другие бабы, упрежденные Александрой, заупрямились, и Дугин напрасно до вечера топтался у складских весов.

— Не сдают,— попенял он Пермину.

— Из глотки вырву! — посулил тот.— Уже до района дошло. Нас с Гордеем вызывают...

— Глоток-то много: с пупа не сорви...

— Тут мое упущение,— говорил Гордей по пути в Бузинку, не желая впутывать в эту историю Пермина.— Тебя ни к чему шевелили с места. Так и говори, ежели спросят.

— Скажу, как было. Нечего из себя Христа корчить!

— Ты вот что, Сидор! Ты ни сном, ни духом ничего не знаешь. Я один во всем виноват. Мне и ответ держать.

— Я тоже не посторонний.

— Помолчи-ка! Одному отвечать легче. Много ли с меня возьмут? Помурыжат — и отпустят,— убеждал Гордей...

Но у Камчука Сидор позабыл об этом уговоре и, не взирая на чин, на субординацию, всплыл на него голодной щукой и кусал и ранил со всех сторон. Но укусы его были не более чувствительны, чем щекотка киту.

— Все высказал? — Камчук спрашивал не зло, скорее добродушно, но в снисходительном добродушии этом крылось убийственное презрение сильного к слабому, умного к заурядному.— Теперь, если позволишь, я несколько слов скажу Ямину... От председательства отстраняю. Даю три дня сроку: если за это время хлеб не будет на элеваторе — суши сухари. Все. Пока свободен! — кивком выпроваживая Гордея, сказал он.— Теперь с тобою, любезный! Наболтал ты много. Надо было выставить тебя из кабинета, но я слушал и ждал: может, умная мысль проскользнет? Напрасно ждал. Сплошная чепуха! Ты меня заставляешь разочаровываться в тебе. Не думай, что я боюсь резких и справедливых слов. Наоборот — я благодарен людям, которые в любой форме дают мне умный совет, дельно критикуют мои ошибки. А ты, как петух,

помахал крыльями — и на седало. Время на внушения тратить не стану. Думаю, сам понимаешь. Теперь о деле. Временно возьмешь на себя председательство. За Яминым поглядывай. Он еще та штучка.

— Я ему доверяю больше, чем себе. И считаю, что Ямин на своем месте.

— Под чью дудку пляшешь, коммунист Пермин? Или, может, лучше сказать — бывший коммунист.

— Говори, как на ум взбредет. А я повторяю: Ямин на своем месте.

— Перекрасился? Ну что ж, встретимся через недельку. Товарищи решат насчет твоего пребывания в партии. Посоветуй, кого вместо Ямина оставить?

— С твоей колокольни видней.

— Обиделся. А ведь я принципиально. На это обижаться глупо. Мы с тобой коммунисты, Сидор, а не красные девицы. Я за любую свою провинность какую угодно кару приму. И ты приучайся к этому. Так кого же? Молчишь? Ну, я сам решу.— Камчук снял телефонную трубку и попросил соединить его с Заярьем.— Ефим? Приветствую. Как же это у тебя под боком колхозный хлеб расхищают? А? Ну, поговорим, поговорим... А пока пригласи к телефону своего отца. Здравствуй, Михей Матвеич! Времени у меня в обрез. Давай быка за рога! Райком предлагает тебе временно принять на себя обязанности председателя колхоза. Ямин? Ямин отстранен. А я уверен: справишься. Петля на шею? Ты вот что, уважаемый, подбирай выраженьица! Значит, категорически? Ну, гляди! Это не последнее мое слово. Я говорю, не последнее слово! Последнее я приберегу до поры, как, скажем, некоторые хранят анонимки. Не понимаешь? Когда-нибудь объясню. Пермин? Нет, Пермину нельзя. Нельзя ему, говорю. Да, по состоянию здоровья. Да. Ну что ж, у меня все. Но я ожидал от тебя большей осмотрительности. Бдительность ослабла у тебя, товарищ Дугин! Вот так! — с треском повесив трубку, Камчук угрожающе спросил Пермина: — Сговорились?

Пермин не отвечал.

— Хорошо. Пока останется Ямин. Понадобится — переиграем. А ты жди вызова.

— Будь что будет! — говорил Гордей, когда они возвращались домой.

— Ну, нет! Будет так, как должно быть...

Взяв с собою Дугина и Евтропия, Пермин обошел всех колхозников.

На следующий день хлеб был на складе.

Глава 51

— Вы здесь человек временный! Да и только ли здесь? — говорил Раев, сидя в кабинете Сазонова.— Теперь я почти уверен в этом.

— Потому и выступили против меня? — они только что вернулись с заседания, на котором жестоко раскритиковали Сазонова за его доклад о завершении уборочной кампании. Наиболее сдержанно, скрывая за внешней доброжелательностью насмешку, говорил Камчук. Зато другие — Сазонов почувствовал в этом заведомый сговор — слов не жалели. Ему припомнили и заярский колхоз, лишь наполовину выполнивший свои обязательства оттого, что сократил план посевных, и попытки предоставить руководителям известную самостоятельность в решениях экономических вопросов, и прочие его идеи, которые в устах критиковавших выглядели нелепыми заблуждениями. Сазонов не оправдывался, понимая, что любой аргумент в самозащите обернется против него.

Этот разговор с Раевым был продолжением того, что не успели договорить на заседании.

— Решили устроить секуцию? Ну что ж, отведите душу. Только что вам дает эта мышиная возня?

— Если вам от нее не поздоровилось,— стало быть, не такая уж и мышиная...

— Сочтемся, сочтемся...

— Я не советую вам что-либо предпринимать. Так будет лучше. И если хотите честно, я бы на вашем месте уехал в академию. Не упускайте такой великолепной возможности!

Сазонова направляли учиться; он не отказывался, но и не давал согласия.

— А кто вместо меня останется?

— Найдется кто-нибудь.

— Скажите, Антон Ильич, что вас заставляет идти против себя? Ведь вы сильный, умный и, в сущности, честный человек!

— На силу находится другая сила.

— Ну, хорошо, я понимаю, в чем-то Камчук оказался

сильнее меня. Но ведь это временно. А если даже и нет, есть же наконец партийная совесть!

— Сильнее вас оказался не Камчук, а обстоятельства. Он их видит и слушается, а вы пытаетесь им противостоять.

— Но совесть... что вам говорит совесть?

— Я против собственной совести не иду. Я просто подчиняюсь. Это называется дисциплиной.

— Это называется демагогией! Ею вы прикрываете свой страх перед обстоятельствами.

— Мы разные люди, Варлам Семенович. Слишком разные! Но я буду с вами откровенен. Вас смяли потому, что вы слишком глубоко копаетесь. Это опасно и неумно.

— Думать — значит быть дураком?

— Думать — значит подчиняться, не плыть против течения. Вы даже и не плыли еще, а вам уже накостыляли. Поплывете — на берег вышвырнет. Я вам искренне советую уехать. Камчук вам не по зубам, милый идеалист! И помимо всего он прав. Сила и правота непобедимы.

— Но ведь и я прав.

— У вас другая правота. Это правота сердца, а не логики, не рассудка. Иногда эти понятия вступают в единоборство. И, как правило, верх берет разум...

Выпроводив Раева, Варлам собрался в Заярье, зайдя перед тем к Камчуку.

Камчук не принял.

— Он занят! Он очень занят! — прикрывая спиною дверь, за которой — слышно было — Камчук разговаривал по телефону, суматошливо сказала секретарша. Краем уха Сазонов уловил, что голос секретаря райкома необычно вежлив и искателен.

«Наверно, с областью,— усмехнувшись, подумал Сазонов.— А может, и с Москвой... Ну что ж, он выматерел, стал опаснее... Но это еще не все. Рано закрываете дверь, товарищ Камчук!»

Около Заярья нагнал Прокопия, возвращавшегося из военкомата.

— Вы чем-то расстроены? — спросил, увидев хмурое лицо парня.

— Повестку получил. Так что можешь занять мое место. Оно еще не остыло.

— Я женат.

— Слыхал. Да ведь если Мария поманит — про все забудешь... Такая уж она баба!

— Пустое! Наверно, уеду скоро.

— Опять пощипали?

— Угадали.

— Тебе у отца учиться надо. В драку не ввязывается, все тихой сапой давит.

— Тихой сапой не много добьешься. Он молчит потому, что за него другие говорят.

— Вот меня в армию берут. Ну, там — война или что — драться буду. С врагом так положено. А вы-то между собой из-за чего деретесь? Как будто все свои...

— Это не драка. Это противоречия. И мы их одолеваем.

— Одолеваешь, а как ни погляжу, все в битых ходишь...

Это умозаключение развеселило Сазонова.

— Счастливой службы! — тепло сказал он, расставаясь со своим бывшим соперником.

— А тебе синяков поменьше,— ответно пожелал Прокопий.

У фермы его окликнула Катя.

— В армию уходишь? — Они еще не разговаривали с того дня, когда Прокопий ударил Сазонова. Он часто видел, что Катя ждет его, таясь где-нибудь в безлюдном месте, но встреч избегал.

— Тебе-то что?

— Возьми на память. Может, вспомнишь когда. Была, мол, такая дура, которая жизни для тебя не жалела.— Катя протянула ему вышитый цветочками платочек. Краем глаза Прокопий прочел: «Люблю сердечно, дарю навечно».

— Так вот и получается...— пробормотал он.— Любишь сердечно, а вечно живешь не с тем, кого любишь...

— Я-то ни с кем не живу...

— Успокойся. Дело прошлое. Все перегорело.

— Сломал ты меня! — Катя закрыла руками лицо, застонала.

— Неизвестно, кто кого сломал. Возьми свою подтирку и не гоняйся за мной. Мать и так всю шею перепилила. Дескать, извел девку. Сама себя извела!

— Дугину поверил! — зарыдала Катя.— Нашел кому верить!

— Теперь это неважно. Не надрывайся. В армию ухожу.

— Ждать буду.

— Не жди. Все одно все исковеркано. Прошлое не вернуть. Так что устраивай свою жизнь как сможешь...

— К чему она мне без тебя? Сухостоем под ветром качаться?

— Не реви! — жалко усмехнулся Прокопий и посуровел, отвердел голосом.— Предчувствие у меня такое. Не жалей. Перемелется, мука будет.

— Будешь вспоминать?

— Ты все о том же?

— У меня только это и осталось. Извертело всю, изувечило...

— Кому как выпадет,— он развел руками и, попрощавшись наскоро, пошел к Ефиму.

— Берут?

— Вот повестка.

— Угу. Теперь мой черед. С Катюхой прощался?

Прокопий кивнул и с нарочитой беззаботностью стал насвистывать какой-то мотивчик.

— Какую девку проглядел! Учителка ногтя ее не стоит! Бросай ты эту старуху...

— Не могу! Занозой в сердце засела.

— Пока рядом — твоя. Уйдешь — забудет. Ей мужик нужен, хозяин.

— Выпить охота.

— Ради такого случая следует. Сейчас к Доре схожу.

Домой Прокопий явился пьяным. Расстегнув гармонь, прошелся по ладам сверху донизу и запел о казаке, обманутом казачкой. Не повезло казаку из Амурских краев.

Не повезло и Прокопию.

— Напился, бесстыдник! — возмутилась Александра.— Что отец скажет?

— Не ругайся, мама! Больно мне. Внутрях давит — спасу нет.

— Тоже мне оправдание! «Внутрях давит!» У меня кажин день давит. Да об этом думать некогда! И на ферме и дома кручусь как белка в колесе... Иди-ка дров наруби — сразу полегчает...

Отложив свою отзывчивую подругу-гармонь, Прокопий, не прекословя матери, взялся за топор.

Александра хлопотала подле печи, готовя обед. Скоро должен был прийти Гордей.

Обед, кроме всего прочего, служил еще и поводом для неторопливой беседы на бесхитростные деревенские темы. Александра умудрялась растянуть его на час и больше.

Муж ел размеренно, чисто, собирая со стола хлебные крошки и отправляя в рот. Изредка поглядывал из-под густых, метелками, бровей на детей.

— Добра кашка, да мала чашка! — выхлебав кулагу с черемухой — густую коричневую жидкость,— похвалила Фешка.— Мама у нас самолучшая повариха.

Александра счастливо зарделась от этой невинной детской лести, высказанной от чистой души. Кому не приятно выслушать похвалу, если она даже чуточку подсахарена!

— Ешь да поправляйся! — сказала, нажав на пуговку Фешкиного носа.

Отложив ложку, Гордей спросил сына:

— По какому поводу выпил?

Прокопий молчал.

Да и что он мог сказать отцу, не бравшему в рот спиртного! Сослаться на грусть? Причин для грусти у Гордея было более, чем у кого-либо.

— Тебя спрашиваю! — густо зарокотал Гордей.— Праздник престольный или именины?

— В армию берут...

— Ну и что? — но, встретив умоляющий взгляд жены, осекся.

— В первый и в последний раз, тятя. Больше в рот не возьму!

— Хошь выпить — я не против, но делай это по-людски, в своей семье, а не как распоследний пьяница. У матери, поди, припасено для такого случая...

— А как же,— благодарно улыбнулась Александра; встав из-за стола, достала подкрашенную брусникой водку.

— За службу твою, сын! — пригубив, сказал Гордей.

— И за то, чтоб войны не было! — вздохнула Александра.

— Проня всех врагов перебьет! — убежденно сказала Фешка.

— Служи без баловства, чтоб нареканий от начальства

не было,— наказывала Александра.— В армии строго, не то что в колхозе...

— Тятя,— перебила Фешка,— ты в армии с бородой был?

— С бородой.

— А для чего там борода нужна?

— Чтобы из болота удобней вытаскивать было.

— Тогда и Проне надо бороду отращивать..,

— Придется...

Глава 52

Пермин долго бродил в ожидании рассвета.

В домах чутко и тревожно спали.

Лишь у Марии горел свет.

«Любятся!» — не без зависти подумал он. В окнах мелькали причудливые тени. Взгромоздясь на завалину, заглянул в окно и выругался: в щелку между занавесками было видно лишь часть того, что происходило внутри. По комнате метался Прокопий, то появляясь, то исчезая из поля зрения Пермина, и что-то гневно бросал Марии, пусто и издалека глядевшей на него. Согнувшись на завалине, Сидор слушал, как скрипят половицы, и не хотел уйти.

«Зайти, что ли? — Но свет потух. Громко хлопнув дверями, вышел Прокопий.— И этот не ко двору! У-у, стерва!»

Раздумывая, к кому бы зайти, он снова прошелся по тихой пустынной улице.

«Даже приткнуться некуда! Так и умом тронешься! Все один да один».

Заметив, что за деревней, в школе, загорелся свет, направился туда.

— Тоже один? — стряхивая с себя снег, спросил учителя.

— Одному лучше.

— Как сказать. Куда собрался? — у стены стояли упакованные вещи и книги.

— Уезжаю. Из школы выгнали.

— За что?

— С заведующим районо характерами не сошлись. Он меня обругал, я — его.

— Ты и ругаться умеешь?

— Он мой проект в печку бросил и ничтожеством обозвал. Я ударил...

— И правильно сделал. Жаль, меня не было — я бы помог. Что дальше?

— Ничего. Уеду. К поезду меня отвезете?

— Оставайся! Я этому заведующему сам мозги вправлю. Ты человек тихий, для драки негодный.

— Не стоит. Я все равно уеду.

— Детей оставлять не жалко?

— Обида во мне кипит! Будто горячей грязью в душу плеснули... Думал, полезное дело делаю. А оно на растопку пошло... Сколько лет убил на него!..

Уговорить учителя Сидор не смог.

Утром тот собрался уезжать.

Незадолго до начала занятий Пермин опять заглянул в пустую школу. Там кто-то громко разговаривал. В дверную щелку подглядывала Мария.

— С ним плохо! — встревоженно прошептала она.

Иван Евграфович расхаживал между партами, диктуя воображаемым ученикам:

— А теперь напишите несколько предложений по моей орфографии. Будьте внимательны! «Старому мерину три аршина отмеряно».

— Что с тобой, Иван Евграфович!

— Мне тридцать семь стукнуло... Тридцать семь, а вам сколько?

— И мне столько же,— стараясь попасть в тон, усмехнулся Сидор.

— Стало быть, пора... туда,— учитель указал пальцем в небо.

— Связать его надо,— опасливо пятясь от учителя, шепнул Пермин.— Ишо буянить начнет!

— Вы собрались уезжать? — спросила Мария.

— Я? Нет, голубушка, я остаюсь пасти коз. Очень жаль, что они рогаты... Но ничего, со временем и им рога обломают. Скажите, а их нельзя научить блеять по моей орфографии?

— Не притворяйтесь! — сказала Мария.— Ведь вы в своем уме!

— А еще кто? Э, да что там! — встряхнув волосами, учитель рассмеялся.— Не будем печалиться! — И он пошел вприсядку, припевая:

Грабли-вилы семь копен...
Что заробим, то пропьем!

Насильно усадив его в сани, Пермин повез учителя в район. Но дорогой Иван Евграфович сбежал.

— Подождите меня! — кричал он, убегая.— Я за сердцем сбегаю. Оно неподалеку зарыто,— и, громко смеясь, припустил во всю прыть.

Пермин долго и безуспешно гонялся за ним, пока не потерял из виду.

Привезя вещи учителя, с грохотом швырнул их через порог.

Глава 53

— Надо подряд брать, иначе до весны не дотянем,— говорил Ямин.

— Продержимся! Картошка, слава богу, есть! — заложив в нос щепоть табаку, отвечал Дугин.

Он был опять навеселе.

— На Ипатьевский завод рабочие требуются. Старшим поедешь?

— А кладовую на кого? — с шумом втягивая табак, вскинулся Дугин.

— Стало быть, мне придется,— подавил вздох Ямин.— Ты к винищу-то зря пристрастился. И табак нюхать начал... Молодой не баловался, а тут — на тебе! — разрешил...

— Седина в голову, бес в ребро,— входя в контору, проворчал Пермин.— Дай-ка мне ведомость, Михей!

— Проверяешь? Проверяй. У меня комар носа не подточит! Зерно оприходовано с учетом усушки. Все честь по чести.

— Усушка больно велика вышла.

— Прикажешь своего добавить?

— Не убавишь — и то хорошо. Прошихина в списках не вижу. Упустил.

— Не видишь,— значит, не должно быть.

— Ты мне арапа не заправляй! С тока на его подводе не ты ли ехал?

— Неймется этому человеку! — развел руками Дугин.— Видно, мало его учили...

Он не торопясь вышел из конторы и направился домой. Оттуда — почти бегом — к Афанасее.

Вот уж в который раз два давних врага — Ямин и Сидор — стиснутые водоворотом обстоятельств, оказываются в одном строю.

— Объясни толком! — потребовал Ямин.— Раньше за им такого не водилось.

— Я при Дугине не стал говорить: ведомость не та! У той я уголок надорвал. В ней, я точно помню, против фамилии Прошихина было записано четыре центнера. А здесь Прошихина вовсе нету... И углы все целы...

— Гляди, не напутай, Сидор! Человека оговорить просто!

— Это человека просто, а он, сволочь склизкая, сам кого хошь оговорит!

— Я тебе верю. А там не поверят. Им нужны доказательства.

— Будут доказательства! У меня свидетели есть...

— Есть, и ладно. Я к тому говорю, чтоб ты впросак не попал.

— Не попаду. Надолго уезжаешь?

— Как поробится. Теперь вот что. Дугина я не оставлю за себя. Заместителем ты будешь. Следи за им, но осторожно. О Прошихине до время сказал. Он сейчас начеку будет. Как бы следы не замели.

— Не успеют! Я живо прикрою эту лавочку!

— Устал я, Сидор! Не от работы устал, а вот от этих передряг! То одно, то другое,— каждый день новости!

— Ничего, крепись! Выметем этот мусор — спокойно заживем.

— Кому другому скажи... Я сколько себя помню, спокойно не жил.

— Я тебе про Ивана Евграфовича сказывал, помнишь? Я, говорит, за сердцем сбегаю, оно недалеко отсюда зарыто... Так вот, у кого сердца при себе, Гордей, и болеть им до гроба! На это и настраивай себя. Я только об одном жалею: ссорились мы с тобой, а надо было сразу вместе!

— Вместе и будем.

— Давай пять!

Они простились, не подозревая о том, что видятся в последний раз.

Глава 54

— Ну, здорово, Петро! — лодочкой сунул смуглую ладошку Дугин.

— С чем пожаловал? — пряча наган под подушку, недовольно спросил Фатеев.

— Окна задерни.

— Осточертело во мраке.

— Иначе нельзя. Любопытных много.

— С чем пожаловал, спрашиваю?

— Дай дух перевести! — Дугин впервые видел Фатеева при дневном освещении: истрепанное, пожелтевшее лицо, вставные зубы, жидкие, в перхоти, волосы — все, что осталось от былой красоты. Лишь в настороженных глазах все та же неослабевающая беспощадная цепкость.

— Панфило спрашивает, почто не заходишь. Видно, узнал от кого-то, что ты здесь...

— Дальше? — Фатеев испытующе глядел на него.

— Насчет золотишка интересовался. Мол, не забыл ли, где спрятано?

— Забыл. А ты к чему пытаешь? — Фатеев вытянул длинное тело, словно изготовился к прыжку, лязгнул зубами. В глазах вспыхнул холодный мерцающий свет, которого побаивались в прежние времена.

— Уж и спросить нельзя! — посетовал Дугин и, оставив игру, сурово сказал: — Уходить тебе надо!

— Пермина кончу — уйду. Поможешь?

— Мне вера не дозволяет.

— Он ведь и на твоем пути встал...

— Панкратова пригласи. Он моложе. А я для таких дел стар.

— Открещиваешься?

— В заповеди сказано: не убий!

— Где выгодно — помнишь о заповедях!

— А как же: все под богом ходим!

— Ладно, Пермина без тебя уберу. А ежели влипну, скажу, что вместе сработали...

— Я не отказываюсь,— поняв, что не отвертеться, поспешно сказал Дугин.— Грех на душу принимать боязно.

— Твой грех на себя возьму.

— Справимся?

— Велико дело! — презрительно скривился Фатеев и кивнул на подушку, под которой лежал наган.

— Это не годится. Надо без шума.

— Будь по-твоему.

— А после куда подашься?

— Россия велика.

— Не доверяешь? — Но на недоверие Фатеева он не обижался, зная, что, оказавшись на его месте, вел бы себя точно так же.— Может, и правильно. Золотишко сомущает, хоть и ни к чему оно. Прежние времена миновали безвозвратно.

— Жалеешь?

— Не шибко. Человек с умом при любом режиме не пропадет...

— К Пермину на дом пойдем?

— Что ты, Алеха! Надо тихонько. Он в Бузинку собрался. На дороге перехватим. Сядь-ка да, благословясь, пойдем.— Сев, благостно скрестил на животе беспокойные пальцы.

— Не ломай комедию, провороним.

— Успеем. Иди к мельнице! Я Панкратова кликну!

Ждать пришлось долго.

Прыгая на одном месте, Фатеев похлопывал себя по бокам: грелся. Наконец послышался скрип полозьев.

— Станьте в тень! — приказал Дугин и вышел на дорогу.

— Это ты, Сидор? — спросил, пропуская Пермина мимо сообщников.— Жаловаться поехал?

— Угадал. А ты чего здесь?

— Тебя жду. Закурить найдется? — голос прихватило предательской хрипотцой. Пермин отметил ее. А память подсказала, что старообрядец не курит. Заподозрив неладное, шевельнул вожжами.— Со страху курить начал?

— С тобой начнешь,— нервно хохотнул Дугин.

Сзади мелькнули тени.

Оглушенного Пермина выволокли из пестеря. Подтащив к колодцу, бросили в снег.

— Чего волынить? — торопил Дугин.— Спускайте, пока не вякает.

— Пущай очухается,— пнув Пермина в бок, сказал Фатеев.— Я с им потолковать желаю.

Набрав снегу, потер Пермину лицо. Тот застонал; придя в сознание, сел.

— Узнаешь, знакомец?

— Как не узнать! Не сгнил, значит?

— Гнить я не имел правов. Должок тебе не оплачен!

— И ты здесь, Панкратов? И такой гад на воле гулял!.. Вот она к чему слепота-то приводит! Век себе не прощу!

— Твой век короче комариного носа!

— Молиться будешь, Алеха? — спросил Дугин.— Покайся, может, на том свете зачтется...

— Был бы он, тот свет! — с отчаянием воскликнул Сидор.— Я бы там по-другому с вами заговорил! Теперь есть опыт!

— Видно, мало измывался над нами на этом свете, ишо на том охота? — с ненавистью проговорил Панкратов.

Сидор дышал часто, отрывисто; торопился как можно больше и скорей вдохнуть в себя свежего морозного воздуха; старался не думать, что через несколько мгновений окажется в смердящем, давно заброшенном колодце.

— Вот я вас потрошил... Начнись все сызнова — опять буду, потому что правда на моей стороне,— звонко сказал он.— А вы хоть знаете, за что меня убиваете?

— За весь мир честной! — напыщенно сказал Фатеев.

Сидор оскорбительно захохотал.

— Давай! — приглушенно велел Дугин — и Пермин полетел в колодец.

Булькнула вода, сомкнувшись над ним, заглушила смех. Но он еще долго звенел в настороженных ушах убийц.

Крадучись, вдоль прясла, они гуськом отступали от колодца. У переулка разошлись.

Панкратов свернул вправо. Фатеев пошел к Дугину.

Навстречу им, всхрапывая, неслась осиротевшая лошадь. Уступив ей дорогу, они побежали по домам, стараясь не топать.

Прячась за тополем, за ними следила Варвара...

Возвращаясь из сельсовета, она услышала голоса, доносившиеся от мельницы. Потом заметила людей, торопливо шагавших к старому колодцу. Тревожно сжалось сердце. Пока раздумывала — звать на помощь или ждать, что будет дальше,— связанного Пермина столкнули в колодец. Из троих она не узнала только Фатеева.

Глава 55

В конюховку ввалились Федяня, Панкратов, Митя — все пьяные.

— Сыграем? — предложил Митя, вытаскивая атласные, фабричной марки карты.

— Ежели играть, так играть по крупной,— поставил условие Панкратов.— Что на банк?

— Да хоть шубу, что ли...

— Зипун против шубы.

— Рвань не беру. Давай на желание, ежели ничего другого нет.

— Шуба против шубы,— сказал Федяня.

— Принято.

Через несколько минут шуба Федяни перешла в руки Прошихина. Панкратов проиграл желание.

— Шубу пропьем. Не возражаешь?

— Хозяин — барин,— ответил Федяня, разоблачаясь.

— А мне что присудишь?

— Тебе...— думая, как бы позаковыристей оценить проигрыш Панкратова, ворошил карты Митя.— Ты веселить меня будешь...

— Это не дорого станет.

— Как сказать.

Панкратов вышел и скоро вернулся, неся под мышкой человеческий череп, найденный мальчишками в старых окопах.

— Куда ты его?

— Употребим,— Панкратов столкнул череп под лавку.

Вошел Панфило.

— Повеселимся, Митрий?

— Необходимо. Сыграем, Панфило Осипович?

— В тюрьме-то, слышь, не отучили тебя?

— Там получше нашего играют. Раза два догола раздевали. Зато теперь я сам кого угодно раздену. Шубу не купишь?

— Почем?

— Дешевка! Два ведра браги.

— Шуба-то ношена...

— Не жадничай! Помрешь — все Фекле достанется.

Панкратов за спиной старика надел на руку череп и сунул его прямо в лицо Панфилу.

— Узнал? Старуха по тебя пришла!..

Старик вскрикнул, напряженно выпучив глаза, замахал руками. Одну половину лица странно искривило. Он еще страшнее выпучил глаза и повалился. Череп с грохотом покатился по полу, темнея страшными провалами глазниц, скалясь искрошенными редкими зубами.

Панкратов хохотал.

— Ну и повеселил! — сказал Федяня.— Наверняка паралик дернул.

— Веселье впереди: к Фекле на вечерки ходить будем,— ухмыльнулся Панкратов.

Унеся старика, они направились в сельпо, встретив на пути Ямина.

— Выпьешь? — откупоривая бутылку, задержал его Панкратов.

— Не пью, знаешь ведь.

— Моргуешь?

— Им нельзя с нами,— дурашливо осклабился Митя.— Они необходимо в начальстве!

— Не уважаешь, значит?

— Некогда, мужики! Надо о хлебе насущном позаботиться. С поля-то, сам видал, сколь взяли...

— А-а! — вскрикнул Панкратов.— Не ты ли золотые горы сулил?

— Человек предполагает, а бог, говорят, располагает. Подкузьмила погодушка...

— Вот и рассчитаемся! Сразу за все: за обман, за то, что нас с Федором опозорил,— засучивая рукава, сказал Панкратов.— Повеселить, Митрий?

— Но.

— Не озоруйте, мужики! — сердито предупредил Гордей.

— Говорил, пострадаешь, а ты не верил! — сказал Митя.

Панкратов ударил. Федяня рванул за воротник и тоже ударил.

Удары посыпались один за другим. Гордей не уклонялся от них и не сопротивлялся.

Митя, сидя на крыльце, улыбался и потягивал водку.

«Убьют!» — подумал Гордей, но сам бить не смел, считая себя причиною всех зол и бед, обрушившихся на Заярье. Споткнувшись о подставленную Панкратовым ногу, упал, и тут же чей-то пим ткнулся ему в переносицу.

— Лежачего бьете?! — закрывая лицо руками, Гордей поднялся. Был он страшен и жалок, и казалось, сейчас заплачет. Еще раз мотнувшись от удара, изловчась, подсек Федяню. Сплеча саданул Панкратова.

— Ох вы, пакостники! — сказал с обидой.

Сзади тихонько надвигался Митя. Приблизившись, с

сожалением поглядел на недопитую бутылку и размахнулся. На шум прибежал Евтропий. Коротко тюкнув Митю, то же проделал с Федяней. Панкратов был недвижим.

Дерущихся окружил народ.

— Всю совесть пропил! — деря Федяню за уши, кричала продавщица.

Он затаенно улыбался разбитыми губами, молча выслушивая брань.

— Человека избил, нечиста сила! Что он тебе сделал?

Федяня нахмурился, отряхнул Дору и зашагал прочь. Она бежала следом, молотя его по спине. Федяня злобно ощерился, ударил. Женщина замертво упала.

— Крепко отделали! — сочувственно говорил Евтропий.— Как это ты поддался?

— Рука не поднялась...

— Голову не повредили?

— Не знаю, нет, наверно.

Гордей пошатнулся. Сквозь толпу к нему протолкалась Агнея и, взяв брата под руку, повела домой.

— Живуч, дьявол двужильный! — неприязненно сказала какая-то женщина, кажется, Фекла.

— И ему жилы порвут!

Гордей оглянулся. Некоторые смотрели на него с сочувствием, иные — сердито. Он схватился за голову и, оттолкнув сестру, заковылял к Одине.

— Мозги стрясли! — осмотрев его, заключила Варвара.— Пущай вылежит недельку. Ты не отпускай его никуда, Сана!

Александра кивнула, спросив шепотом:

— На уме не отразится?

— Ишо умней будет! — успокоила Варвара и вспомнила: — Я ему по секрету кое-что сказать должна...

— После скажешь.

— Видно, после придется. Боюсь, не опоздать бы...

Под вечер зашел Ефим. Молча оглядев Гордея, спросил:

— За что они тебя?

— За то, что больше всех берет на себя! — ответила за мужа Александра.— Сидел бы в сторонке и горя не знал...

— Не встревай, Сана!

Ефим сурово хмурился.

— Не сердись на ее. Это она сгоряча.

— Прости меня, дядя Гордей! Недосмотрел я. Зато теперь им спуску не дам.

— Слепые они,— тихо сказал Гордей.— В гневе все слепые...

— А ты добрый!

— Все до случая.

— Нет, твоя доброта не временная. Мне бы так научиться!

— Молодой, научишься.

— Иной раз я хочу быть добрым, а не выходит.

— На Шуре-то когда женишься?

— Вот и для нее доброты не хватает. Один останусь — токо о ней и думаю. Увижу — язык другое выговаривает.

— Заждалась девка.

— Да ведь и я тоже.

— Ну вот... женись — и живите.

Поговорив еще немного, Ефим ушел. Его душил гнев на обидчиков Ямина, и он твердо решил не давать им пощады.

Гордей лежал в горнице и тихонько смеялся.

«Помешался!» — услыхав его смех, подумала Александра. Затаив дыхание, она стояла за дверью. Лицо залило мертвенной бледностью.

— Гордюша!

Он обернулся.

— Не бойся! Я в своем уме.

— А смеешься!..

— Ефим насмешил.

— Я уж испужалась...

— Это разве страшно?

— Упаси бог! — начиная румяниться, улыбнулась Александра. Гордей поднялся.— Ты куда собрался?

— На Ипатьевский поеду.

— Не пущу!

— Дальше оттягивать нельзя.

— Экой ты неугомонный!

Глава 56

— Разве так родного отца встречают? — упрекнул Дугин.— Хоть бы сесть пригласил!

— Без меня посадят куда следует,— хмуро ответил Ефим.

Дугин зябко поежился.

— А ведь ты мне сын, Симо! Для тебя я добро наживал. Умру — кому достанется?

— Государство рассудит — кому. Чего надо?

— В армию скоро пойдешь. Хоть бы ненадолго в родительский дом вернулся... Пусть уж оттуда берут.

— Пока в этом доме ты — не вернусь.

— А я женить тебя плановал. Ты как на это смотришь?

— Женюсь без твоей помощи.

— Клавдия где? Почто не выйдет?

— Не заслужил.— Дверь из горницы потихоньку приоткрылась, но Ефим, заметив это, прижал ее.— Было время — за людей нас не считал, а тут исусиком прикинулся! По жене затосковал, по сыну!..

— Выдь повидаться, Кланя! — уговаривал Дугин, подойдя к двери, за которой стояла жена.— Не чужие — венчаны были, детей нажили... Почто прячешься?

— Уходи! — с угрозой сказал Ефим.— По-доброму говорю!

— А то что будет? Побьешь?

— Убью,— тихо сказал Ефим.

— Совесть тебя замучит, сынок! Ишо не раз вспомнишь худого отца...— Он кротко вздохнул; в голосе послышалась слеза, и, кажется, искренняя.— Пожалеешь, да поздно будет. Суди тебя бог, а я судить не стану...

У калитки встретил Варвару. Не здороваясь, она молча и пристально смотрела ему в глаза.

— В гости приходил, да худо приняли,— проговорил, юля глазами.

Варвара молчала. На ее лице были написаны ужас и отвращение.

Дугин торопливо захлопнул калитку и побежал к Панкратову.

Здесь он застал и Митю.

— Кто за тобой гнался?

— Смерть.

— Резво бежал — не догнала.

— Меня не догнала — других догонит... Ты железный ящик в Совете знаешь?

— Как не знать!

— Дора туда выручку положила. Ежели взять — на Симка свалят или на Варвару... И денег порядочно!

— Чем Варвара не угодила? — спросил Панкратов.

— Потом скажу. На дороге деньги валяются — подобрать некому.— Дугин искоса смотрел на ерзавшего Митю.

— Подберем,— сказал Панкратов,— лишь бы не опередили.

— Ты это дело Митрию доверь. Он ловчее.— Прошихин польщенно заулыбался и начал одеваться.

— Исчезнуть тебе надо, Алеха! — торопливо заговорил Дугин, когда Митя вышел.— Не я ли упреждал — держись в сторонке? Нет, нашумел, в драку полез, балда!

— Ты не ори! Орать на жену будешь, когда заимеешь. В чем дело?

— У меня друг в Бузинке, в милиции.... Дело, говорят, завели на тебя... Кража, драка — за все лет десять схлопочешь! Мой совет — ноги в руки — и дуй, не стой!

— Не стращай! За тобой кое-что похуже, а не бежишь.

— Олух! У меня все шито-крыто! А ты вдругорядь себя оказал! Пермина искать станут — первое подозрение на тебя падет...

Дугину во что бы то ни стало хотелось сплавить своих сообщников. Они мешали. Они беспокоили. Они могли выдать себя, тем самым обнаружив тайное «я» Дугина. Если не станет их, с Варварой — он понял, что женщина что-то знает,— можно будет сговориться, в крайнем случае — запугать.

Видя, что Панкратов колеблется, сунул ему в ладонь плотную пачку денег:

— Это тебе, в дороге пригодятся...

— Опять сухим из воды выйдешь, Иуда? Ладно, ежели от властей схоронишься — я достану! У тебя один конец...— вместо благодарности сказал Панкратов.

— И на том спасибо.— Иного Дугин и не ждал.

— Это ты меня затянул в тенета! Без тебя бы я жил и горя не знал!

— Снявши голову — по волосам не плачут. Поторапливайся! Вот-вот могут нагрянуть...

Через неделю в Заярье действительно приехали два милиционера. Но не за Панкратовым, который скрылся в тот же вечер. Искали Пермина и воров, обокравших сельсовет.

— Куда он подевался? — спрашивал тот, что был по-

старше, медвежковатый, с бабьим голосом. Звали его Андрей Михайлович.

— Тебе лучше знать, Алеха.

— Кто его недолюбливал?

Дугин долго чесал переносицу, припоминал.

— Вроде бы никто. Вот токо...

— Ну! — тараща глаза, торопил второй, помоложе.

— Дело прошлое, может, и вспоминать не стоит...

— Это мы сами решим: стоит или не стоит!

— Они когда-то с Яминым не ладили. Правда, это давно было...

— Так. Ну, иди.

Когда Дугин выходил из сельсовета, Варвара мыла крыльцо.

Распрямившись, бросила ему в лицо:

— Я знаю, кто Пермина убил! Сейчас заявлю!..

— Не торопись! А то я скажу, что веснусь с Панкратовым вытворяла... Логину от этого здоровья не прибавится.

— Сатана! Сатана! — попятилась от него Варвара.

— Ну, не дрожи! Не выдам! — успокаивал Дугин.— Слово за слово.

— Тут одно с другим связано,— раздумчиво уставясь в окно, говорил старший милиционер.

— Давай за Яминым съезжу! — предложил молодой.— Он в этом наверняка замешан...

— Поезжай, Халила! А я тут поразнюхаю. Человек не иголка...

Халила уехал.

Андрей Михайлович позвонил в район, вызвал следователя.

Между тем один из убийц припеваючи жил через два дома от сельсовета. Второй — Дугин — изо всех сил убеждал его поскорее исчезнуть, поскольку с Перминым счеты сведены. Но Фатеев медлил расставаться с Заярьем, отказавшим ему в приюте.

Очнувшись от тяжкого, бредового сна на голбце у Афанасеи, он соскочил на пол, пройдя к столу, тряхнул пустой графин. Не спеша одеваться, позвал:

— Афанасея!

Никто не отозвался. Он крикнул еще раз.

— Чего орешь, баламут? — донеслось из другой комнаты.

— Заснула, что ли? Налей — душа горит!

— И куда в тебя лезет? — она зашла, склонилась к столу. Большие, круглые груди оттянули кофтенку вниз. Цепким наметанным глазом Фатеев отметил впадинку, показавшуюся в расстегнутом вороте и, отшвырнув графин, зверино стиснул Афанасею.

— Пусти! — женщина схватила его за горло, сдавила. Под руками что-то хрустнуло. Фатеев обмяк, осел на пол. Ударив его по щеке, привела в сознание.

— Чтоб духу твоего не было! Ишь, чего удумал!

— Стемнеет — уйду. Днем увидать могут.

— Я, может, этого и хочу!

— Туда рвешься? — Фатеев показал на восток.— Не рвись! Я побывал — сбил охотку.

— А я не бывала. Мне в диковинку...

— Выбрось из головы, Афанасея! Я вон какой ухарь был — и то ухайдакали... Живи на воле и радуйся.

— Нету у меня радости! Увезли ее, как тебя когда-то увозили...

— Неуж из-за Науменко?

— А хоть бы и так! — в голосе женщины прозвенела гординка за себя, за привязанность и верность свою к человеку, ради которого можно поехать хоть на край света.

— Рехнулась баба! С пузом-то!..

— Будет! — обрезала Афанасея.— Теперь уходи!

Как ни осторожничал Фатеев, его все-таки увидели и узнали.

Вернувшись с работы, Шура Зырянова пошла к Дугину доить корову. На крыльцо к дяде, воровски озираясь, поднялся кто-то высокий, незнакомый. Сперва подумала на Сазонова, но тот бы не стал таиться.

— Ты бы остерегался, Алеха! — говорил Дугин, впуская гостя.

— И так на кажном шагу оглядываюсь,— ответил высокий, и Шура узнала по голосу Фатеева.

— Такая у тебя доля!

«Вернулся, значит? У кого же он обитал? У дяди не примечала...» — Бросив подойник, побежала к Тепляковым.

— Ну, ты молодец, Александра! — подхватил Ефим.— Никому ни слова!

— Поцелуй, ежели молодец...

— За это стоит..— он неловко ткнулся губами в ее щеку и заторопился.

— Ты куда? Побудь со мной...

— Потерпишь. Сперва Фатеева задержать надо...

Фатеев собирался уходить.

Хлопнула калитка.

Во двор вбежали милиционер, Ефим и Прокопий.

Зачем-то сорвав с себя бушлат, Фатеев выругался, схватил наган и затаился у двери.

— Сдавайся! — взойдя на крыльцо, сказал милиционер.— Все равно не уйдешь...

— Посмотрим! — отвечал Фатеев и всадил в дверь две пули.

— Ах ты вражина! — удивился Андрей Михайлович и спрыгнул вниз. В плече черненого полушубка белела дырка, из которой вывернуло наружу мех.

— Сдавайся! В мышеловке сидишь...

Фатеев подбежал к окну, опять выстрелил и на этот раз попал в Прокопия. Тот прянул навстречу пуле и, сделав шаг-другой, клюнулся лицом в завалину. Забыв об опасности, Ефим кинулся к другу. Прокопий был мертв.

Выдавив в горенке окошко, Фатеев скачками побежал к лесу.

За ним никто не гнался.

Лес встретил беглеца неприветливо. Осыпая снежную пыль, возмущенно шумели деревья. Поверху играл веселый ветерок, которому вскоре наскучила эта невинная забава, и он грянул со всею богатырской удалью. Фатеев попрыгал вокруг сосны, побегал и, не выдержав пронизывающего до костей холода, затрусил к деревне.

На улице хлопотали люди.

Подле Прокопия билась в рыданиях мать.

Рядом, глядя пустыми глазами в пространство, стояла Катя.

Человек, для которого она жила, был мертв.

И у нее в душе все омертвело.

Фатеев опять прокрался к Афанасее. Одну ночь провел у нее в бане. На другую,— отыскав в условленном месте ключ, забрался на печь и долго отогревался, прижимаясь шершавой лишаистой щекой к горячим кирпичам. Дробно чакали зубы: теперь уже не от холода.

По-бабьи сморщив красивое злое лицо, он жутко и надрывно завыл, как старый голодный волк в межсезонье.

Глава 57

Начальник строительства, веселый, разбитной, с такой же веселой фамилией — Рукосуйчик,— принял их хорошо.

— На гешефт прибыли, хлеборобы? Эт-то приятно. А у вас в колхозе зубы чик-чик, да? Ну, пожалуйста,— не давая вымолвить слова, тарахтел Рукосуйчик.— Зарабатывайте себе на здоровье. Ха-роший я человек, да? А сколько дней протянут ваши одры? Кони? Нет, это не кони, это утиль, мешки с костями! — дергая себя за длинный утиный нос, частил он.

Но одры, привыкшие ко всему, как и их хозяева, упорно жили и, выгибая кабаржины, безропотно волокли на себе немыслимый груз.

— Ах, какие золотые люди. А-ах! — хлопая себя по ляжкам, восклицал Рукосуйчик, видя, с каким остервенением накинулись на работу заярцы.— Может, насовсем останетесь? Ну, скажи,— наседал он несколькими днями позже на Гордея,— что ты теряешь? Да пусть его чаем смоет, твое Заярье! У меня людей не достает! Оставайся, голубчик! В сыр-масле будешь кататься! Рукосуй в жизни никого не обманывал. Тут тебе и жизнь спокойная, и работы сколько угодно!

— Не могу, Айзак Аронович,— без колебаний отвечал Ямин.— Завет отцовский нельзя нарушать.

— Хэ! Завет! — рассмеялся Рукосуйчик.— На том свете встретишь папашу — извинишься. Скажешь, Рукосуй во всем виноват.

— Нельзя! — тихо, но внушительно повторил Гордей.— Да и семья сюда не поедет. Деревенские мы. Где родились — там и помирать будем.

— Какой старый народ! Обычаи, заветы! Какие там обычаи, какие заветы! Жить надо там, где хорошо! У вас в деревне плохо — живите здесь! Здесь бурлит! Смотри! — он указал в сторону отступающего леса. Там рушились вековые сосны, визжали пилы, горели костры. Строился новый завод. Лес покорился ему, уступил место.

— Здесь, душа моя, город будет! Бо-ольшущий! — заливался Рукосуйчик.— Через пять лет приедешь — сам не поверишь? А? Эх, да ну тебя, упрямая башка! — махнув рукой, он стремительно откатывался в конторку, под которую занимал угол барака.

Вскоре ударили морозы. В бараке над нарами повисли

длинные голубые сосульки. Низкие окна затянуло льдом. Было холодно и сыро. Но вшей ледяная накипь не пугала. По утрам люди просыпались злые, исчесанные. Федяня и Евтропий подхватили сыпняк. Здоровяка Федяню скрутило сразу. Он громко бредил по ночам, мешая и без того неспокойному сну заярцев. Евтропий крепился, кутаясь в рыжую латаную шубенку.

— Отправь нас домой, золовец! — жалобно просил он.

— Дома тоже доктора нет... Потерпите, я завтра в Бузинку сгоняю — доктора привезу...

Он запрягал лошадей, когда приехал Халила. Отозвав в сторону, яростно зашептал: «Скрыться хотел? От Халилы не скроешься! Садись в сани! И чтоб ни звука!»

— За что? За какую провинность? — отводя от себя пустоглазый ствол нагана, спрашивал Ямин.

— Там узнаешь! — неопределенно показал Халила.— Хватит шалтай-болтай!

— Погоди! У меня хворые. С собой прихватим.

— Садись! — закричал милиционер и, усадив арестованного, погнал к Заярью.

— Куда? — выбежав из барака, закричал Рукосуйчик. Милиционер молча гнал коня. Ямин, обернувшись, обессиленно помахал рукой.— Э-эх, мужичина! Чего тебе не хватало?

Ему никто не ответил. Сосны задумчиво отряхивали кудрявый, искристый куржак.

Дорога, убегая от стеклозавода, затейливо вилась по просекам, по редким еланям. Изредка вдоль нее пылила рыжей метелкой лисица или скакал сумасброд заяц. Двести безлюдных верст отличались друг от друга только спусками да поворотами. На третий день показалось Заярье.

Съехав с моста, Халила направил лошадь к сельсовету.

— Эй, ходя! — перехватил вожжи Ямин.— У нас так не делается.

— Не лезь! Застрелю!

— Стреляй, пес с тобой! Семью-то я должен повидать?

Подумав, Халила решил, что должен, и, ворча, спрятал наган.

— Ну вот, я и вернулся, Сана,— перешагивая порог, бодро проговорил Гордей.

Александра сидела над мертвым сыном. Увидев милиционера, прикрыла рукой глаза, тихо спросила:

— Будет ли мукам моим конец?

— Как же это, Сана? — вскрикнул Гордей и кинулся к сыну. Тронув его обескровленные, странно неподвижные щеки, сполз на колени, зарыдал.

— Идти надо,— напомнил Халила. Гордей не отвечал, уткнувшись в твердую ладонь покойного.

— Вставай!

— Дай над дитем выплакаться! — взмолилась Александра.

— Он арестованный — нельзя! — начиная сердиться, сказал Халила.— Айда потихоньку!

Гордей поднял заплаканное бородатое лицо, затряс головою и страшно заскрипел зубами.

— Вставай! В сельсовет пойдем! — теребнул милиционер.

— Кто его, Сана? — спросил Гордей, заглядывая в измученное бесконечными тревогами и этим последним страшным горем лицо жены.

— Фатеев...

— А-а! — взревел Гордей, вскочив с колен.— Где он? Я его своими руками кончу!

— Куда? — закричал Халила.— Стрелять буду!

— Отцепись, поганец! — яростно отшвырнул его Гордей. Милиционер упал, стукнувшись головой о порог.

— Гордюша! — кинулась к мужу Александра.— Убил ведь!..

— Уби-иил? — трезвея, удивился Гордей.

— Что теперь будет?

Женщина упала, одной рукой обхватила колени мужа, другой — тянулась к мертвому сыну. Тот и другой уже не принадлежали ей.

Прокопий с закрытыми глазами мудро и холодно улыбался. Став великой бедой и болью, своей смертью он отрешился от всех бед и болей.

И мертвый он был их сыном.

Они для него родителями быть перестали.

Их не было. И ничего не было.

— Этого-то унести надо,— осторожно снимая с себя руку жены, вздохнул Гордей.

— А мы куда? Мы-то куда?

— Может, отпустят меня... Ты оставайся с им... За обоих поплачь. Мне это не дозволено.

— Ох ты, господи боже мой!

— Не поминай, пустое! Ежели и есть он, дак без сердца! А зачем нам бог без сердца? Фешке скажи, чтоб не стыдилась меня перед людьми...— взяв так и не очнувшегося милиционера, понес к сельсовету.

— Ну вот,— сказал Раеву, встретившему его.— Теперь я твой. Человека убил...

— Невеселая встреча,— ответил Раев и тотчас велел увезти Халилу в больницу.— Как ты его?

— Толкнул!

— Опять толкнул?

— Сына у меня застрелили.

— Знаю.

— Проститься хотел. Этот не дозволял.

Раев молча и медленно наигрывал пальцами на черепе.

— Похоронить бы, а там делай, что хошь...

— Похоронишь.

— За что арестовали?

— По глупости. Было подозрение, что ты замешан в убийстве Пермина.— Ямин непонимающе глядел на него, морща лоб.

— И его тоже? Кто?

— Я полагаю, что тут без Фатеева не обошлось.

Задумавшись, Раев машинально перебирал на столе бумаги, молчал. Продолжалось это довольно долго. Наконец, облегченно вздохнув, словно пришел к какому-то ясному выводу, спросил:

— Пермина накануне отъезда видел?

— Видал. Он в район к тебе собирался.

— Зачем?

— Тут кладовщик что-то с записями напутал.

— Напутал или подделал?

— Это мне неизвестно.

— А что Пермин говорил?

— Говорил, что подделал.

И опять установилось молчание. Но оба не замечали его.

— Очень я хочу, чтобы Халила жив остался,— сказал следователь.— Тебя нельзя судить! Это было бы противоестественно.

— Так уж ведется, что я ко всему причастен.

— На этот раз ты все-таки провинился...

— А ты бы не провинился?

— Трудно сказать.— Следователь проглотил застрявший в горле комок, отвернулся к окну. В стекло, расплющив о него нос, смотрел Логин. Отвернувшись, Раев поспешно загородил собой окно, ободряюще улыбнулся.

— Не загораживай, я давно заметил,— сказал Гордей.

— Пригласить?

— Хоть его-то не тронь!

— Ступай домой.

— Надолго?

— Не знаю. Сейчас позвоню в больницу.

Глава 58

Успокоив заплакавшую во сне Фешку, Александра пошла в баню чесать лен, чтобы хоть как-то забыться. С предамбарья сполз старый Китай. Он совсем ослеп.

— Пшел! — равнодушно отпихнула его женщина.

Работа валилась из рук. Рассеянно перебирая пальцами кострику, Александра откинулась к стене, оцепенела.

Дверь почти беззвучно открылась, и в щелку протиснулся Логин. Под мышкой белел сверток.

— Сана! — окликнул он. Александра с усилием повернула голову. Из-под платка серебрилась седина.

— Это тебе! — протягивая сверток, сказал Логин.— Подарок от меня...

— Что это?

— Портрет. По памяти рисовал. Может, не шибко схож — не осуди. Живого-то не успел...

Александра машинально развернула тряпку, распрямила холст, с которого нестерпимо ясно синел глазами ее Прокопий.

— Ох! — Портрет качнулся, и ей показалось, что Прокопий кивнул.

— Не надо! Унеси!

— Зря отказываешься! — сказал кто-то за спиной Логина.— Это по-настоящему талантливо!

— Это следователь, тетя Сана! — представил Ефим, стоявший рядом с незнакомцем.— Товарищ Раев.

— Слыхала про вас.

— Нам нужен Гордей Максимыч.

— Неможется ему,— сказала Александра, утаив, что муж ее впервые в жизни напился и теперь сидит у стола, на котором еще недавно лежал мертвый Прокопий.

— У нас к нему дело.

— Не тревожьте его.

— И все-таки придется,— настойчиво сказал Раев.

— В горнице он. Зайдите.

— Очнись! — Раев тряхнул отупевшего от горя и водки Гордея.— Помощь твоя нужна.

— Пропадите вы все пропадом! — пробормотал Гордей.— Жизни нет...

— Фатеева арестовать поможешь?

— Где он? — Гордей вскинулся, потряс огромными гневными кулаками.— Раздавлю душегуба!

— Спокойней!

— Он у меня,— в избу вошла Афанасея.

— Давно?

— Давно.

— И вы молчали?

— Случая ждала.

— Хорошо,— кивнул Раев и быстрыми шагами направился к дому Афанасеи. За ним шли Ямин и Ефим Дугин.

— Поторапливаться надо! Опять ускользнет! — сказал Ефим.

— Не ускользнет. Ты, Гордей Максимыч, не бей его. Он мне живой нужен.

Не сговариваясь, взбежали на крыльцо, с нажимом открыли дверь. Раев, не вынимая оружия, вошел первым.

Обросший жесткой седоватой щетиной, Фатеев спокойно спустился с печки и стал натягивать стеганые ватные штаны.

— Пошли, что ли? — сказал, одевшись.

— Сперва сочтемся,— встал на дороге Ямин.

— Я не хотел убивать, Гордей! Пуля — дура...

— Не увиливай! — тянулся к нему Ямин. Руки его были страшны и огромны.

— Убивай, ежели забыл, как друзьями были...— отступая, бормотал Фатеев.

— Нельзя, Гордей Максимыч! — Раев и Ефим теснили Гордея.— Это противозаконно.

— А что можно? Что законом дозволено? Терпеть? Лопнуло мое терпение!..

— Прости меня, Гордей! Не враг я тебе!

— Нету тебе прощения, выкрест! И не будет! Будь проклят во все времена!

Глава 59

В колхозе «Серп и молот» в четвертый раз выбирали председателя.

— Начинай, что ли! — торопил Прошихин, раньше всех явившийся на собрание.— Время — деньги.

— Народу мало.

К столу, за которым сидел Ямин, задевая скамьи и сидевших на них колхозников, пробирался Ефим.

— Зря ты, Гордей Максимыч! — шепнул он.— О колхозе подумал бы...

— Тем и жил. Теперь пущай другие думают.

— А ты все же поразмысли!

— Опять за свое? Сядь рядом и веди собрание!

— От этого отказываюсь,— сказал Ефим,— и решение твое осуждаю.

— Тогда уходи и не мешай мне ошибаться.

— Скоро ли? — опять спросил Прошихин.

— Потерпи.

Ямин грузно поднялся, скорбно оглядел людей и заговорил с ними.

— Речь моя будет короткой, не утомлю. Вы мне председательство доверили. Не справился я, не оправдал...

Переждав, когда смолкнут протестующие голоса, продолжал:

— А если и оправдал, дак пользы от этого мало. Председателем все одно не быть. Я человека искалечил, знаете. Суд будет. Потому и собрал вас, чтобы колхоз, как летось, без головы не остался. Сидора нет, Дугина забрали... Скоро и меня... Вот и выбирайте себе другого председателя. А я весь вышел. И ишо одно. Александру я освободил от фермы. Своей властью. Стало быть, и на ее место ищите человека.

— Ее-то зачем снял? Она за тебя не ответчик!

— Ответчик, потому что жена. Ну вот, все у меня...

Он сел, и далекий от всего, задумавшись, подпер лоб ладонями.

— Ну, не прав ли я был, когда говорил: пострадаешь? — спросил Прошихин.— Меня чутье не подводит!

— На этот раз подвело,— возразил Раев. Гордей не заметил, когда он появился в конторе.— Страдать предстоит тебе.

— Я не из страдальцев. Натура у меня тонкая, однако страданиям не поддается.

— Не равняй себя к скамейке, на которой сидишь. Это ей безразлично, кто на ней сидит. А ты хоть и пустяковый, да человек!

— Понимающий гражданин! — похвалил Митя.— Поговорить бы нам! Общий язык необходимо найдем...

— Поговорить придется. Но общий язык едва ли найдем,— многозначительно улыбнулся Раев. Улыбка была все та же, страшновато-загадочная, но Митю она не испугала.— Позвольте два слова, товарищи! Я считаю отказ Ямина необоснованным. Человек, которого он в горячке толкнул, жив-здоров и в суд подавать не собирается. Мне кажется, Ямину нужно остаться председателем, если он вам угоден. А если нет — тогда уж ничего не попишешь...

«Путаный он какой-то! — рассеянно слушая голоса, раздававшиеся за него, думал о следователе Гордей.— Вроде бы и совестливый, а душа к нему не лежит...»

Он ничем не выказал своих чувств ни в тот момент, когда Раев сообщил, что Халила жив и здравствует, ни в тот момент, когда колхозники единогласно проголосовали за него.

Конец собрания прошел торопливо и скучно.

Заместителем выбрали Евтропия, который только что встал на ноги.

— Тебе, я думаю, необязательно идти домой,— придерживая Прошихина за руку, сказал следователь.— Поедешь со мной в район. Там и потолкуем.

— Опять дальняя дорога?

— Я позабочусь об этом. Где деньги, которые ты взял в сельсовете?

— Необходимо в сельпе. Где взял, туда и возвернул.

— Я что-то не слыхал об этом.

— И не услышишь. Деньги не мечены. Даже Дора их не признала, когда за водку брала...

— Убедительно,— усмехнулся Раев.— Ты случайно не в курсе, куда скрылся Панкратов?

— Волк с зайцем не советуются, куда путь держать.

— Кто заяц?

— Необходимо я.

— Ну-ну, не прибедняйся! Если тебе не трудно, запряги лошадь — и в путь. Засиделся я в ваших краях. В других колхозах дел накопилось...

Митя побежал выполнять его просьбу. Выводя из конного раевского мерина, заметил на берегу яра недвижно стоявшую Катю Сундареву.

— Одна осталась? — сочувственно спросил.

Катя подняла на него словно припорошенные золой глаза. Дурашливый болтун, пустой человечишка вдруг приоткрыл перед ней краешек своей души.

— Любил я тебя...— вздохнул он и тут же рассмеялся, увидев, с какой гадливостью отступила от него Катя.— Не бойся! Я ведь издалека любил... И опять издалека буду. Снова казенный дом выпал. Может, и не вернусь больше...

— Говоришь ты много.

— Так веселее. Жизнь у меня, как омут, мутная. Вот я и веселюсь, чтобы в глубину не заглядываться! А то глянешь — и позовет ненароком...

— Ты не прыгнешь, не таковский.

— А ты меня знаешь? Не знаешь. И никто не знает... Так-то! Ну, живи. Буду вспоминать тебя. Ты помни об этом.

Он рассмеялся странно, с хрипотцой и ударил меринка.

Вскоре девушка услышала характерные покрикивания Раева: «Но! Ишь ты! Вот я его!»

«Куда теперь? — подумала Катя. Внизу зияла и мрачно звала к себе прорубь, к которой гнал лошадей Федяня.— Живут люди... И больно им, и горько, а живут! Я не одна такая...»

— Катерина! — услышала она счастливый голос Шуры Зыряновой и пошла на него.

— Замуж выхожу! — ликующе прокричала Шура.— Токо что сказал! Не верится даже! Может, я сплю?

— Не спишь. Это я сплю... и боюсь проснуться.

— Да что ты! Не убивайся! Еще встретишь кого-нибудь...

— Молчи!

— Ох, и люблю я тебя, товарка! — Шура обняла подругу и повела к себе. Нужно было позаботиться о приданом.

Глава 60

Медленно, не быстрей, чем кандальники до него, Гордей бредет по тракту. Ноги его свободны от кандалов, но мысли скованы. Птицами рвутся мысли, ломят тугой череп,

проклевывают виски. Кажется: проклюнут — что-то страшное будет. Но и страшное это — не страшно, потому что — жизнь.

Любит бродить Ямин.

Еще в детстве, когда мать ворчала на него за то, что сутками пропадает в тайге, отец говорил: «Не тронь его! Не набродится — затоскует. Нет хуже, когда человек по воле затосковал. Видно, в жилах наших бродяжья кровь. Она и не дает покою. Пущай набродится парень...»

И верно: как загудят ноги, зажжет подошвы, заноет от усталости под ногтями, приходит Гордей успокоенный.

В глазах весело. В сон клонит.

Как проснется после этого — дела дай: сила пружиной распирает тело, выхода ищет. Тут и начинается житье на износ.

За это вот и прозвали Яминых двужильными.

И кабы одно тело тосковало, нашел бы Гордей ему успокоение. Душа тоскует, и нечем ее ублажить.

Маета маетная!

Теперь уже ни лес, ни дорога не дают забвения. А все-таки от усталости легче, если она приходит.

Он смотрит не под ноги, но ничего не видит вокруг. Да и видеть нечего. Этот лес вдоль тракта знаком с детства. Здесь, бывало, он надолго терялся, находил убежище и возвращался домой измученно-счастливый. Здесь воевал. Здесь же водил с собою сына, уча его всему, что сам не скоро постиг в особенной жизни леса.

Нету сына.

Был он лишь внешне похож на Гордея. С самого детства Александра приметила в нем необъяснимую, только ей видную обреченность и с затаенным страхом ждала чего-то жуткого, что, возможно, могло произойти с ним.

— Хоть бы войны не было! — обеспокоенно глядя на сына, вздыхала она. Не было войны, а он погиб. Видно, сам себе смерти искал. В последнее время смутный ходил, надломленный. Что надломлено — доломать нетрудно...

«Сроду бы я пуле не дался! — думал Гордей, уходя все дальше.— Пуля скорбного стережет...»

Пройдя три-четыре километра, увидал впереди, за поворотом, женщину. На руках — сверток, за спиной — мешок.

«Афанасея!» — узнал Гордей и догнал идущую.

— Далеко ли собралась?

— От Гриши весточку получила, к себе зовет.

Ребенок пискнул и завозился.

— Тяжело будет. Путь неблизкий.

— Доберусь.

— Кланяйся Григорию. Скажи, мол, помним его.

— Скажу. Отпустят — оба приедем. Примешь?

— Какой разговор!

— Я шибко виновата перед тобой. Кабы про Фатеева раньше сказала — жил бы Прокопий.

— Не уберегли. Ты своего младенца береги в дороге.

— Да уж постараюсь. Прощай покуда.

— Прощай.

Они расстались. Одна и та же дорога вела их в разные стороны. И там и здесь проглядывались ее концы. Но это был лишь обман зрения. Подойди ближе — увидишь: тянется вдаль нитка неизвестно кем распутываемого клубочка. Тянется, и нет ей конца. А может, и есть, кто знает.

Это вокруг, рядом, все ясно, зримо, лишено тайн. На старом, молнией расщепленном кедре верещит беззаботная векша; передние лапки прижаты к груди, в них — шишка. Если бы не любопытная плутоватая мордочка — точь-в-точь снежный сугробик на ветке. Гордей скользит мимо нее равнодушным взглядом: «Страдует... Видно, худо на зиму запаслась». Выронив почерневшую шишку, белка метнулась на соседний мощноствольй в густом оперенье кедр, вскарабкалась на вершину и пропала где-то за стрельчатым куржаком.

Пенное облако, давно стывшее в жидком подсиненном небе, рассосалось... Разгорелось холодным сверкающим костром солнце. Заиграл, заискрился волнистый наст, порозовела только что голубоватая дорога. Синеватая крыша над головой приподнялась, и тихо-тихо, серебряно-серебряно тенькнул невидимой стрункой морозец. Звук этот, нарастая, разбудил взбалмошную сороку. Она недовольно закрутила хвостом, открыла один глаз, другой, негодующе восстрекотала. Мороз заиграл на всех струнах, заполнил звоном своим всю необъятную, только что дремавшую будто бы в ребячьем неведенье землю...

— Добро,— прислушиваясь к восходящим ввысь голосам, щурясь от грозного торжествующего света, заполоводившего все вокруг, пробормотал Гордей.— Добро...

Совсем рядом пушечным снарядом взорвался косач,

сбил крылом снег с веток, вспугнул векшу, выронившую еще одну недогрызенную шишку, и, поднявшись над лесом, послал своим сородичам и всему миру утренний привет.

Заярье дымилось поздними дымами, скрипело, кашляло, материлось, чихало, пахло варевом и печеным хлебом.

Глухо трубили коровы. Весело пророчили петухи.

У колодцев звенели ведра.

Рокотал под ногами блескучий снег.

Добро...

1958, 1962—1970, 1974

ИБ № 570

Зот Корнилович Тоболкин

ПРИПАДИ К ЗЕМЛЕ

Редактор С. В. Марченко
Художник М. И. Бурзалов
Художественный редактор Я. И. Чернихов
Технический редактор К. Г. Проскурникова
Корректоры И. П. Никитина, Г. Г. Быкова

Сдано в набор 22/VIII 1978 г. Подписано в печать 31/I 1979 г. НС 12031. Бумага типогр. № 2. Формат 84×108/32 Уч.-изд. л. 15,7. Усл. печ. л. 15,1. Тираж 50.000. Заказ 524. Цена 1 р. 10 к.

Средне-Уральское книжное издательство, Свердловск, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.

В Средне-Уральском книжном издательстве в 1979 году выходят книги:

Н. Никонов.

СЛЕД РЫСИ. Повести.

Э. Бутин.

И ДЕНЬ ТОТ НАСТАЛ... Рассказы.

М. Немченко, Л. Немченко.

ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК. Рассказы.

И. Давыдов.

ОТ ВЕСНЫ ДО ВЕСНЫ. Роман.

А. Власов.

ЯЧМЕННЫЙ ДЫМ.
Повести и рассказы.

А. Трофимов.

ПОВЕСТЬ О ЛЕЙТЕНАНТЕ ПЯТНИЦКОМ.

В 1979 году выходят в переиздании:

А. Фет.

СТИХОТВОРЕНИЯ.

И. Крылов.

БАСНИ.

А. Кузнецов.

ТАЙНА РИМСКОГО САРКОФАГА.

Д. Дефо.

РОБИНЗОН КРУЗО.

Тоболкин З. К.

Т50 Припади к земле. Роман. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1979.

288 с.

Тюменский писатель Зот Тоболкин широко известен как драматург. «Припади к земле» — первое произведение в жанре прозы. Впервые роман вышел в Москве, был хорошо принят читателями и критикой. Книга рассказывает о сибирской деревне 30-х годов, в сложной обстановке твердо встающей на путь новой жизни.

Р2

Т $\frac{70302-074}{М158(03)-79}$

1р. 10к.

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1979

ЗОТ ТОБОЛКИН